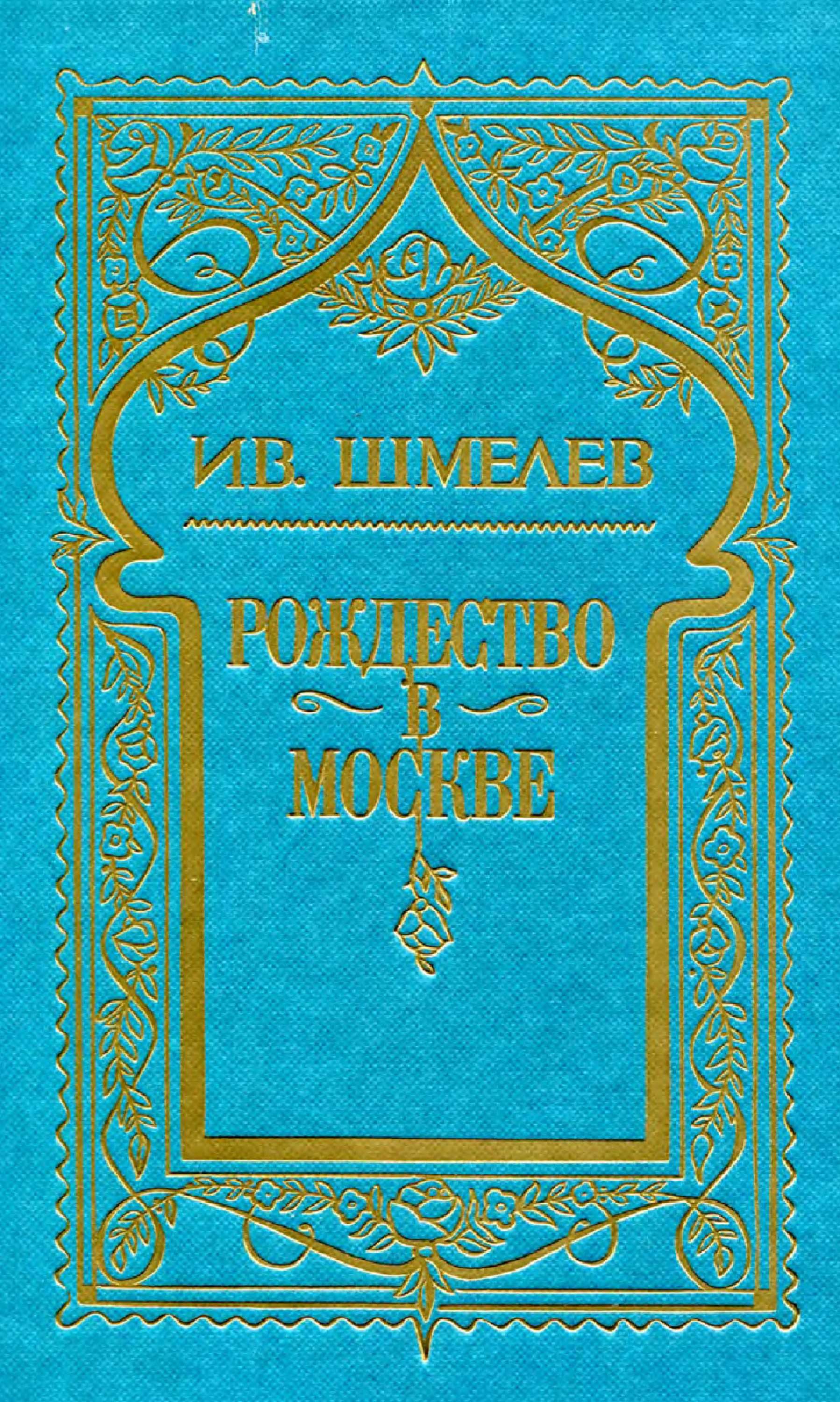

ИВ. ШМЕЛЕВ
РОЖДЕСТВО
В
МОСКВЕ

ИВ. ШМЕЛЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ

РОМАН

РАССКАЗЫ

Москва
«РУССКАЯ КНИГА»
1998

УДК 882
ББК 84Р
Ш 72

Составитель и автор предисловия

Е. А. Осьминина

Оформление

Ю. Ф. Алексеевой

Иллюстрации

Т. В. Прибыловской

Шмелев И. С.

Ш 72 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. Рождество в Москве: Роман. Рассказы. — М.: Русская книга, 1998. — 352 с.

В третий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли роман «Няня из Москвы», а также рассказы 1930 — 1940-х годов, взятые из посмертного сборника писателя «Свет вечный» (Париж, 1968).

Ш $\frac{4702010000 - 007}{М - 105 (03) 98}$ б/о

УДК 882
ББК 84Р

ISBN 5 — 268 — 00136 — 1 — общ.
ISBN 5 — 268 — 01308 — 4 — т. 3

РУССКАЯ СКАЗКА ИВАНА ШМЕЛЕВА

«Судьба буквально разбросала по всему белому свету русских людей. Какая-то действительно сказка — страшная, чудесная и волшебная произошла с нами. Подхватил ковер-самолет и занес по воле или неволе в тридесятое царство, в неведомые иноземные неправославные государства, и где только, среди каких народов не живут ныне русские люди в изгнании! Достаточно лишь перечислить десяток названий, чтобы сразу припомнить давно позабытую географию Смирнова. Новая Зеландия, острова Зондские, Филиппинские, Японские, Цейлон, Мадагаскар, Китай, Индия, Персия, Малая Азия, Африка сверху донизу, Америка от Аляски до Огненной Земли с придачей разных островов,— все это в той или иной мере населено русскими. Действительно, наша беженская история пошла по всеобщей географии»,— писал генерал С. Позднышев в 25-м номере «Русского инвалида» за 1931 год — газеты тех, кто получил увечья в первой мировой или гражданской войне и оказался затем на чужбине.

Октябрьская революция 1917 года обратила в небытие всю прошлую Россию, подвергнув тяжелейшим испытаниям русский народ; но убежавших от новой власти и рассеявшихся в 1918—1922 годах по всему свету — также ждала нелегкая участь. Эмиграция только на четверть состояла из бывших воинов Белой Армии. Остальные три четверти принадлежали в основном к интеллигенции. Блестящее созвездие русской литературы сияло на чужбине: Ив. Бунин, Ив. Шмелев, А. Ремизов, А. Куприн, Б. Зайцев, Дм. Мережковский, В. Набоков, Г. Газданов, М. Цветаева, К. Бальмонт, В. Ходасевич, Г. Иванов... И большинство из них именно в эмиграции создало свои лучшие произведения.

Принято считать, что старшее поколение писателей жило воспоминаниями. Их темой была прошлая Россия, «родной Белевский уезд», землю которого они унесли в изгнание на своих подошвах. А о зарубежной маете и страданиях рассказало младшее поколение, которым Константинополь и Париж «родные Белевские уезды» заменили.

Да. Наиболее известные романы старших — это романы ностальгические, автобиографические. О детстве и юности, прошедших в России: «Жизнь Арсеньева» Ив. Бунина, «Лето Господне» Ив. Шмелева, «Юнкера» А. Куприна, «Путешествие Глеба» Б. Зайцева. Но и у

них мы найдем произведения о беженской жизни. Не только воспоминания, но и изображения судеб русских изгнанников, тем более что эти судьбы разделили и сами писатели.

Путь Шмелева был трагичен. Он прошел через Россию, Крым, Берлин, Севр, Булонь, Париж. И закончился 24 июня 1950 года в православной обители Покрова Пресвятой Богородицы в Бюссиан-Отт, под Парижем. А начинался — в Кадашевской слободе, на правом берегу Москвы-реки.

Будущий писатель родился 4 октября (21 сент. по ст. ст.) 1873 года в «благословенном Замоскворечье», с такой любовью впоследствии описанном им во многих произведениях. Отец его, Сергей Иванович Шмелев, брал подряды на строительные работы, нанимал мастеровых, возводя бани, мосты, делая иллюминации — был известным в своей округе человеком. Происходил он из крестьян Московской губернии Богородского уезда; прадед Шмелева еще при Александре I перебрался в Москву и начал торговлю посудным и щепным товаром.

В Замоскворечье издавна селилось купечество. И сама жизнь здесь была иной, нежели на шумном Кузнецком или дворянской Пречистенке. Длинные заборы, бесконечные сады в цветах и яблонях, деревянные дома на каменном фундаменте. В будни на улицах — ни прохожего, ни проезжего, по утрам еще коровки выходят из дворов. В праздники — звон множества церквей, нарядные люди на улицах. Замоскворецкая Москва больше других походила на большую зеленую деревню, со всей ее патриархальной установленностью и неторопливым ритмом жизни.

Именно этот ритм и чувствуется в речи «няни из Москвы»,— московская неспешность. Недаром начинается книга с воспоминания няни о чаепитиях в саду на Ордынке, с вареньем из китайских яблочков. Это-то начало, как видно по архивным рукописям, и было «первой пробой», «зародышем» романа, и далее, на всем своем протяжении, воспроизводящем речь няни. И в ее простосердечном, ласковом, напевном и метком говорке чувствуется та «первая школа», которую, по его собственным словам, прошел Шмелев в детстве — на большом дворе, где собирались наниматься к отцу мастеровые со всех округов Москвы; «первая прочитанная книга» — «книга живого, бойкого и красочного слова».

Истории, слышанные от мастеровых, мальчик с большим успехом пересказывал юным слушателям из частного пансиона, куда его отдали после смерти отца. За пансионом последовала 6-я Московская гимназия (единственная на Замоскворечье). По окончании ее в 1884 году молодой человек поступил на юридический факультет Московского университета.

Купцы издавна с недоверием относились к судейским, и выбор юноши означал определенный разрыв со средой и ее идеалами, с семьей, где после смерти отца не было близкого ему по духу человека. Он жил в книгах и книгами. Его влек распространенный среди моло-

дежи 80—90-х годов интерес к общественным наукам, социологии, экономике, праву.

Выбор факультета, как писал Шмелев впоследствии, оказался случаен, однако на полтора десятка лет определил судьбу будущего писателя. По окончании университета в 1898 году Иван Сергеевич служил в адвокатуре в Москве, а потом, в 1900—1907 годах,— в Казенной палате во Владимире чиновником особых поручений. Он ездил по городкам губернии, проверял торговлю, ночевал на постоялых дворах, останавливался в глухих местах у лесничих, народных учителей, священников. Жизнь русской провинции открывалась перед ним, но служба тяготила. Выход открылся в писательстве. В 1905 году Шмелев вернулся к перу (когда-то, еще после первого курса университета, он написал книжечку путевых очерков «На скалах Валаама»). Теперь же рассказы последовали один за другим. В 1908 году он бросил службу, переехал с женой и сыном в Москву и целиком отдался литературной деятельности.

Слава пришла к нему через три года — с появлением повести «Человек из ресторана» в горьковских сборниках «Знание». Это «сказ» от лица официанта, «маленького человека». Пафос автора: любовь и сострадание к униженным и оскорбленным — классический пафос русской литературы. В 1913—1917 годах в «Книгоиздательстве писателей в Москве» вышло восьмитомное собрание рассказов Шмелева, и А. Кони в 1916-м выдвигал его кандидатуру на звание академика.

Шмелев начала века был признанным реалистом и традиционалистом. В рассказах своих повествовал о жизни купеческой Москвы и российской провинции, исповедуя идеалы гуманизма и демократизма. Ярко рисовал детали быта, характерные приметы русской жизни и сам замечал в письме другу, поэту И. Белоусову 3 декабря 1913 года: «А я ведь в Замоскворечье родился, привык по земле ходить и люблю земной дух. А никогда сей дух не выкурится, пока жива будет русская литература».

Иван Сергеевич и по приезде из Владимира всегда выбирал квартиры в Замоскворечье. По поводу одного из его адресов Л. Андреев, Шмелева очень ценивший, но как «петербуржец» к «земному духу» не склонный, выразился в 1916 году весьма саркастически: «Все они — под «они» подразумевались главным образом московские писатели,— живут на Четвертом Коровьем валу. Наступит революция, сгорит полмира, все станет неузнаваемым и необычайным, а «они» так и не сдвинутся со своего Коровьего вала, да еще вдобавок Четвертого».

Однако Иван Сергеевич «сдвинулся со своего Коровьего вала» довольно скоро — в июне 1918 года. После Октябрьской революции он с женой и сыном переехал в Крым, в Алушту, к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, и провел там страшные четыре года, круто изменившие всю его жизнь, душевный склад и творчество.

Алушта описана в «Няне из Москвы». Именно в этом маленьком южном городке спасаются героини, и чтобы понять все политические намеки в романе, надо коротко сказать о «белом Крыме».

Только в январе 1918 года там победила революция, а в мае полуостров уже заняли немцы. В декабре они уступили место англо-французской интервенции, поддерживавшей своим флотом власть Крымского краевого правительства, своеобразного аналога Временного правительства. В апреле 1919 года краевое правительство бежало в эмиграцию под напором красных, продержавшихся там до июня. С июня 1919 по ноябрь 1920 года Крым принадлежал белым сначала под командованием А. Деникина, затем П. Врангеля. Единственный сын Шмелева Сергей, бывший артиллерийский офицер, в ноябре 1919 года служил у Деникина в Туркестане, а затем у Врангеля в Алуште. Но когда в конце ноября 1920 года 126 кораблей под андреевскими и французскими флагами увозили в Константинополь остатки врангелевской армии от берегов Крыма, Шмелевых на палубе не было. Они решили остаться в России.

Советская власть обещала амнистию всем оставшимся белым офицерам. Обещание это сдержано не было. Крым вошел в историю гражданской войны как «Всероссийское кладбище». Сергей Шмелев был арестован в декабре 1920 года и расстрелян в конце января 1921 года, но отцу его давали самые разные сведения. Говорили и о расстреле, и о высылке на Север. В Москве, куда Шмелев с женой смогли попасть только весной 1922 года, пережив страшный крымский голод, им дали понять, что лучше не ворошить дела. И с «1/4% надежды» на то, что сын жив, Шмелевы приехали в Берлин в ноябре 1922 года.

«Кошмар это, что я в Берлине. Зачем? Ночь, за окном дождь, огни плачут... Почему мы здесь и одни, совсем одни, Юля! Одни. Пойми это! Бесцельные, ненужные. И это не сон, не искус, это будто бы жизнь. О, тяжко...» — писал Иван Сергеевич Ю. А. Кутыриной, племяннице своей жены, в Париж. К ней они приехали в январе 1923 года, а в апреле их нашел там доктор Шипин, сидевший вместе с Сергеем в Виленских казармах в Феодосии, и засвидетельствовал его расстрел. И тогда Шмелев решил не возвращаться на родину.

Из двадцати рассказов 20-х годов о Красной России, большинство которых написано в форме «сказа», повествование ведется от лица офицеров, чиновников, священников, ученых. Беженская Россия как будто обрела голос и заговорила о годах гражданской войны и революции: о разорении, смерти, крахе всей прежней русской жизни, о красном терроре и голоде. В 30-е годы и голос «няни из Москвы» присоединился к этому многоголосью.

Форму «сказа» Шмелев использует не только для художественной выразительности, но и для выражения достоверности происходящего. Выдумка в те годы часто бледнела перед действительностью, и большинство писателей обращалось к документальным жанрам. Отчетливая

публицистичность, для них характерная, наложила отпечаток на всю эмигрантскую художественную литературу 20-х годов.

Есть ее отголоски и в «Няне из Москвы», недаром архиепископ Серафим Чикагский и Детройтский сказал о ней: «...няня из Москвы, которой безмолвно судится мир». В романе действительно многое судится и многому дается приговор.

Кто виноват в том, что случилось в России? — один из самых больных вопросов для эмиграции. «Правые» обвиняли Временное правительство в попустительстве большевикам, «левые» — царизм и «темную народную стихию». Шмелев полагал, что вина лежит не на «почве», а на «сеятелях»; что русская интеллигенция, засмотревшись в Европу, в да́ли, пренебрегла родным, не зная и не чуя национального. И принесла Россию в жертву мировым утопиям. «Отцы» сеяли семена революции в народ, а на «детей» легло бремя расплаты в гражданскую войну.

Эту тему — вины интеллигенции — мы встретим в публицистических статьях Шмелева, его романах и рассказах, в том числе и помещенных в этом сборнике: «Смешное дело», «Почему так случилось», «Записки не писателя». И в «Няне из Москвы» она звучит в трактовке образов господ Вышгородских и дяди Коврова. Тут расчет и самого Шмелева с былыми университетскими увлечениями, их оценка.

Революционное учение, воспринятое интеллигенцией, пришло из Европы. Это было главной причиной шмелевского неприятия Запада — самого духа его культуры, подоплекой всех горьких и саркастических наблюдений писателя над европейской политикой. Эта тема также присутствует в «Няне из Москвы».

Еще в Крыму Шмелев мог наблюдать откровенный грабеж интервентов, описывая его в рассказах и сказках тех лет — в аллегориях, достойных М. Салтыкова-Щедрина. Распродажа русских сокровищ за бесценок продолжалась и после победы большевиков, бешеная нажива на чужом горе и «чужой крови». Английский премьер-министр Ллойд-Джордж первым стал торговать с советской властью, заявив: «Мы и с каннибалами торгуем».

«Чужой крови» были эмигранты, рассеявшиеся по Европе, калеки и инвалиды, бывшие союзники Англии и Франции в войне против Германии. Юридическое положение русских было сомнительным. Много хлопот и беспокойств доставлял особый «нансеновский» паспорт. Только в Югославии и Чехословакии русским «братьям-славянам» жилось сравнительно неплохо: Югославия приняла всех как своих, больше всего русских школ было в этой стране. А в Чехословакии «русская акция» правительства давала возможность получить высшее образование. В других же странах русские могли рассчитывать только на тяжелую и низкооплачиваемую работу. Отсюда в «Няне из Москвы» — бывший граф, красящий куколок, русский шофер, аристократка-киноактриса.

Русские беженцы в большинстве своем оставались бесконечно чужими окружавшему их миру. Центром русского зарубежья стал Париж, скупой и блестящий город, с площадями-звездами, каштановыми аллеями, тяжелой Сеной в каменных набережных, множеством цветов... Все это великолепие казалось «никогда не переменяемой» лентой кинематографа (А. Куприн), мелькающей перед глазами, но не настоящей жизнью. Настоящее было в прошедшем: в воспоминаниях о старой России. Ее не забывали, храня верность традициям, соблюдая обряды и праздники. Ходили в свои церкви. Выпускали свои газеты. Сводили свои счеты. И даже селились в определенных местах. В Париже — в Пасси, или 16-м районе, на улице Буало жили А. Ремизов, В. Набоков, Ив. Шмелев. Он приехал в дом № 91 в 1938 году, через два года после смерти жены. До этого же они лето проводили в Капбретоне, в Ландах, на берегу Атлантического океана (там тоже была своеобразная «русская колония»), а зимы — в пригородах Парижа. В 1926—1932 годах жили в Севре: сначала у купца Карпова, потом на улице Россигнолс, 9.

Г-н Ив Жантийом, сын Ю. А. Кутыриной и крестник Ив. Шмелева, вспоминает, что у купца Карпова в Севре была няня Груша, которая стряпала на кухне вместе с приживалкой Марфушей. Иван Сергеевич часто ее слушал и наблюдал за ней. Она и вдохновила написать его «Няню из Москвы», печатавшуюся в 1934—1935 годах в журнале эмиграции «Современные записки». Но роман не сводим к бытовым зарисовкам жизни прежней России и эмигрантского существования. Витает над ним и иной образ. В столетнюю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина Шмелев в речи вспомнил его няню.

«Пушкин — та живая тростинка-Иванушка, которую слышит сестрица-Аленушка сказки нашей. Ни у кого не найдете вы такого ЖИВОГО слова, такого чудо-слова, которое уже не слово, а русская ткань живая, таящая дух животворящий.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.

Няня...— РОДНОЕ, нас воспитавшее, НАША няня. Она вырастает в знамение любви, простоты и правды. Единственной ей — высказал Пушкин такую ласку, какой не найдем больше у него. И слышится нам, что няня — не только Арина Родионовна: это — родимая стихия, родник духовный, ЖИВОЙ язык».

Вот — источник «Няни из Москвы». Ведь и язык Дарьи Степановны Синицыной, героини романа,— ЖИВОЙ. Ласковое певучее народное слово, меткое и образное: «Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то — на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет». Или: «Пройдешь многия земли и царства... и на ко-

раблях плыть будешь, и...— чего только не насказано! И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и же-ле-зо... а Господь сохранит». И няне, и всем русским беженцам действительно пришлось пройти и огонь и воду и медные трубы. Шмелев рисует эмигрантское существование, прибегая к жанру сказки. Эта жанровая особенность романа обнаруживается и в стиле: «Вот и повез нас Гарт в дремучие леса, на край света, ихния церквы показывать», и в восприятии героини (так, американский литературовед О. Сорокина нашла сходство няниного описания Индии — слоны, змеи, пироги с огнем, обезьяны — с «Хождением за три моря» Афанасия Никитина), и в композиции книги. Как Серый Волк служит Ивану Царевичу, так и няня в решающую минуту помогает своей Катичке, распутывает роман и устраивает свадьбу. И заканчивается книга словами Катички, которые вспоминает няня: «Вот, нянечка, погоди... выйду я замуж... я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам... сама глазки тебе закрою... похороню тебя честь-честью... как Иван-Царевич... Серого Волка хоронил...»

Все кончилось хорошо. У сказки должен быть хороший конец.

И чем дальше, тем больше и у самого Шмелева светлых, радостных произведений. Вслушаемся даже в названия: «Свет», «Свет вечный», «Глас в нощи», «Рождество в Москве». Откуда этот поздний свет?

Это свет воспоминаний. Шмелев в 30-е годы создал свои лучшие автобиографические произведения о прошлой России — «Богомолье», «Лето Господне».

Это свет и веры православной. Шмелев описывает чудеса, исцеления, явления святых — знаки мира иного, которые ему внятны. В 1934 году он сам исцелился от мучавшей его язвы — по горячей молитве св. Серафиму Саровскому. Постепенно стиль его книг становится суше, строже, проще, как в «житиях» или «поучениях». Достаточно сравнить «Записки не писателя» (печатавшиеся в «Русской мысли» в 1948—1949 годах) с «Летом Господнем». В них также описывается быт и уклад православной семьи, рисуются портреты родственников героя-рассказчика. Но в этих портретах больше рассказа, нежели показа, герои обрисованы проще, а быт — оцерковлен значительно больше. Описываются, например, не все кушанья, а только куличи, пасхи и яйца. Праздник Пасхи показан не ради самого праздника, а для того, чтобы подчеркнуть событие, произошедшее в разговины, придать ему мистический, вневременной смысл: дядя мальчика, материалист и безбожник, опамятовался, уверовал и похристосовался со всеми на Пасху.

Это изменение героя — переход от скепсиса к вере — описан почти в каждом рассказе: и в «Гласе в нощи», и в «Свете вечном», и в «Свете». Опять, как в 20-е годы, это произведения малого жанра, в форме «сказа», с четко вычерченным сюжетом. Герой важен Шмелеву как очевидец, свидетель главного — чудесного события. Все мистические переживания героя, все чудеса в рассказах Шмелева

связаны с судьбой Родины. С надеждой, что Россия опамятуется, спасется. Что «русская сказка XX века» кончится хорошо.

Этой надеждой, так же как своей гармонией, чарует нас Шмелев ныне. Сказка должна хорошо кончаться. Как сказка об Иване Царевиче, которую вспоминает и «няня из Москвы», и поэт К. Бальмонт в стихотворении «Верный» о своем любимом друге — Иване Шмелеве:

Шаг за шагом. Землю мерит. Ах, устали, ноют ноги,
Шаг за шагом. Шаг за шагом. По безжалостной дороге.
Справа, слева,— слева, справа,— мутной зеленью, как тучей,
Чаща, дремь, деревья, пуща, глушь, чапыжник, лес дремучий.
Он идет дорогой ровной. Впереди колдует кто-то.
И дорога искривилась. И обходит он болото.
Он идет по краю топи. Он прошел селом, деревней.
Снова входит в лес дремучий. Запах леса, пряный, древний.
Верный Ваня. Василечек. Он, Иванушка любимый.
Он, Иван, часами — грозный и всегда — неодолимый.
Справа, слева — молвь деревьев. Ствол к стволу. Есть голос в скрипе.
Что вещают в дуплах совы? Что укажут взвои выпи?
Шаг за шагом. Шаг за шагом. Да куда же Леший тянет?
Эх, качайся, василечек. У тебя на все достанет.
Взор твой — небо. Взор твой — синий. Голубой. Как лес, зеленый.
Ты, Иванушка, царевич. У тебя свои законы.
Влево,— с честью врозь я буду. Вправо,— мне с конем разлука.
Прямо — смерть, а перед смертью дымно-огненная мука.
Ты пойдешь,— куда захочешь, и пойдешь везде счастливо.
Разве где без василечка хоть одна бывала нива?
Шаг за шагом, шествуй, верный. Пред тобой Судьба в ответе.
За тебя — Иван Купало. Взлет Жар-Птицы в звонком лете.

Е. ОСЬМИНИНА

НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ
РОМАН

I

...А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то как у вас, барыня,— и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я попимши чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку...— дом у вас чисто дворец был,— они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономка ваша... носастенькая такая у вас жила,— Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна..? — чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков,— любила я из китайских. Тут их чтой-то и не видать...— воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все — как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я — больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидала — не

узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как брилиянты наденете, и тут, и тут, и на волосах,— ну, чисто царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне,— «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» — так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят,— прахтика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамаши с ними перешла, в приданое словно,— уж как за свою и считали. А помирал когда барин,— Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было... Ну, что покойников ворошить, царство небесное, Господь с ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерицы вы стали, обучились,— ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве, а то теятры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла,— «все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку,— купи мне яблочков, вареньица я сварю,— так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадца-том етажу, чисто на каланче,— ну, огня и не дозволяют, пожару боятся. Уж и высо-та-а!..— в окошечко как глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот,— ну, как спишешные коробочки, а человека и не разгля-

деть,— как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой — сама бы не поверила. И чего же надумала,— на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала,— не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие... и в море топиться возят, и из пистолетов в нее палят, и партреты с нее сымают...— понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему — уж зве-зда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать — не знаю, от очуменья никак все не отойду. Увижу во сне,— опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одине-шенька — так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам — по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» — характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней — «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна. да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшенный по своим делам, а я плачу-сижу, слезть-то одна не смею, сижу-молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготовляют... вот-вот, в снима-то эти, сымаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одинешенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом етажу, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговки надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз,— смерть чайку захотелось,— приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки

тычет, велит скидавать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартирку, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебен, на себя непохожа стала. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серча-ла!.. В именьи у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомнить, память старая — наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а именье их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителился, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит:

— Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили — и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою намедни в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повыросли, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше — в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показу примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли,— дочка у них за ресторанщиком нашим,— ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок, и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала,— не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и пла́чу, себя жалею... бо-знать чего надумываю: вот, дожила... обгрызочком за порожком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я — плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угоднику-батюшке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне — пойду-поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули — «нянечка»! И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомнили! А я бы вас нипочем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лике, ваша Ниночка все, бывало,— «няня-смородинка», звала... а то — «родинка-уродинка». Вот и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то

живет! Сыты, одеты, обуты,— и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно,— открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая! — все он меня так — мамаша дорогая.— У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут!» — так все говорил.— «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорьич, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнилась,— помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошнился, все меня утешал:

«Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше уезжаем, бел-свет увидим...» — все меня развлекал.

А его другой сын выписал к себе, в ихние палестины, в Старый Ерусалим,— и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то — на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьич. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался,— роман и роман страшный. Уж как все расканителится — не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно,

мысли все у меня такие были — поехать надо. Ночи не спала, все думала — поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и...— «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» — дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне — скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся,— завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им — а-дрист улетел, ф-фы! — поняли, пожалели — не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поантересовался, признал — русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я, прямо. Довез акурат до квартиры, ни копеечки не взял.— «У меня,— говорит,— мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел.

В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот за-

мешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатущий, лизун. Это он меня так прозвал — и-дол! — осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, — то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голоску уж слышу. А он ощерился, и пальцем в меня — «и-дол!» — говорит. А Катичка после сказала — «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, — «иконка ты моя, не могу я без тебя!» — это уж как разнежится. А тот на меня — и-дол! — почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как искутан, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А богаач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел звонками. Много уж за сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, — не отцепляется, так вот и стерегет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей — «навязался человек, без путя ходит... да ну-ка еще женатый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают... — уж она показная стала. А денег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье милиен сделал!» А она повернулась так, гордо ему — «что мало?» — и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо. Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил.

Все и думала — господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы — и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, — помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера, все терпел. А как заноза в нее насела... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это

артист один, баринов адресок Катичке сказал, на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомню, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвостил:

«Я у них на Ордынке теятры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень,— говорит,— мне изумрудный поднесла!»

Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего наскажут. Краснобай такой, балахвост. Катичка ему — «а, пустая вы балаболка!» — а он в ладошки — «поклоняюсь, поклоняюсь!» — никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

— Это Медынкин на меня серчает — и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспременно разыщу!

Разыщу, говорит,— так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтительный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли,— Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили,— он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все —

«Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!..»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так:

«Извините, не помню... и хочу молиться!»

Расстроены мы, Васенька заболел... а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он с нами помолился, на коленках даже стоял,— не отцепляется. Поплакал даже с нами, так и расположил.

«Каждый,— говорит,— день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».

Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се... и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово — вас и помянул. Тут и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы про-

падать ему: велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.

«Лечу,— говорит,— на вокзал, счастья пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь — русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все,— говорит,— родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку... ба-а! — сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал,— поезд ждет, опоздаю на пароход».

Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот,— ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова...— и что же, барыня! Где это вот Дунай-река... как это место-то?.. нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?.. Правда, уж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.

«Только бы до Парижа докатиться, а там опять,— говорит,— встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали... и у них беспременно деньги имеются».

Такой нахал, сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все... а насмотрелась.

«Они,— говорит,— с заграницей торговали, у них беспременно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?.. не секретные, а... Те-мные, вот как.— «Я бы,— говорит,— и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные,— говорит,— друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и партретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».

Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, брилиянты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены,— упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думатся так, уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать... Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил,— про перстенек, да что вот партретик оторвался.

«Теперь бы,— говорит,— этот перстенек... на автомобилях бы раскатывал».

III

Про Васеньку-то я вам... А это она занозу свою все помнила,— знать-то все,— терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именьицем. Сами знаете, какое у барина именьице было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакей-старичок, сорок годов жил,— не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги теткины, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули... весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленые... а хорошие были люди, грех похулить.

Верно говорите, много барин прахтикой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую! Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила... с парадного позвонится, часто так — дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукаются,— и сейчас в шифонерку, за деньгами. Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:

«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»

Барин поморщится, скажет:

«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»

А она все так:

«Это же наш долг, Костик».

Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахаля одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:

«Ай, няничка... ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»

Все мне, бывало, доверялась; я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал — не скажу. Было-то чего с музыкантом?.. В доточности не знаю, а... Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице,— на, попрячь. Больше году набирали, греха что было... в глаза я барину не могла смотреть, измучилась... за грех такой обещание дала сорок раз к Царице-Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня теребит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река... А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит,— тыщу еще давай! Совсем уж затеребил... под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не чаяла,— они на Катичку и выпрашивали.

Да много было... А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните небось сами... барыни-то

ему спокою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу... я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые — пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копеечке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси.

«А зачем тебе,— скажут,— няничка, деньги... у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».

Три рубли барин сунет, скажет — «это не в счет»,— и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то... Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.

«Няничка,— скажет,— труженица ты наша... самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая...» — и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо... ведь ты свята-я!..» — а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.

А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я,— бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и...— ведь это что ж такое! У барыни, где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет... А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю — всегда найду. Барин, бывало, загорячится — «как так нет? где-нибудь должны быть... в диван не завалились ли, в

шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед взаседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.

IV

Про Васеньку-то я вам... Соседи по именьицу, Ковровы. Стало Катичке счастье тут выходить, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель,— какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал — старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести,— с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала — смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю,— деньги нужны. Ну, перестал свистать... кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:

«Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» — завиствовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажет:

«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»

Ссердцов, понятно... тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела — «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, економка, бывало, скажет:

«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла».

Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки во-от какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора.

А вы приехали, все-то в снегу, разрумянены, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня... и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули,— сказали, что много наиграли. И красивые же вы были... прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили... засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня... да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали,— каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли... за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые... Да тогда разве думалось, что светопредставленье такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили,— вот и не думалось.

И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики,— ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила, его из имназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамаши наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было... тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорилась. Обиделся он, шкурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил,— барин его чуть палкой не ударил. Скажу им — «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жалеете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты припи-

сался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась — побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный,— как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки... столько он просадил,— никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.

V

Бывало, скажут: не миновать — Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленые, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кроватке, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры,— вот и молись. И что я вам, барыня, скажу...— с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распостраняется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела — опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:

«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная... не к добру это».

Дернулась она, да с сердцем на меня так:

«Что ты мелешь? почему — не к добру?!..» — а затревожилась.

«К пустоте,— говорю,— пауки одолевают... думатся так, по-деревенски».

«А, глупости... любишь всегда тревожить!»

А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело... ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зерькала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.

За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улащивать:

«Ах, тетечка... ах, милая... совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно... а мы-то скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душестые, по зубкам вам... а Катюньчик без вас жить не может...»

Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выгрышный билет ей... А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись... И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все... А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать сбираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлецать... И место кому за столом какое — ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили... только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!

Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть...

«Ай, что такое, не пугай, Костинька... или опять накуролесил?..»

А она часто мирила их. А он рыдает!..

«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли... поглядите на эту тень!..»

А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит...

«Что ж вы мне раньше не сказали?! как можно запустить?!.»

Она сразу тогда — де-сять тыщ! Так всю и обглодали помаленьку. Проводят — и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка... ах, славная дите!» — так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили да и нашутили. А вот доскажу. А померла она — и похоронить не в чем было,— в простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник заместо того отдали да царский партрет большой, старого царя.

А именьице она еще вживе Катичке отдала, летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще, примечала я, Катичка ему ндравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая... говорит Катичку по-ихнему учила, гордая да капризная...— все мы ее «кислая кошка» звали. А так обучила хорошо, все вон теперь дивятся, так за англичанку и признают, очень способная Катичка. А Кислая и влюбись в барина! Как на икону на него молилась. Так-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катичке сказала — «всегда для вас все готова сделать!» и что же, барыня... ведь она как нам тут пригодилась, в загранице! через ее мы англичанами чуть не стали, в Костинтинополе когда бились... Она бо-знать чего про нас наплела, чуть ни царского роду мы с Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морям катались, вот к нам и приезжают, к «Золотой Клетке», где мы служили... ресторан такой. И свой корабль у них, страшенные богачи... И вправду, уж я по порядку лучше.

Да, так вот тетеньку и похоронили.

VI

Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было,. на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них

не скажу, верно вы говорите,— а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутошнику сказывал. А бутошник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал... рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчушечек...— придет и шепнет:

«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».

А то на Арбате. А барыня и не чует. Начнет как барыне душестых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала — новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня... живая правда. А барыню дострасти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили... барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела... а она в слезы, его корить — «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя... ды-ах, цыганочка моя... ах, перышка моя!..» — заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили,— «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопали, ну и...— «у нас,— говорит,— кровь играет... на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала... расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.

И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных... На энтих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомнить. Андра-шкина..? Помнится, была... Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще, в ресторане-то застрелилась, в заграницу ее увезли после. Да Господь с ними, барыня... Нет, Старкову что-то не припомню... А Локоткову, может, слыхали... у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали,

за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то... от мамаши Катичке досталась.

Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить,— для прахтики так надо, пациенки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось... и вспомнить страшно,— в наказание так Господь послал. А то и в испытание... Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а... расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациенки. Растревожится она, закричит:

«Негодник ты негодный, бабник ты, ю-бошник... не смей до меня касаться!..» — кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:

«Ты что, милая... белены объелась?..»

Она ему в лицо шварк — письмо!

«А это что?!.. Негодный ты, порститут!..»

Повертит письмо, плечом подернет...

«А, стерьва...— скажет,— теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..»

Она и рассахарится, поверит словно:

«Да-а...— скажет,— актерщик ты известный!»

Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет,— и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое взаседание, на всю ночь.

У них ученые взаседания были, и еще казенные взаседания, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексевна по секрету говорила: партию они делают. Вот и сместили, добились своего... только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали-ждали... барыня все сулилась:

«Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, поновому все будет, Костик тогда над всеми больницами будет... и всем тогда хорошо бу-дет... и тебе богадельню выстроим, для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалованье большое будет, трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем... партию делаем, для всего народа чтобы».

Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а... не поймешь ничего.

Ну, уедет он в заседание, и она в свое взаседание, хлопотать. А то, под конец уж это, капли стала веселые в бок впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, как... и испортила себя каплями. Завеселеет, забе-

гает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет:

«Ах, няничка... и что я за несчастная... и красивая я, и молода я, а Костик меня обманывает, чую!..»

А они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц, все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите... а уж такая была красотка! Это вы правду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа... так это с каплев у ней личико желтеть стало, а то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка... посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую,— «ах, галочка моя... ах, бабочка моя!..» — всякие приберет слова. Скажу ей — Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Где душе-то спокой найти, о себе да о себе все, бо-знать чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит,— нет ничего, все концы умел схоронить. А то прибегла ко мне, веселая,— «любит меня Костик, одну меня!» Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барыню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было!.. Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется:

«Что ты, старая, заладила — Богу-Богу!..»

И Катичка вот, бывало. Это уж ее Анна Ивановна наставила,— молиться она стала, в Крыму уж. Да что, и в Америке жили — попрекала:

«И все-то не по тебе, ворчишь! Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все кверх ногами стало... с чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»

А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками,— старое ей все поминается. Скажешь ей — а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь, а какой мне Бог вида дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь... губы мне красить, что ли! Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Ну, это как расстроится. А то — лучше меня и нет.

Про барыню-то я... страшно бывало слушать.

«Бог-Бог... что ж он мне не поможет, твой Бог!» — чумовая будто.

Так вся и исказится. Ну, известно, астеричная. И барин все, как вот вы сказали,— астеричная ты! А то

косы распустит,— а волосы у ней чуть не до пят были,— обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего:

«Ах, разведусь! Ах, задавлюсь... себя и его убью!..»

А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли... не узнать, болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барыня ему — «ах, какет какой!» Все барыни от них без ума были, барыня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил!.. Принесет прачка трахмальные рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало,—грудь все чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, плачет: назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голанское... а галстуки эти так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые,— все шелковое, цветное... и подштанники, извините, разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде, для аромату, саше. Что говорить, любили покрасоваться.

Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлекется. Милионерки были, всем соблазнить могли. А брилиянтам завиствовала!.. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось, а не сравнять, как можно... горели-то на вас, чисто вот как жар-птица. То вот как расхваливает вас, до бегов это еще, а то давай честить, уж простите. Да что говорила... разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу... а всякими, бывало, словами..: мне уж и говорить стеснительно-с. Ну, уж если угодно, правду скажу, не скрою... И хитрая-то она, и фабрикантша фальшивая, да-а... и месалиная она... И сама не знаю, какая такая мисалиная... а все, бывало, так — мисалиная... И ноги лаптем, и кукла золотая...— уж извините, от слова не станется, а всердцах мало ли что с языка соскочит!..— и чего она к нам повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила... и деньги дерут с народа, и как посмела запонки Костику подарить такие... А вы куклу Катичке заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина, не видано никогда, так все и издивились. А запонки... она их всердцах в этот... в кла-

зет спустила! В кла-зет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу,— она их и спустила. Барин ее кали-ил:

«Что ты наделала, безумная! боле пяти тыщ запонки, такие брилиянты!..»

Цену они уж знали. Не помните... А я упомнила, денежки-то какие! А, может, и от другой какой, спутала. Так серчал!..

«Это мне память дорогая, я Медынке с Ордынки жизнь спас!..»

За заставу покатил, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы сплывает. Копались тамошние золотари,— барин им посулил,— не нашли. Очень вас, барыня, почитал. И партрет ваш на столике держал. Барыня схватит — и в нос ему:

«На, повесь в угол, молись на свою святую!»

А он ей смехом:

«Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупая ты... да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз!»

Она и кинется к нему на шею, и за шимпанским сейчас пошлют. И меня угостят. Да я его не любила, по мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.

VII

Правду надо сказать, с горя и она себе утешения искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала... ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно, в их положении,— много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки да теятры, и обхождение такое, вольное,— телу и неспокойно, на всякую хочу и потянет.

Картинку с нее красильщик один писал, чуть не голую расписал. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушках валяется с папироской, и цветы на ней навалены, и фрукты всякие, и кругом ее все бутылки,— будто арапскую царицу написал, за деньги показывать хотел. А ее вся Москва знала, барин и осерчал. И вправду, будто распутную женщину намазал: и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно, до неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил. И ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя непохожа, словно уж не своя,— испортил ее красильщик. В щелку гляжу, бывало, мазал ее когда... и за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, и всю, как есть,

перетрогал он ее,.. от стыда помаленьку и отучил. А она — хи-хи-хи...— чисто ее щекочут. Вольные платья стала нашивать,— стыд и страм. По портнихам, по модисткам... вырядится — страмно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет!..

«Гли!.. да ты не ты!..»

Будто приворожит его. А который ее мазал-то, урод косоглазый, на козла похож... возьми да и влюбись в нее. Проходу ей не давал. А у него вредный глаз был, он ее и заколдовал, глазом-то. Смеетесь, барыня... а сущую правду говорю. Сидит и глядит, колдует. Так помаленьку и заколдовал. Она уж как учувствовала, станет его просить, руками укрывается:

«Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» — и хохочет.

А он пуще уставится. А барин на прахтику уехал, в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее уставил, и говорит, чисто ее хозяин:

«Вы беспременно поедете со мной кататься, картинки мои глядеть!»

Вмиг собралась — покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее, слышу...— сама не своя, уж он ее испортил. Два дни из спальной не выходила. А тот телефоном донимает! Она трубку об стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела, после того-то. Ну, что тут, барыня, антиресного?.. Ну, и еще было. Как сорвалась с закону, греху как приложилась,— и не удержишься, Бога-то когда нет. Был еще один, словно студентов учил... ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится — не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед барином, стыдно в глаза смотреть...— за письмами, бывало, меня гоняла, в секрет, на почту. А у меня глаз-то свой, не дареный... белье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачке отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно... что я, слепая, что ли! Исхитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь,— из глаз глядится.

Да чего, барыня, приятного тут?.. Ну, музыкант был, учитель Катичкин. Ничего человек, смирный, играет, да вздыхает, только и всего. Вот-вот, самый он, волоса долгие, на грека похож, и с бантом с белым, а только ти-хой. Греки — они шу-мные, я их знаю, в Костинтинополе как мы бились. Вот там греки шумели!.. Всех с тортуваров сшибают, никакой управы на них, турков

они прогнали, а англичаны город им не дают, забрали себе под флаг. Им досадно, все и кричали: «сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки стребуем!» Офицер наш один все их дражнил, бывало: «и у петуха шпора, да не звенит!»

Ну, вместе сидели и играли на роялях. Поглядят друг на дружку — и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихой был, музыкант-то. А глаза пялил, правда. В зерькало раз видала, как она его в маковку поцеловала... а он глаза так, через лоб, и воздохнул. Ну, в налехции с ним ходила... Барин раз и перехвати письмецо! Подает ей, уж распечатано.

«Как ты смеешь письма мои печатать? — она ему.— Тут ошибка, ничего я не понимаю...»

«А я,— говорит,— понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка!»

Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал.

Ну, сами, барыня, посудите: как же им дите воспитать, при таком-то хавосе. И давно бы от них сошла, да к Катюньчику привязалась, оставить жалко.

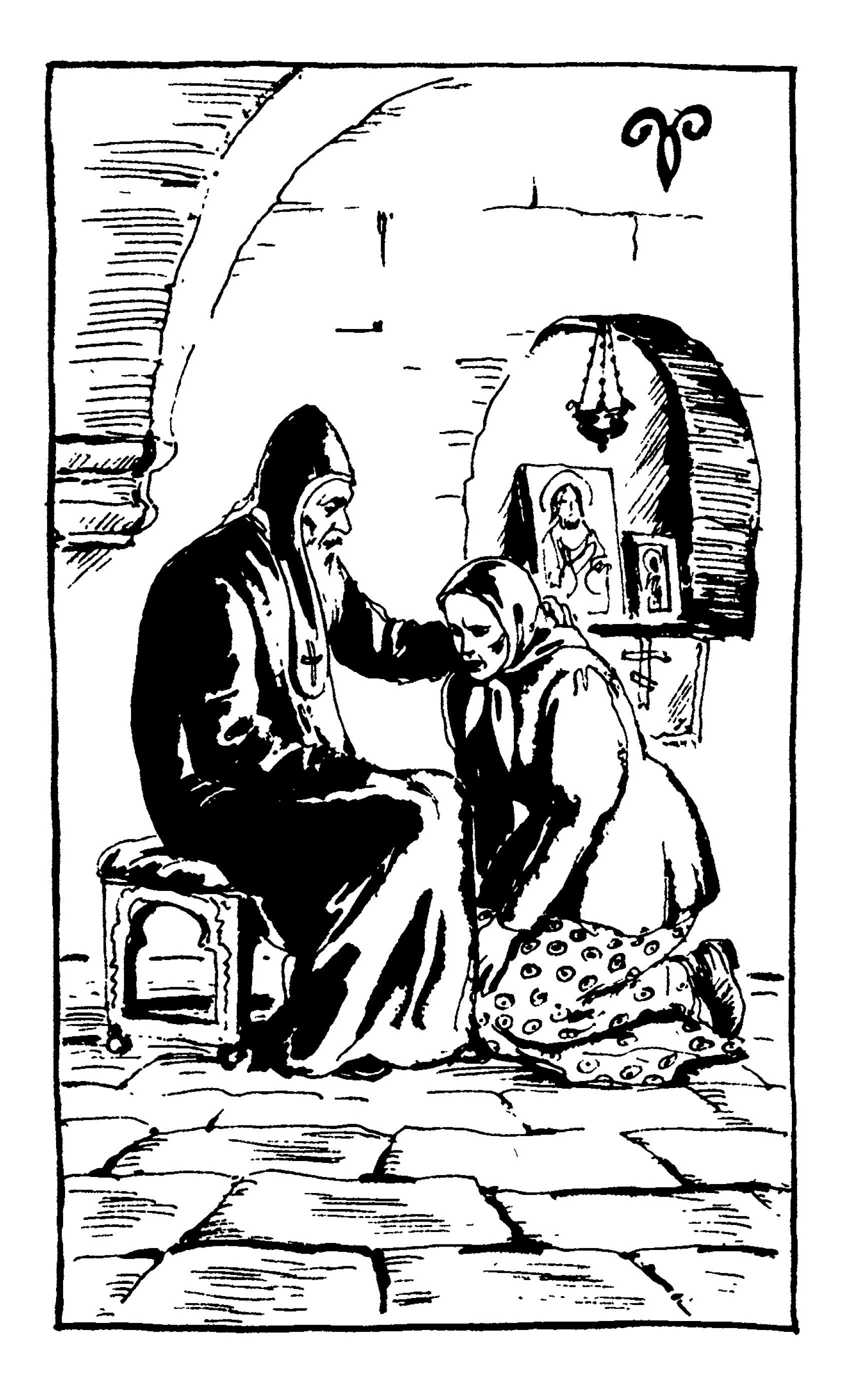
VIII

И чего только они над ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?.. А вот чего я думала. Наше семейство взять... Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копеечки не тронет, хоть ты ему тыщирастыщи положи... очень по закону понимал. А барыня... и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и прахтикой много помогал... и такой тоже сочувственный!.. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно — в брюхо ее ногой, ногой. Обедали они, как увидали... выбегли на мостовую прямо, кричать,— в участок хулюгана-негодяя, в портокол писать!..— животные были попечители... были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают... голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь... кричит: «звери-звери!..

нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народ морют, убивают... а мы можем спокойно есть!.. не могу, не могу!..» Барин ей капель, все успокаивал: «не волнуйся, мы это все скоро переменим... все кончится!» Заплачешь — на них глядеть. Вот, думаешь, как по-божьи надо, и в церкву они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то? Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочу-ствовал... вредно в грязи рожать, зараза будет, все говорил... пусть в приюты идут рожать, в ламбалатории, и чистота там, и денег не берут. А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел... сразу ей барин выправил, ни копеечки не взял,— только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков... мертвеньких уж совсем вынал и в себя приводил!.. Вот как.

А иной раздумаешься — сколько же он ангельских душек помори-ил!.. Да я-то уж знаю, барыня... И за это деньги какие брал! и на что же денежки эти шли-и... в прорву, на баловство, в свой мамон. Барыня все мне говорила, как и вы вот...— такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю... грех покрыть помогал, ангельские душки убивал, пу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не греши. Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли... Скажешь барыне: нищие к нам заходят, надо бы на кухне подавать, как у мамашеньки водилось. А она — «лодырей разводить! на попечительство даем, там уж знают». Да не все попечительство-то знают. И канючки есть, и дармоеды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, расстраивались от нужды. Странницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу, всю она кухню пальцем нам протушила, правда,— как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катичкой узнали, как хлебушек добывается, и в Костинтинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок...— вспомнить страшно.

Ах, барыня... у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла, англичаны поместили, от сострадания. А мать и не допустили попрощаться... от заразы, будто...— и похоронили не сказамши. Пришла, а они уж похоронили, и не отпевали! От сострадания, говорят. Так матушка и упала на ступеньке. Может, и барин



тоже, от сострадания... а думается мне — грех и грех.

А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали... у всех чтобы свои капиталы были, всем чтобы поровну. А вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а... хоть половинка была такая, за младенчиков! Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней, грех покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только последствия. Десять тыщ выклали! За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог, за пять рублей, бывало, покупали... и мне дадут. И придет в думушку: а ведь это за пузырь мне, за ангельскую душку, сладкий кусок... за грех! Да я не осуждаю, барыня... а сумление во мне было. А вот слово я какое получила, от святого человека... а вот.

Это как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чуяло. Поехала я за Троицу, в пустынь, к старцу Алексею. Мне Авдотья Васильевна присоветовала, желанная такая. Ну, поговела я там... а уж царя сместили, все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец и сказал... я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю... так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил... открылся — плачет. И пошептал мне:

«Родная ты моя, не смущайся, все принимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит Судия... и все мы грехом запутаны, а вот Судия и рассудит».

Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать... И правда, а то собьюсь.

Катичку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это! без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катичке и отплатится?.. И что же, барыня... отплатилось, так-то им отплати-лось..! И Катичка, разве счастье ей? Да я, барыня, все знаю... вы не знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы, за что мы-то теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие и страдают больше, за чужие грехи принимают, а уж Господь рассудит, все у Него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается... и в церкву стали ходить...— все у Него усчитано.

Ночью проснешься, как все-то вспомнишь...— да как же я сюды попала, в пустое место! да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные... оттуда гонят, туда не допускают... В Костинтинополе жили мы,

вот напугались как, слух прошел,— хотят власти нас большевикам отдать! Чуть-чуть не отдали, кто-то уж за нас вступился. Да как же так? — говорили все,— да где ж у них Бог-то?! А как же барыня говорила нам — самые они образованные!.. Уж вот уж повидала-то... Катичка тогда из себя вышла, калила их, калила... такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю-то я...— проснешься, Го-споди, старая я, кому нужна, сызмала сирота, с девчонок по чужим людям... покарай ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не оставь милостью! На всем свете одна она у меня теперь, будто дите родное. И покойный барин меня просил, помирал... не забуду и не забуду.

IX

Да, про Катичку я вам... И чего только они над ней не вытворяли! Барин никогда пальцем тронуть не дозволял. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую, надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую... без горшочка ходить, а уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила — и к папеньке. Он меня,— а он высоченный, как жандар, был,— за руку меня, загорячился:

«Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюньчика пальцем тронуть,— духу твоего тут не будет!»

Через полчасика обошелся, в руку мне три рубли:

«Прости, Дарьюшка, за горячку... пропадет Катичка без тебя».

Стала я ее молитвам учить. Они ее до ученья ни одной молитве не обучили.

«Не смей Катюньчика глупостям учить,— барыня мне,— в молитвах твоих она все равно ничего не поймет».

«Да не мои,— говорю,— молитвы, а Господни... она не поймет. Он зато понимает и не подступится».

«Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека... она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»

Да чего же мне наговаривать на них, барыня, когда правда!

«Да какой же это мой Бог... опомнитесь, барыня! — говорю,— один у нас у всех Бог... Исус Христос!»

«Ну, я тебе сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте!»

Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на

ноги поставите, крещеная ведь она... надо ее по-божьи учить, или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней... слушать-то ей ко-го? А горе будет, где у ней утешение?.. Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка... для тетки и окрестили, да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»... и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерне, гулять пойдем. А она охотница до церкви была, так руку, бывало, и оттянет:

«В телькву, няниська, в те-лькву!..»

Не нарадуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие ндравились, хирувинчики с крылышками,— божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая:

«А к Боженьке я когда уйду, тоже хирувинчик буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчик? ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?»

Уж такая была смышленая да вострая... Я ей и накажу строго:

«Мамочке не сказывай-смотри, что мы к Боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора».

Погрозится так пальчиком, губенки вытянет:

«Не сказу-у... мамотька Боженьку не любит, а мы любим».

Истинный Бог. Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать — слушать страшно... про человека да про человека, все что ни есть, он может. И кости человечьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала,— одинаки, говорит. Барин и то серчал — рано ей, у ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, сладу нет. Крестик на ней был, гляжу — нет! Мамочка сняла, грудку ей оцарапал. Купила я ей, хороший такой, серебряный. Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стала плеваться! Скажу ей строго — «в Господень лик плюешь, Боженька накажет!» А она, насмех чисто, в глаз попасть норовит. Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет: «глупая ты, мамочка говолит, делевня ты!» Как ее воспитать? Стала ее стращать, а к ночи было:

«Вот Ангел-Хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами!»

Она — кричать-биться, полог на кроватке изорвала.

Барыня на меня — «ты мне ее уродом сделаешь!» Заснет — я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую,— она смеется:

«А вот и сказу завтра мамочке... крестила ты меня!»

Стало уж мне с ней страшно,— О Н уж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила,— она меня прыгалкой по глазу, залился глаз. Я ее по щекам и отхлестала, для острастки. Она к мамочке, с ревом, а та, дела не разобрамши, да при ней на меня, с ключами!.. Так вся и исказилась:

«Ты, хамка... посмела лица коснуться!..»

«Погодите,— говорю,— скоро она и вас примется колотить».

Уж на что миса, англичанка, и та все глазами ужахалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила... и они тоже в Бога веруют...— и у ней над кроватью крест костяной висел, в веночке. Я им и на мису указывала,— глупей она вас, что ли? Тоже образованная, да еще англичанка.

И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извощика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдают: «Катичка тебя отпускать не хочет». А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить,— в мамашу. Барыня, бывало, с барином как повздорят, сейчас разуются — и в сени босиком, да зи-мой! Барин схватит ее в охапку и принесет, а она по полу начнет кататься. Из графина окатит — сразу и приведет в себя.

Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним,— и обидно-то, будто и за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку...— хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала, из Крыма как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать:

«Клянешь нас, жалованье не отдаем... лучшего места ищешь, на нас и выискиваешь! Ну, так бы и сказала, жалованья тебе мало...»

«Бога-то побойтесь,— говорю,— сердца я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю... а зачем над человеком мытарствуете! Всех жалеете, говорите... Не могу я глядеть на хавос ваш, родное дите губите...»

За голову она схватилась:

«Стыдно мне перед тобой, няничка... стыдно!..»

Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, с семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воет, и барина нет дома. И образов-то нету, а она бьется, чисто темная сила ее ломает,— страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой — она и стихла.

«Виноваты мы перед тобой, няничка. Ты хорошая, а мы перед тобой... дрянь мы! И нет мне покою, и все-то ложь, и Костик меня обманывает...»

«Бога у вас нет,— говорю,— и покою нету. Худо у нас в доме, ху-до...» — все ей и выложила.

Так она и встрепенулась!..

«Чего ты каркаешь, чего худо?.. что ты думаешь, умрет кто у нас?..»

В Бога не верили, а такие-то опасливые,— судьбы боялись. За зерькала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь: в Бога не верите, а зерькалу верите? Да ведь это Господь зерькалом во-лю свою указывает, заранъше. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице — назад, Федору кричит, в объезд. А по нашему, покойника встретить — всегда к добру. Ну, другое дело — свадьба... Все-то у них навыворот.

Да... так и встрепенулась:

«Скажи, что тебе чудится, какое худо? или сон видала?..»

«Образов у вас,— говорю,— нет в доме, у вас все может быть».

«Что — все? что ты меня пугаешь? про Катюньчика чего чувствуешь... что — худо?»

А я чего могу знать, не святая, в сам-деле. А чудится — будет и будет худо. Катичка и заболей скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла!..

«Ты накаркала... ты все!..»

«Опомнитесь, барыня,— говорю.— Господь видит, как же я могу скарлатину сделать? Пригласите лучше Целителя-Пантелемона».

А Катичке хуже да хуже, хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят — была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал, будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелемону, привези. Монах и говорит,— дойдет вам черед дня через три, а покуда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барыне, а она кулачками затрясла: «вот, когда

хочешь — тут и нет!» А я помолилась и помазала Катичку теплым маслицем, в украдку, и в глоточку капельку ей влила,— она и уснула, хорошо так. Поутру глядим — она уж и повеселела. А доктора и говорят,— теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете... не поверила, что с маслица это! Это, мол, от нового лекарства, профессор дал. Так Целителю-Пантелемону и отказали.

Так вот и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умела, гостям пела. А я их много знала. В деревне как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли, дитю качать. А у них баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то-всего умела... с волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась-набралась. Катичке я даже и певала, уж большая она стала, на теятры когда училась. Может за то и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то...— «умней тебя, нянь, нет!» — это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет... Такая умненькая была,— юла-огонь. И в имназии хорошо училась, лист ей с орлами дали. Пятнадцати годков кончила,— хочу и хочу в теятры, в наактрисы! Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоле не выпускали, приехали уж когда царя сместили... Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ране того свезли. А вот, я вам по порядку уж...

X

Стала Катичка на теятры учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают, бо-знать чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожо-ры-ы..! Один все себя в грудь бил, кричал все — «хочу помереть! дайте мне яду сладкого!» — а барин... надоели они ему,— насмех ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волконалия. Барин все так, бывало:

«Волконалия у нас стала!..» — шум его беспокоить стал.

Да жадные все, голодные...— со стола так и не убирали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и коробоводились, все наговаривали, чего на теятрях вот представляют. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умного слова не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили, мода

такая завелась... почесть что голые! И барыня туда же, с простынями. Ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катички с умывальника смылось,— всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпимши, глупые песни пел, да про альхерея... все припевал — «горчишник я ширлатан!» — а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил... колечко-то и примочил. А как скажешь,— друзья-приятели! Ни время, ни порядку,— постоялый и постоялый двор. И кого-кого только не было... И цыганы ходили, и эти вот... пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, зубами на меня щелкал,— баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошел. Да что... подушки со всего дома на ковры навалят, шалями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки... на головах дутые винограды с елки, и розаны, на образа-то вот продают... все в простынях, плечи голые, ноги голые, страмота... и вино из кувшинов пьют, и все-то наговаривают, и все-то кричат — «мы боги! мы боги!..» — сущая правда, барыня. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают...— большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня... не с пляски они, большевики... а — к тому и шло, душа-то уж разболталась, ни туда ни сюда... а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот, с гитарой, так обнагле-эл...— закрыл Катичку простыней и обнял, совсем охальник. Барин как увидал,— за руку его в прихожую вывел да в ше-ю... и гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне — кабак у нас, чему Катичка учится? А она все свое:

«Не лезь не в свое дело, глупая... не понимаешь ты, это иску-ста!..»

И только у всех и разговору — искуста-искусна, искусна-искуста...— а толку никакого, одни только неприятности.

А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали... ну, из уважения оставили, лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала,— из уважения ей и сделали, каждого могла заговорить. И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенок порастрес,— хороший у нас на дворе лазарет открыли, на сорок человек. И барыне занятие, раненых солдатиков навещать. Правду

сказать — старались. Как первую партию привезли... а у нас актерщики были, и читатели, в стихи читали... высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекши... молодчики наши папиросок им, бутенброты, нахваливают... за нашу Россию стараетесь... очень соболезновали. Еще один, помню, все добивался — «а страшно умирать, а?..» А солдатик, вежливый такой,— «страшно — нестрашно,— говорит,— а требуется!» — полон рот калачом набил, не проворотить. Барин, первое время, и дома не бывал, перекусит — и до ночи его не видим, на прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали,— ну, барина прямо наразрыв. Другую горничную еще взяли, для гостей, да девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациенков не было. Да Катичкина еще орава,— ну, непротолченая труба всякого народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забирают, а у нас все молодчики, не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, страмота,— чисто все посбесились. Театральщики, уж известно, какой народ... все будто понарошку им, представляют и представляют. Правда, для раненых старались-утешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катичка помостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь барыне:

«Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить,— колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что... белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься,— тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»

А она, высуня язык, только отмахивается:

«Война, всем надо помогать... надоела, не твое дело!»

Не мое-то не мое, а... Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:

«Попомните доктору, Дарья Степановна... мы тоже и сахарок, и колбаску, и все протчее-иное и другое пòкупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»

Дадут ему сотню-другую — опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сынка забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз не глядит,— ну, и старался барину услужить. А барин строгой

был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сынка. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженый. И вот какой богомольный, Головков-то... хироносец был! А такой, хируги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел — долой и долой. Они с барыней секрет знали — только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не знал, послал на войну сынка. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны,— все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели... нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой... говорил барину — теперь можете не платить, когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая... вот где это Дунай-река-то... Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала... Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.

XI

Да вот, представлять они стали... Катичка тут всех и покорила, так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня,— не такая она уж и красавица чтобы писаная, да еще и в себя не вошла, как следует... что ей шешнадцатый только годок шел... и росточку была еще не полного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даром что тонкая-растонкая, а... на всех производит! В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потощать... так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, огромадные, живые такие... Барин все ее так — «ах, черные миндали, зажигают издали!» — пел все. Баринов у ней взгляд был, смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины,— «каштанчики мои»,— все, бывало, так звал. А личиком бе-ленькая-разбеленькая, сквозная вся.

Уж барин ее нахваливал, души не чаял,— «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» — все так. А может, и маркизочка... забыла уж. И что такое?.. ну, каждого мужчину приворожит! Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила-красовалась. А папенька ей все-то набивал: «ох, глаза... будешь ты погубительница сердешная!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет...— откуда набралась! А то пройдется, так вся и изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытаращится:

«Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?»

Посмеюсь-скажу:

«У кого какие, а у тебя такие».

А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот какие... Да не умею сказать-то, как говорили... нет, не выразительные, а истомные, что ли?.. По нашему сказать — с поволокою глаза, будто вот через что глядят, чисто вот обмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик... вот не любила беса!..— тогда еще все внушал — «у вас глаза же-нщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так, непристойно,— «же-нщина вы, малютка!..» А наши, умные, слушают. Поведет так, закатит,— будто она спросонков. И выучилась перед зерькалом вертеться. Особо плохого тут нет, покрасоваться-то... а к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, и то — уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится.

«Ну, чего пялишься-то как нескладно,— скажу,— чисто ты пьяная!»

И все-то в головку набивали: «мы тебя за заморского прынца выдадим!» И нагадали: повидали мы их, заморских. И стали в нее, барыня, влюбляться. Конфектами завалили, вот какие коробки!.. и шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами, и так, некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать, на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах — беговой богач был... приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и дилехтора бывали, и генералы...— мед-то как завелся, так вкруг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок к нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за шестьдесят было, сухенький только был и

шустрый, и бородку брил, а под глазами-то наплыло, не закрасишь... видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И печенье ему выберет, скажет — «вот, любимое мое!» А он ей тоже — «теперь и мое любимое!» и цветочек в петельку ему, и душками попрыскает, илиотропом, любимыми... Он возьми и посватайся, одурел! Так все и обомлели,— начальник баринов. А она и глазом не моргнула: «дайте, подумаю... я ведь совсем ребенок!» Так он и засиял! И сгубила старого человека: посылал-посылал цветы, да и простудился, помер,— у училища все дежурил, где теятрам-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже немолодой, а со шпорами ходил, высокий попечитель был... из училища ее привозил и письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для прахтики. Писем у ней было... полна шкатулка. А духов бы-ло... как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольет, кожу щипет... голова кружится, не войдешь. Барин, бывало,— «дай-ка, Катюнь, даров душистых, а то все вышли!» Меня душила... Приду к себе спать ложиться,— не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву придешь, дух такой от меня, людей стыдно,— платье мне обливала.

Ну, все влюблялись. А молодые — так, высуня язык, и ходили, как опоеные. Чего ж один изгораздился для нее... Велела она ему из зологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял да и попадись: ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу,— она ему все лицо ободрала. На месяц в «Титы» попал, а про Катичку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали — она и иссвоевольничалась, все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь: «заткнись, старая улитка!» — истинный Бог. Спать ложиться,— ну, вертеться перед трюмой да охорашиваться, даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей...— шелковая, царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька,— смотрю-смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает:

«А что, нянь...» — это когда в духе, ласково всегда — нянь, звала, а то все — ня-нька! а то еще выдумала — ня-нища! — «А что, нянь... красавица я, а? лучше меня нет?»

Насмех и скажу — попова дочь лучше. Шутки-шутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться,— издивишься, откудова набралась повадкам! Плюну-скажу:

«Страмница ты, бесстыдница... ну, пристало ли девушке так себя красовать! на рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный».

И ласкова бывала со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует... ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая, голова непривычная, не я и не я... И вот тальма со стеклярусом у меня, Авдотья Васильевна подарила, износу нет,— так ей она не ндравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то...

Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за шею обнимет и ну целовать. Заерзает-заерзает у меня, прижмется комочком...—

«Скажи, нянь... буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?..»

И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу:

«Ах, Катюньчик... и любима будешь, и богата... а вот счастлива ли будешь — это уж как Бог даст».

Затискается-заерзает, словно ей невтерпеж:

«Ах!..» — воздохнет. А я и пошучу-поразвлеку:

«Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»

Она так вся и воссияет!

«Да как ты хорошо-складно! Да скажи еще... да какая ты му-драя... Василиса ты Премудрая!..» — И затуманится вся, зажмурится...— «Ах, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюк... большого счастья хочу!..»

А выпало-то вон что. Счастье... да какое же это счастье, барыня... что крутимся-то так, партреты ее печатают? Душеньку ведь ее я знаю, спокою у ней нет... и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать...— не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу,— и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона намедни, гляжу, на суку сидит, каркает...— совсем, будто, наша ворона, ту-

льская!.. Поглядела,— не та ворона, не наша... у нас в платочке.

Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хавос и хавос. Война такая, некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно, и по улицам на костылях все, да партиями, у всех горе кругом такое... того забрали, того покалечило, того убили... у Авдотьи Васильевны братца убили, и крестника моего ранило, рука повисла,— рыбкой который торговал... А у нас чисто балаган-пир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и...— так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись... Ну и скажут, бывало:

«Кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли, для удовольствия... ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут».

Это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и винца для здоровья подносили, барин нам доставал...— и пироги им пекли на праздники,— так-то довольны были!..

И отыскала барыня в лазарете где-то полковника... такого-то орла-красавца, в крестах весь,— ходила она за ними. У ней и косыночка была — милосердая сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было...— он и влюбись в Катичку. А у него трясение мозгов было, с пу-шек,— он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катичка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катичке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится:

«Голубой вы ангел! Вы сошли с неба!..» — и руки к ней, вот так вот.

А она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей! Насварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему — лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катичка какая-то такая, ждет все, когда придет... а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его... Он и не стал ходить, понял словно. Три дни не был, нам из вошпиталя звонят: где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят: поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала

даже Катичка. Да, забыла я... сказал-то чего он раз: «Голубой ангел! Зачем вы сошли к нам с неба?.. Кро-ви сколько!..» — и за голову схватился.

Не раз Катичка про это поминала, как всего уж мы повидали, намучились и сколько всяких смертей видали, горя человеческого... Вот вам, и помешался, а правду чувствовал, прознавал.

И вот тут у нас и случилось...

XII

Был у нас вечер, для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катичка со своими короводчиками надумала. Иван-Крестителя в колодце представляли! Его будто в темницу Ирод-царь посадил, в колодец, а Катичка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: отруби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядеть было,— над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядим из прихожей,— да чего ж это такой делают-то, а?!. да как так попускают!.. Пришел черный, огромадный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде, из глины они слепили, и кровь будто с блюда капает, прямо Катичке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать...— стук!..— позади меня об пол что-то. Я так и вздрогнула. А это иконка из уголка упала, в прихожей которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась! Не сказала я своим, что их расстраивать, знаю — к худу. И Аксюша тоже — «ой, нехорошо как, к упокойнику!» Связала потом иконку, повесила. Лика на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодник-батюшка, по облику. И со двора которые были, стали уходить,— «ишь,— говорят,— как нехорошо!»

Кончили они представлять, барыня и спрашивает, пондравилось ли. А они всегда деликатные с господами, говорят — «благодарим покорно, хорошо представляли ничего». А пошли к себе, мне солдатик и говорит, совсем молодой мальчишка... А он от божественного начитан был, хорошего семейства... вот он и говорит, баушкой меня звал:

«Зачем, баушка, господа такое показывают, это грех... про святого человека, Господа крестил, а она от него слов-

но нехорошего добивалась, соблазняла! Иван-Креститель это, и так нехорошо, и во-ет!..»

Мальчишка, а понял, что нехорошо. И постарше еще пеняли:

«Чего бы повеселей показали, а то как голову святому отрубили! Этого мы на войне вдосталь нагляделись».

Так мне с того вечера скушно стало, думалось все — так это не пройдет. А на другой день Васенька Катичке предложение и сделал.

XIII

Он в ту зиму часто к нам наезжал, на рысаке, на саночках. И барин к нему очень располагался, и Катичка тоже ничего. Возьмет ее и повезет кататься. У них на Тверской дом больше милиена стоил, и сколько именьев было, и еще уголь они копали... угольные земли были. Один сын у отца. Такой-то молодчик, черноусенький, бобровая шинелька. А ве-жливый... цельный мне кусок шелковой материи привез, серебристая-муваровая, да плотная такая, износу нет. Я ее в Крыму на мучку выменяла... не привел Господь поносить. На именины мне подарил, такой уважительный. Ну, прямо как королевич, лучше всех. Барин все Катичке шутил: «угольная ты у нас прынцеса будешь!» Ей семнадцатый пошел, а ему полнолетие выходило, только на войну его не требовали покуда. На анжинера он учился, на иликтрического. И Катичке словно больше других он ндравился. Да набалована, про себя очень понимала, вот и взяла манеру его дражнить. Скажет — заезжайте беспременно, буду вас ждать,— и час укажет. Заедет, а ее нет. Прибежит, много уж спустя, и давай отпираться: «да вы всегда напутаете, да я не обещалась, я вам в пятницу обещалась...» А у ней семь пятниц на неделе. А то — «артисты меня провожали, совсем забыла!» А он у нас уж за жениха считался, только от него разговору не было.

На масляной,— другой, никак, год войны был,— приезжает вдруг к нам его папаша, а раньше никогда не бывал... солидный такой, в бобровой шапке, большая борода, с проседью,— князь и князь. А заранъше сказал барину по телефону. Барин его в прихожей встретил и в кабинет увел. Поговорили,— уехал. Вечером барин и спрашивает Катичку:

«Вот какое дело, решай судьбу. Я поблагодарил за честь...»

«Какая-такая честь?.. Это для них честь!..»

Сказал ей, глупой, так всегда полагается, благодарить. Да как же не честь-то! Семейство хорошее, милиенщики, тайный он генерал был, вот он какой был... вот-вот, советчик. А у ней тело-душа, больше ни шиша, дюжины рубашек не наберется, мамашенька все не удосужилась припасти. И так всем понравилось, как Васенька благородно, через папашу, а не то чтобы... взял под ручку — и волоки к венцу.

«Ну, как же ты думаешь? — говорит.— Василий Никандрыч приедет завтра... Как ты думаешь?..»

Заюлила она, затеребилась, в зерькало погляделась...

«И чего это предки...— ишь, слово какое исхитрилась! — чего не в свое дело путаются! Хорошо, приедет — поговорим».

Барин со смеху прямо покатился, поцеловал ее.

«Откуда у тебя такие слова... артисточка ты моя!..»

Пондравилось ему очень, какие слова умеет.

«Я,— говорит,— сурьезно говорю... в какое ты меня положение поставишь, как откажешь! Лучше по телефону предупредить, как-нибудь...»

«Я,— говорит,— не думаю отказывать».

Так мы обрадовались, барыня расплакалась, что вот уж и выдают. И Катичка губки подобрала, уставилась глазками в пустое место, умеет она так. Известно, судьба подходит — каждая девушка себя жалеет. Заплакала я, пошла к себе, три поклона положила, дал бы ей Господь счастья... радость-то ведь какая! А мамаша у Васеньки померла, вдвоем они жили. На что уж лучше,— сама себе хозяйка, и к свекрови не привыкать... ну, клад дается. Барин мундир надел, саблю прицепил, поехал с визитом к ним.

XIV

Говорят вот, барыня,— богатство-богатство... и на погибель оно, и к лени приучает...— по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала, несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Костинтинополе. А генерал посуду со мной мыл, в «Золотой Клетке» мы с Катичкой служили. И Васенька, кем-кем только не был... а как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой, душевный...— вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку. Свинью и золотом окуй — все свинья. Я к тому, что вот говорите — нищие да нищие стали. Это не

страшно, барыня, нищим стать... страшно себя потерять. Граф Комаров вон, какой неприступный был, на человека не глядел, раньше-то. А теперь он в комнатке живет и куколки красит... может, и во святые попадет. Пришла к нему Марфа Петровна, бельецо ему починить, а у него только и есть, что на нем,— бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился, совсем уж блаженный стал. И говорит — «садись, сестрица, чайку попьем... мы все теперь братцы и сестрицы, нас Бог сравнял... чума нас излечила, душу свою найдем, и наша Россия-матушка душу свою найдет». Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал.

Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я, любопытная я... за дверью послушать стала, а наши уехали, не мешать. Он и говорит:

«Что вы, Катерина Константиновна, скажете... я прошу у вас руки?..»

А то Катичкой даже звал, а она его и Васькой величала,— раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет, дражнится,— до чего дружны были. А не ндравилось ей, что Катериной ее назвали. И барыне все хотелось... Му-за назвать. Барин ее засмеял, все так — «Муза-пуза»! Ради тетки Катериной назвали. А я песенку все ей пела,— баушка та, у кого я в деревне жила, певала:

Катерина на перине,
Перед ней стоит детина,
Просит Катеньку учливо,
Ты скажи-скажи, Катюша,
Скажи, любишь али нет?

Васенька ее и дражнил — Катерина-наперина! А тут сурьезный такой, узнать нельзя. И она тоже в сурьез вошла:

«Ничего не могу сказать, подумаю».

Он так и обомлел, шатнулся. И я...— ах, ты, думаю, ломака-ломака... да что ж ты делаешь-то! Он ей опять:

«Могу я надеяться?..»

«Можете,— говорит,— надеяться».

Помялся-помялся... она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала...— а вот, доскажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она:

«Я ему не отказывала, я хочу подумать».

Хвалить ее стали, за карактер. Ездил Васенька, ждал, когда надумает. На рожденье подарок ей привез, царский, брилиянтовый кулон, за пять тыщ. Барин ему еще попе-

нял, как такие подарки дорогие. Извинился он, а кулон у Катички остался. И пошла эта канитель.

Она все с актерщиками, с подружками, а они вольные, никто ни во что... ну, ей и набили в голову: такая молодая, да что, дескать, связывать себя... не будете теперь на теятрах представлять,— турусы на колесах, из зависти. Потом сама мне сказывала. А первый заводчик — такой неприятный человек, актерщик тоже... вот не любила я его!.. Лицо у него обсосаное было, серое, чисто бес. И прыщавый весь... все за Катичкой увивался, а сам женатый. А знаменитый будто... барышни все его партреты покупали, а плюнуть не на что. И у Катички над постелькой харя его висела, а рядом картинка-Богородица, только заграничная, не наша, Мадонна называется. Чего-чего у ней не висело!.. Люди какие-то не настоящие, синие все, головы скошены... не поймешь — метлы не метлы, и снег синий, нарошно все. Ну, песья морда, а все влюблялись будто. А Катичка так перед ним и трепетала...— чем уж заколдовать так мог! Вот через того беса все и пошло.

Ну, ездил Васенька. А характер у него благородный, покорливый, даром что богачи такие. Приедет — посидит, а она по Москве шлендает, время не знает. На Пасхе он ей и говорит:

«Ответьте мне вокончательно, я должен решить важное дело».

Она ему три дни сроку дала. Ну, приехал, она ему вынесла кулон...

«Я,— говорит,— рано замуж не хочу... мне надо учиться на теятры».

И давай свое: искуста-искусна...— ну, чисто у них молитва это. И актерщик тот, выгоняли которого, в Америке... тоже ей все — ис-кусна, ис-куста!.. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо... Он ей — полная воля вам, учитель,— все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой солдатикам варежки вязала, а они в рукодельном салончике. Слышу — стукнулось об пол чтой-то... гляжу в щелку, а он на коленях перед ней! А она сидит на креслах, чисто царица грозная, в глазастую шаль закуталась, как кукла спеленута,— хоть бы что! Видно мне ее в зерькале, как она пустыми глазами смотрит. А бе-элая сидит, губки поджала... а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло...— будто это она теятры представляет. Все, бывало, с бумажкой перед зерькалом вертится, на-

говаривает бо-знать чего, язык выламывает. Да еще меня спросит: «что, хорошо я представляю?» Скажу — ничего не хорошо, вся уж испредставлялась, на себя непохожа стала, бормота одна. Она и рада! Вот выламываться начнет, наскрозь все зерькала проглядела. А то руку вытянет, —

«Смотри: как из слоновой кости рука у меня!»

«Ну, и что хорошего,— скажу,— у человека кость Божья, а у тебя уж слоновая стала».

Душить меня примется, хохотать. А потому и вышучивала ее, в ум чтобы привести.

В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит,— скажите мне последнее слово...— а она ему враспев так, зевает словно:

«Да я еще не зна-ю... да хочу себя уве-рить, люблю или не люблю-у...»

Тут уж он осерчал. Встал и говорит, твердо так:

«А долго это будет, когда вы себя уверите?»

«А это как зависит... может, и год... а может — и пять!..»

Чуть я не крикнула — ах, ты, ломака-ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно... хороший человек страдает, а она — в зеркало!.. Он походил, пальцами потрещал... А она головку так, и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит:

«Прощайте, и будьте счастливы».

И пошел. А она вдогон:

«Погодите, не уходите...»

Он сразу обернулся, а она на столик показывает:

«Вы забыли... возьмите ваш кулон».

Так он и озирнулся! Сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала. А картузик он забыл,—на лестнице окликнула, отдала. Только ушел — Катичка ко мне:

«Что, ничего не сказал?..»

«Ничего, плюнул только! — и сама плюнула.— Швыряйся, матушка, прошвыряешься».

«Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка!» — мне-то. Навязалось на язык — улитка и улитка. Плакала от обиды: вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней что, за мокрохвостой, перестирала...— и теперь я улитка! Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства, сердечко у ней доброе... а обидно. Да что, к тому и шло... а вот что людей людями перестали считать.

Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали... как старичка мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее... Без шапки он, лысенький, прикрыться нечем, а они его держат за руки, и по шее, по шее... Никто и не заступился,— он, говорят, генерал! Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала,— не золотарь. Крикнула — «старого человека, живодеры..!» — чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный, с садиком, и курами на покое занимался. Как царя смещали, хавос-то пошел, бабы у булочной шуметь стали, хлеба мало выдают, немцам, мол, передают. Ну, он вышел к воротам, стал резонить, дурами и назвал. Его бунтари схватили — и давай! Выпустили после, а никто и в портокол не писал, били-то его... полицию уж разогнали. Ходила его утешать,— яички мы у него свеженькие брали для Катички,— он мне и жалится:

«Два сына воюют, а отца тут бьют...— и заплакал в яички.— Теперь нам-старикам помирать надо».

Скоро и помер, в голову ему кинулось. И лучше, помер-то... дальше уж не видал, самого света-представления.

XV

Ну — улитка и улитка. А то — «выметайся-выметайся»,— чисто я пыль какая. Да любит она меня, а к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимают, барыня... сущую правду говорю. Вот, барыня говорила-то: «для бедного сословия хлопочем!..» — а вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали, а... с кого спросишь-то! Они из книжек все, жизни нашей не понимают, а книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из заграницы приедут — вот нахваливают: чи-стый рай там, никого не обижают, все друг дружке вы-кают... и жалованье всем какое, и умные все, и благородные... у нас бы так! Раздумаешься,— несчастные мы какие, а там и бедных нет, нас-то за что обошел Господь!

Повида-ла теперь... в Крыму еще повидала заграничных. Все понятие повидали с Катичкой. Ни в жисть бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня, старуху, за ворот... да щеголи-то какие, на острова как нас вывезли из Крыма. Катичка так и ахнула, что они говорят про нас.

Стали нас выпускать... Это уж как мы сколько ден у берега качались, на корабле нас держали, от заразы будто. А которые говорили,— пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить... исхлопотал нас кто-то. А сколько-то тыщ казаков наших, потом уж это мы узнали, они к большевикам отослали, на муку-мученьскую. Хлебца им пожалели... А нас-то барыня... дочиста ведь ограбили! Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а округ нас на лодках ихние торгаши, хлебцем машут, выманивают!.. «Давай ба-ра-слет... кольцо давай, дипломат давай!..» — с голоду все отдашь. До ниточки раздели, у кого не было запасца. Повида-ли... Ну, стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились... у того девочка померла, та мужа не найдет, у того мать-старушка кончается...— ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашные. Говорили нам — в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили, в Крыму, из Катички. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют. И при них стража с ружьями,— для почета, говорили. Катичка и слышит, понимает ихний разговор... а они думают — все мы неучены, каки-нибудь арапы, не понимаем: «и чего к нам везут сброд этот... корми еще их, изменщиков!» Так Катичка и обомлела. А она огонь-порох, сердца не удержала, и крикни им... истинный вот Господь, она мне потом сказала:

«А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить! С младенчика и начните, с грудного вот!.. — на младенчика, правда, показала,— а потом вот старушку эту...» — и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то с хлыстом. А тут мурластый один, в золотых тесемках, кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катичке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех!.. утопите, утопите!..»

Напугалась я, ну-ка она упадет без памяти, бывало с ней. Те — от нее, картузы посняли, бормочут что-то, а она пу-ще пушит!

«Или рано еще топить?.. Не все карманы вывернули, пользы мало?! Лучше зарежьте, съешьте!..»

А потому... все ведь, барыня, знать надо, в Крыму что они разделывали. Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли, за грош. Потом молодчики эти в гости к нам приходили, такие вежливые... ну, вот подите, лукавые какие.

Ну, хорошо... улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня — и давай по зале танцевать-напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю, лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушала за дверью,— в подушки икает-плачет. Я так и знаю — примется меня звать. С детства у ней уж так: чуть что, и — ня-ня! Слышу — ну, как маленькая когда была: — «ня-ань... поди-и...»

Вошла, села к ней на постельку. Она одним глазком выглянула,— глазки-то у ней сухие.

«Скажи, не застрелится он от меня?» — в подушку, стыдно уж ей меня.

«Есть с чего стреляться! — говорю,— завтра за него первая графиня выскочит, не тебе чета... мигнет только».

Ну, чисто я нагадала! А вот, послушайте. Поулыбалась она как-то так, завела глазками...—

«Завтра же прибежит».

И просчиталась, больше и не пришел. А она все окошки проглядела, два дни никуда не отлучалась. В телефон зазвонят,— так и бежит. А барин и прочитал в ведмостях,— на раненых брилиянтовый кулон пожертвовали, и пропечатано так — «от русской девушки», а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем пондравилось, благородно как поступил. И Катичке пондравилось. Поджала губки — и говорит:

«Как это красиво... я его уважа-ю...»

Я еще ей сказала:

«Не красиво, а доброе дело сделал... а красива-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же. И сиди без кулона, за тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя».

«Как так похоронил?!»

«А так. После покойников все так, либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес тот твой разве бы подал,— сам бы и прогулял. Какой-такой... а на стенке пришпилен, молишься на него».

Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший... А у барина долгов... сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался, с барыней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: умеешь, дескать, себя ценить. Королевича, что ли, ей,— ценить-то! Набили ей в головку... А я, про себя сказать, чего ждала... Богатства ихнего мне не надо. А так, думалось по-человечески...— вот, гнездо

завьют, к Катичке перейду, за хозяйством поприсмотрю, детки пойдут... Да и на безалаберь ихнюю смотреть уж надоело, и к Катичке я привыкла. Она все мне, бывало, сулилась:

«Вот, нянь, погоди, выйду я замуж... я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам...» Это еще когда ей годков двенадцать было, вон когда, рассудительная была какая. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь-честью, как Иван-Царевич серого волка хоронил...»

Что уж теперь, честь-честью... Свалят куда-нибудь, и лежи с чужими, никто и не придет. И земля тут словно какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки... и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а все грязь... и не потает, бугорочков-могилок не покажет... Господи-господи!.. Придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское... с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашеных, пирожков с яичками, кваску бутылошного. Весь день проведем, бывало, на могилках, родные у ней там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Че-ремухи, рябинки, бузина-а... и вербочки уж, зеленые-зеленые... и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая, к заборчикам... на щи зеленые наберем дорогой... Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам... весело так, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадочки где горят... тишь такая. А к вечерку как пойдем, у прудов заросли такие... Пасха ежели поздняя, соловушки по-ют! Ну, что ж это такое только!.. И везде народ, родное все, барыня... и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут... что уж и говорить. В церкви вон читают, придет день Страшного Суда, все воскреснем...— и очутишься бо-знать с кем, не в своей стае-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься, а думается так, по-живому...

Да-а, сама тебе глазки закрою... Одна осталась. А в богадельню, правда, идти мне не желалось. Барин меня все в богадельню обрекали, а там тоже не сладко, в какую попадешь, а в иной и наплачешься... характерные старушки тоже бывают, с утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые,— вот и живи из милости. А я уж обыкла сама по себе, на полной воле, захочу,— к утрене пойду, захочу — самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком... Ну, так все и расклеилось.

XVI

Да как загостилась-то я у вас, барыня, разговорами занялась, а уж и темно скоро. Да как же так, ночевать... вас-то, боюсь, обеспокою? А барин не осердятся? Ну, дай им Господь здоровья. Уж такая голова, народу что кормили, на фабриках. Со-рок тыщ?! Подумать страшно. И на всех хватало, каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то уж им где ж упомнить. Пройдут они, сурьезный-то-сурьезный, а мы так и затрепетаем,— как царь прошел. И граф Комаров вот тоже, какой неприступный был, расшитый весь, золотой, чисто икона в ризе, а теперь куколки вон красит. Ну, что ж, если не скучно, доскажу вам.

Сколько-то прошло, барин и узнал,— Васенька на войну охотой своей пошел. Катичка и говорит — это через нее он, отказала-то ему,— и словно приятно ей, глазки так заблестели. А барин все что-то уставать стал, и раздражительный, не дай Бог. Зачем-то его в в Петербург потребовали. Барыня мне шепнула — на казенное взаседание его позвали, царя сместить. Министры, говорит, все сгнили, а царь делом не занимается, с монахом с распутным все,— все вот и развалилось, барина и позвали дело поправлять. И на дворе стали говорить,— монах царицу заколдовал, немцам нас продают. А жили хорошо. Солдаткам от казны паек шел, и на детей выдавали. С нашего двора одна в кондукторши поступила на транвай,— видано ли когда! — и на заводы баб стали принимать — в бонбы пороху насыпали, по три рубли на день получали. А уж рядиться стали!..— прямо все бабы посбесились. Кругом лазареты, писаря, шоферы... ну, и пошли крутить. В Кудрине у нас что только к вечеру на «пупке» творилось! А такой бульварчик круглый, «пупком» прозвали. Так и кружатся, как собаки, чистая срамота. Солдатики из лазаретов бегали, горничные, солдатки... уж наряд стали посылать, с ружьями, разгонять. Придешь к Авдотье Васильевне, желанной моей, чайку попить... дверь в магазин открыта, все и слыхать, какие все стали смелые: про царя говорят — слушать страшно. А Головков очень приверженный, хироносец был, и за царя стоял, за закон. Спориться начнут, а он горячий...— Авдотья Васильевна так и затрясется вся.

Барин приехал из Петербурга — все руки потирал,— «скоро, говорит, все перевернется!» Уж ему главное мес-

то обещали, докторово. А я, правду сказать, не верила, что хорошо-то будет. Ужли, думаю, и нашему барину власть дадут? И своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет. А к нам професыр ходил, в очках ничего не видел, и ему высокое место обещали, суды судить. Все, бывало, шутил со мной:

«Ну, няня, Богу за нас молись, всех твоих внуков обеспечим, все у нас по закону будет: и зевать, и чихать, и щи лаптем хлебать!»

И я ему, шуткой тоже:

«Да много законов писать придется, на нужное не хватит, батюшка».

На Катичкины именины представление у нас было, парадные гости были. Из Петербурга князь был, умный такой с лица, только все молчал, а все к нему с уважением. Барыня мне шепнула: «ндравится тебе, вот бы царя такого?» А я еще ей сказала — да как же так, царя... на всех похож, и страха никакого, ногу на ногу кладет, и Катичка ему глазками все смеется? Им, может, и хотелось царя такого, знакомого, а на царя-то он непохож. Так вот и остались безо всего. А Катичка чужую царицу представляла: вся спина голая, и перья на голове. И бес тот был, морда обсосана, представлять учил. Гляжу — все-то он за ней да за ней. А колидор у нас темный. Слышу — Катичка бежит. А я... за шубы я схоронилась, гляжу, — за плечики ухватил и в голую спинку целовать, взасос! А она только ежится. Я тут и не утерпела: «вы что ж, говорю, охальничаете, в хорошем доме?!» Катичка — ах! — кошкой от меня, а бес на меня, скоком:

«А, — говорит, — Агафья Матре-новна, — насмех так, — хорошо мы представляем, ндравится вам?»

Фукнул через губу, — все, с бесстыжего чего взять. Уж чем бы все это кончилось, если бы не Господь! А вот.

Дня три прошло, прибежала Катичка, сама не своя: шубка растерзана, в снегу вся, ботик потеряла, и плачет, и хохочет, ничего не понять. А к полночи уж, я с постели, помню, соскочила. На тройках с актерщиками, говорит, каталась и человека задавили, у Трухмальных Ворот, со страху с саней спрыгнула, ботик потеряла, и все. А барин опять чтой-то прихворнул. Звонок в телефон: из участка, барина требуют, в протоколы пишут. За голову схватился, покатил. А мы за Катичку принялись. Она и призналась. Значит, бес ее за заставу повез кататься, в Парки, и задавили человека, а она со страху убежала. Ну, хорошо. Воротился барин, лица нет. Шварк

ей ботик и сумочку, и давай пу-ши-ить, никогда не ругался так. Что же оказывается! Троечник показал в участке. Значит, велел бес гнать, что есть духу, а сам — Катичку щекотать! Она с испугу-то завизжала, троечник и оглянулся, чего это барин барышню забижает... солдат и подвернись тут под лошадей,— в голову ему оглоблей, волосья и сорвало с полголовы. Лошади понесли, да городовой под коренника кинулся и повис, а то бы ускакали. Ну, в свистки, дворники набежали, а Катичка испугалась, выскочила, и ботик потеряла, и сумочку. Городовой сказал — с гулящих барышнев не взыскиваем, с кавалера взыщем. А в сумочке письмо было с нашим адреском, в участке и разыскали нас. Вот барин горячился..!

«За гулящую уж принимают! Я и без того болен,— за бок себя схватил,— я,— кричит,— этому...— слово сказал про беса, не слыхано от него! — он известный на всю Москву!..— опять то слово, по женской части,— я ему всю морду исполосую!..»

Катичка на коленки...—

«Папочка, ради Бога не страми... он знаменитый...»

А барин разошелся, глаза не смотрят. Вот, кто он... знаменитый! — и опять то слово. Со стыда я сгорела. И барыня на него — не желаю слов! Барыню пихнул, убежал в кабинет. Какой уж сон, к ранней заблаговестили. Гляжу — барина шубы нет. Приезжает в десять часов — краше в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку, хорошая, замшевая, как рукавица,— рука у него огромная была:

«Нюхай, Катерина!..— первый раз Катичку так,— по его похабной роже щелкнул!»

«С ума ты сошел!..— так и взвизгнули,— такую знаменитость!..»

Он в них и швырнул перчатку:

«Лижите, дуры! теперь эта перчатка знаменитая!..»

Цельную неделю вздорились. А я так и подумала: Господь это Катичку уберег, через солдатика. Посмирней она стала, и гад тот от нее отступился, барин-то постращал. Одну беду отвело — другая. И тут все беды и пошли, до самого конца.

XVII

Под Николин день было. Наши в теятры поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко все-

нощной. В одиннадцать воротились, и наши подъезжают,— рано что-то. Катичка — шубку шварк, побежала в зал, в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. А она барабанит, она звонит!.. Сказала ей — ну, чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой! — хлоп! — Мать-Пресвятая-Богородица!.. Барин вышли — «уймись, прошу тебя...» — будто застонул. А она, на весь-то дом...— «ах, надоели вы мне все!» — и убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой, барин бок потирает-морщится, и друг дружку упрашивают: «поди, успокой ее, узнай». А она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она — «нянь, поди-и...» А дверь уж отперта. Села я к ней, а она зацапала меня, как маленькая, бывало, и затряслась. А я уж ее знаю — отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась... слезки, как градинки, кру-уп-ные, покатушки,— и глядит мне в глаза, спрашивает губками, а я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была, мы все так играли. Я ей и пошептала бауточку: «дожжик в тучки, солнышко нам в ручки!» Она и улыбнулась, горе свое поведала: Васеньку в теятрах увидала! Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой, а под ручку с ним красавица такая... милосердая сестрица. И не поклонился даже. А барин ей и сказали: это, мол, известная графиня, из алистократов. Она расстроилась, и уехали из теятров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. А она и говорит: «это они мне насмех, хорошо-о!..»

Ну, вот. Хочу и хочу сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила — бросила. Гордячки там, графини да княгини, а я, мол, простая-смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да, шубы не сняв, по столу кулаком!..

«Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная!» — в голос закричал.

Барыня на него — «сам ты мразь ничтожный!» Барин на них с кулаками, исказился весь:

«В гроб вогнали! печенки от вас болят, подохну скоро!..» — и на диван повалился, застонул.

И головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась,— как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили,

сил нет терпеть, боль очень. Барыня напугалась, стала его целовать, урковать,— нельзя так запускать... Приехали доктора — печень, говорят, опухши, вина много выпивал, воду велели пить. А правда вот какая оказалась.

В лазарете графиня та служила, за старшую. Обучала, понятно, как-то: принесите то, подайте это,— дело сурьезное. А Катичка балована, забрала в голову: графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага — графине на войну ехать. Катичка и скажи, на людях: «женихов ловить ездят туда!» А графиня только и сказала: «жаль мне вас, как плохо вы воспитаны». Это барину пуще ножа было. Катичка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину! Тут на нас самая беда и навалилась.

XVIII

Сретенье, никак, было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела, и стало у ней воспаление, оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить, два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать: «ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается». А уж царя сместили, самый-то хавос начался, жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась — такая блажная стала, страху на меня нагнала: так нечистый возля ее и ходит, слова непотребные велит. Другой помирает — покоряется, а она из себя выходит, проклинает. Ну, что мне делать, одна я при ней, уговариваю-утишаю. А уж все кверх ногами стало, все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют... барина дома никогда нет, все взаседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколол красный, дострасти рад. А домой приедет — на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Все телеграмму из Петербурга ждал — управлять его позовут,— а его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барыня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, а она лежит и плачет. Газету ей читал барин — какая счастливая жизнь открылась, все она так: «ах, хорошо! ах, замечательно-антересно!» — а поднять голову

не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпимши, и супругу привел, портниху. И тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки... давайте мириться, и вот моя супруга. Ну, раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил, все паровозы у него.

«Без меня,— говорит,— теперь никто ничего не может, все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить и вам могу билеты выправлять задаром, куда угодно».

И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. Аполит и пообещал в царском вагоне ее отправить, такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая, шепнула мне: «уж не знаю, куда нас вознесет, очень мы высоко поднялись, и Аполит Алексеич в министра хочет, очень я боюсь». Плакала даже. Это уж какой у кого карахтер. Аксюшка вон наша — «губернаторшей хочу быть!» — писарь ее смутил.

Ну, хорошо. А барыне совсем плохо. Сердце у меня изболелось за нее: ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться.

Прихожу в магазин, а она плачет — разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали, они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас, а на моих глазах нашего городового и узнали! Он заслуженный был, весь в крестах, Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов не боялся, а тут своих испугался. То хоронился, а стало потише — он и вышел поглядеть, знакомые шубу ему дали надеть, с барашковым воротником,— как всякий человек стал. Он высокий, шуба ему по колена, штаны гордовые и видать, синие. Его по штанам-то и схватали. Схватали — пистолет вот сюда приставили, трое бунтарей. Он на коленки встал, заплакал, стал на небо креститься: «братцы не губите душу, я такой же человек, русской, подначальный солдат!» Крикнула я на них — «к мировому вас, живодеров!» — они меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов оправлял по суду, а тут за пристава стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров: надо, говорит, щук ловить, а вы карася схватали. Отпустили, ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступиться. А, бывало, за лошадь заступались, выбегали.

Прихожу, Авдотья Васильевна плачет, за мужа опаса-

ется. А сам Головков к Троице укрылся. Трое молодцов, воруют, говорит, почем-зря, так вот и разоряют помаленьку. А пристав новый, помощник-поверенный, что ни вечер, за закусками посылает, в долг все, а не дать нельзя,— власть, какая ни есть... да все дорогое требует: икры, мадеры, сыру ему швицарского, сарди-нков... И еще бездомный приют открыл, а денег у него нет. Он сразу три приюта открыл. И развел он у нас во-ров!.. Как ночь — так и разденут в переулке. Даже и его самого раздели, и пистолет отняли.

Спросила ее, как бы барыню поисправить, кончается. Она мне просвирку дала успенскую, телесные узы отверзает, на исход души,— в супец завместо сухарика покрошить. И растревожила она меня, не сказать: уж она все зараньше знала! А что вот останемся ни при чем. Каждый год в Оптину они ездили и в прошедчем году поехали. А старцев там не осталось уж, вывелись, один только пришлый старичок в овражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто ихняя в дырьях вся, и без кры-ши... и полным-то-полна мукой, и мука в дырья текет, и все растаскивают. И приходит в большой сарай. А там вроде как престол, а на престоле наш царь сидит, словно в ризе, а округ головы лампадки все, и лик у него те-мный... От страху и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился,— «в дорогу, говорит, сбирайся, все пусто будет, и снаружи, и снутри». И все. Ну, она и знала. Так мы и положили — в последнюю дорогу, помирать. Стали мы с ней плакать, она и говорит:

«А может, не про последнюю дорогу намекнул? У меня старинная книга есть, про судьбу, и вон что мне вычиталось, закладочкой я заложила».

И прочитала мне: «ноги твои спасут тебя». Вон как: ноги, значит, спасут, бе-ги. И я поантересовалась, мне-то чего выходит. А у нас недалеко гадальщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные карты играли. Забрали гадальные книги в участок, пристав одну и продал Головкову. Старая-престарая, и черепа там, и гроб со свечами,— страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамоте умела, Авдотья-то Васильевна,— она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годов мне сколько,— она и отыскала про меня. И что же, барыня... выгадалось, как вылилось! А вот, значит... «пройдешь многие земли и ца-рства... и на кораблях плыть будешь, и...» — чего только не на-

сказано! И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и же-ле-зо... а Господь сохранит. А ей — ноги твои спасут тебя. И что же, барыня... и ей ведь бежать пришлось! Ну, чисто вот мы в жмурки играем по белу-свету. Встретила ведь ее. Да только и поздороваться не пришлось, будто ветром нас разнесло.

Где это мы с Катичкой ехали? Мы в Париж поехали из Костинтинополя, скрозь все земли, Катичка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал. Мы в ресторане кушали, а он в Катичку и влюбись. Пошел нас на поезд проводить, чемоданчик понес, да с нами и увязался, покуда его бумаги уж не годились, на гитаре все нам играл. Где вот Дунай-то река... с красным перцом там все готовят, паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянула я в окошечко, кваску не продают ли лимонадного, изжога с паприки этой поднялась, пить до смерти хочу... А насупротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застукали. Ма-тушки! В окошечке-то, гляжу,— Авдотья Васильевна моя! Так я и обмерла. «Ма-туш-ки-и, Авдоть-Ва..!» — И она увидала, ручками так всплеснула...— «Ма-тушки-и... Дарь Сте..!» — и нет ее, увез поезд.

Высунулись мы, друг дружке помотали...— кэ-эк меня за ворот ктой-то сзади! А это цыган венгерской, а то бы мне голову разбило, об столб об железный, шурхнуло по платочку даже. Ну, верно-то как,— желе-зо грозить будет! — выгадалось-то мне. Не прицепись к нам венгерской-то, жива бы не была, все Господь. Так и разъехались, скоро три года вот. И в черном вся, и худая-худая... уж не помер ли у ней кто? Советовали в газетах напечатать, разыскиваю, мол... а Катичка — нонче-завтра, так и не пропечатала. Да что вы, барыня! как же я вам буду благодарна, и заплатить у меня найдется. Значит, Дарья Степановна, Синицына по фамилии, я-то. А ее — Авдоть-Васильевна Головкова. На лавочку баринову, вот спасибо. Уж такая желанная, такая... сразу и разговорит...

XIX

Дала я барыне просвирки в супце, потише стала. Лежит она во цветах, барин ей все возил, и слезки у ней текут. Я и говорю:

«Барыня, ми-лая... надо бы вас исправить?..»

«Что ты городишь, как меня исправить?» — не вразумела.

«Поисповедались бы, приобщились,— говорю...— смилуется Господь».

«Опять ты свои глупости!..» — раздражительно так.

При конце уж, и тут не пожелала. Я и постращала, душу ее спасти:

«Надо бы, барыня... нехорошо я вас во сне видала».

Вот она затревожилась!..

«Как меня видала? что видала? Нет, не говори... — замахала на меня, дыхать не может,— нет, скажи... все равно... как видала?..»

«Да в подвенечном,— говорю,— наряде, вас видала, и все будто на вас просветилось, всю видать. Лучше бы вам приготовиться...» — заплакала я даже, и она заплакала, как дите, захлюпала. А Катичка на меня:

«Дура, зачем глупостями мамочку тревожишь!»

Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет, земле она словно предалась. Да что, напротив судьбы хотела: вскочила раз — давай мне одеться!

«Я здоровая, покорю болезнь... хочу жить, хочу ходить!..»

Стала ей помогать. Надела платье зеленое, новое, а оно живое на ней, ерзает, как на мертвой. В зеркало погляделась — ахнула, давай с себя рвать. Упала на ковер, и кровь из нее, да хлестом! Доктора приехали,— в Крым везите. Стали мы ее в дорогу собирать, Аполит билет ей выправил дармовой, цельную комнату в вагоне, цари ездют. Принес ей билет и говорит:

«Плохо твое дело, Глафирочка. Отдай мне запонки с короной, графские наши, дедушкины. Все тебе попало, у меня и памяти не осталось».

Стала она ему резонить — да зачем тебе, ты от благородного роду отказался, ты уж сацалист стал, зачем тебе запонки? А он ей — продам, мне для дел-укрепления. А коронные были, тяжелые, больше рубля. Ну, пристал: отдай и отдай, я вам билет схлопотал, и праздник у нас такой... Вытеребил он запонки. А тут увидал — в гостиной грамотка графова в рамочке висела: гусь стойком летит белый, и на гусе корона зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. Аполит и вцепился: последний я нашего роду, по закону мое! И она уцепилась с барином, так и не отдали. Ну, дойдет дело...

В Крым уезжать, вот на прощанье и захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль,

в подушки, и меня барин посадил — помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют, так пондравилось барыне, все-то ахала: «ах, дожили... воздух какой слободный». Приехали к Страстному, памятник-Пушкин где,— крикуны кричат, на памятник залезли. Наро-ду — не подойти. Барыня и говорит барину — «скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, оратели». Барин и влез на Пушкина. А ему кричат — вон пошел! Стал кричать, а его за ноги и стащили, рукав порвали. Барыня — ах! — в омморок с ней. Я к людям — помогите, барыня моя помирает! — а там кричат — «ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла — «домой, няня... страшно...» Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается, часы-то срезали. Больше мы и не ездили.

XX

А у барина неприятности пошли, спирту у него украли много, в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалованье получить на всех, а на Кузнецком Мосту сумку у него и отняли, под самым городовым,— новых наставили, с лентами, ноги замотаны, чистые петухи, и пользы никакой для тишины, самые дармоеды. А все чуть барина не за глотку: жалованье давай! Приехал — заплакал даже: да что же это, говорит, творится-то? Месяца не прошло — уж и житья не стало, все поползло.

Вот я плакала, как царя сместили. С Авдотьей Васильевной мы плакали. Каждый обидеть может, страху никакого не осталось. Одно утешение — в церкву сходишь. Все там по-прежнему, чистота, красота, и молитвы все старые, душевные, царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала.

Барыню в Крым везти. А она к Аксюше привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, совсем изгадилась,— воровка и воровка. И вина ему волокет, и гостинцев, из белья стало пропадать... я на писарьке баринову рубашку признала, и носовые платки у него с нашей меткой. Да охальница, слова не скажи, от писаря набралась, на голове бант красный,— ну, не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стала меня корить: «старый век, древний человек!» От писаря набралась. Стала я ее гнать, барыня велела, и она куда-то приписалась, в ихнюю в ливорюцию. И приходит к нам стриженая девка с сумкой, лихущая-разлихущая,

стала кричать на барыню — извольте ей жалованья прибавить! а?! Она ворует, а ей — прибавить!! Да сумкой на нас — «кровь пьете!» Тыщу рублей сорвала, насилу развязались.

Да что, ничего не понять. Поверенный-помощник, за пристава-то который, созвал всех дворников,— Амельян наш рассказывал. Пришел из участка, скушный: «Шабаш, сяду на лавочку, буду семечки лускать. Это что ж, теперь понарошку все! Согнал нас, за ручку поздоровался, никакого уважения. Мостовую, говорит, убирайте, гражда-не... а пачпортов не прописывайте, теперь всем полное доверие. Теперь, говорит, верного человека не узнать, все жулики гуляют». Так и сидел-скучал, подсолнушками забавлялся. Ну, пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойке, чисто в снежки играют? А они ушат макаронов вывалили и шлепают друг в дружку: надоели ваши макароны! Кто в деревню уехал, из лазарета-то, а то папиросками стали торговать, калошами. А это три вагона жулики загнали на станции в тупичок и продавали по дешевке. У нас тогда все в новых калошах защеголяли.

Ну, в Крым барыню собрали, Катичка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердую отпустил. Анна Ивановна ее звали. Душевная такая, и про святыни знала, про ду-шу знала. Папаша у ней первый ученый был, а она себя обрекла. Поплакала я, простилась. Вижу — скоро, пожалуй, места искать придется, разорение подошло, и больные оба. А мне Авдотья Васильевна советовала все в монастырь уйти,— теперь покоя не будет. За полторы тысячки келейку купить, в Хотькове, и жить на спокое да молиться. Хотела я у барыни попросить,— за ними у меня под две тыщи набралось,— да она на ладан уж дышала, так и не стала беспокоить. А она меня поцеловала-заплакала: «няничка, побереги Костика, одна у меня надежда на тебя».

XXI

Уж после Пасхи это, барыню мы отправили. У баринова приятеля дача хорошая была там, в Крыму,— он и дозволил у него жить. А барину операцию велели, а он — погожу да погожу, перемогался. И капризный стал, не по нем все. Обедать подам, чуть хлебнет,— горький суп, да чем вы меня кормите без барыни, и ножи воняют, и салфетка мышами пахнет...— и похудел, и почернел,

узнать нельзя. Взгляну на него — нежилец и нежилец, глаза уж неживые стали, туда уж смотрят. Стала ему говорить — надо докторов слушаться, на операцию-то намекнула, а он только поморщился. У зерькалов все язык глядел, а то шею пощупает, а то за плечи себя потрогает. Все, бывало: «а что, сильно я похудел?» И спрашивать-то чего, слепому видно, кости-то исхудали даже. Говорю — одни лопатки торчат. «Да,— говорит,— плохо дело». И платье на нем, чисто на вешалке. Собрался на службу — воротился.

«Нет, кончился я, няня.... дай-ка мне содовой».

Повернулся к стенке и содовую не стал пить. И скушно у нас стало, чисто вот упокойник в доме. А у нас рыбки в аквариме гуляли, любил их кормить барин. А тут и про рыбок давно забыл. Скажешь — «рыбок бы покормили, развлеклись... что вы с мыслями все сидите?» — «Какие уж мне рыбки, теперь все равно». А раз стоит у окна, глядит. Погода теплая, все гуляют, а ехали ломовые. А я окошки протирала. Вот он и говорит:

«Счастливые, ситный-то как едят!»

«Может,— говорю,— ситничка вам желается, схожу-куплю?»

«Не до ситничка мне, завтра меня резать будут».

Я даже затряслась. А он мне — «все может случиться, я тебе укажу».

Повел меня в кабинет, показал бумаги какие взять, сколько денег осталось, и письмо барыне чтобы передать, случится что. А барыня наказывала, тревожное что, к Аполиту бы я сходила, а он напишет. Пошла я к нему, а жильцы, степенные такие люди, и говорят: «хотим вас остеречь, шайка у него собирается, страшные все ходят, ограбить, может, кого хотят». И бонбу у него видали, и пистолет. А его дома нет. Пошла я, а он мне у наших ворот попался. Сказала ему, письмо бы сестрице надо, а он — «не до ваших мне пустяков». Стала его корить: из хорошего семейства, а люди вон говорят — шайку завел. А он смеется:

«Не шайку, а цельную лохань! Что, хорошая теперь жизнь? Ну, вот что, нянька... мы крепкую власть поставим, будешь благодарить. Ты,— говорит,— настоящая-пролету-щая, в трубу пролетела...— смехом все,— я тебе дом скоро подарю, только помалкивай».

Он всегда добрый был. Подумала я: может, они царя хотят поставить опять, на барина-то он серчал. Спрашиваю его, зачем пришел. Говорит — по тебе соскучился, и

письмо обещался написать. Поставила самовар, а он в столовой остался. А барин в кабинете задремали. Прихожу — Аполита нет. А он в гостиной, стоит — смеется. А на полу — грамотка, с гусем-то, в клочки изорвана. Я так и обомлела. А на стенке картоночка висит, кулак углем написан,— а он умел хорошо нарисовать, и лошадок рисовал, и цветочки,— да не простой кулак, а кукишку сует.

«Вот им, ихнее звание теперь!»

Вцепилась я в него, а барин и входит, спрашивает: что угодно? А тот на стенку и показал:

«Были гуси, а теперь без перьев!» — и ушел.

Ничего барин не сказал, только заморщился. Барыни-то знакомые?.. Нет, с болезнью уж все покончилось. Ну, цветы присылали, правда. Да приехала как-то иногородняя, красивая такая, модная. Как его увидала, так и попятилась. Посидела минутки две — ушла. Барин и говорит:

«Вот, заболел — никому и не нужен. Одна ты, няня, меня жалеешь. А меня и жалеть не за что».

«Каждого человека,— говорю,— жалеть надо».

Головой только покачал.

XXII

К Иверской я ходила, молилась все. Через неделю по телефону меня позвали в клиники. Операцию им сделали, и повеселели они маленько. Велели и им в Крым, там уж доправится. Три недели он в клиниках лежал, покуда заживало, а я собирать их стала. Забрала бариновы бумаги, в чемоданы поклала все, и свой сундук захватила: оставь — раскрадут, порядку-то не стало. От казны денег нам исхлопотали. Народу понаехало в Москву, от страху, у нас с руками квартиру оторвали, за полгода заплатили. И приезжает вдруг Анна Ивановна, ее доктора из Крыма выписали, барина провожать. И все-то уж она знает про меня, барыня рассказала. Так мы с ней подружились, родные словно. И барин так ей обрадовался, так все ей: «свита моя почетная!» А у ней все медали, и плечико у ней прострелено, с ероплана стрела попала. Усадили нас в царский вагон, бархатное все, и всем белые постели, раскидные, удобно очень. С цветами нас провожали, в лентах, очень хорошо про нас говорили, оратели, хвалили нас. И провизии нанесли,— и курочку, и икорки зернистой, и кондитерский пирог,— прямо завалили. И нам дво-

их санитаров дали, и проводник был строгой,— время-то неспокойное, солдаты с войны бегли, июль-месяц.

Поехали мы — и по-шло. Что только на станциях творилось, ад чистый. Как станция, мы уж и припирались, а то не справиться. Барин лежит, им еще ходить нельзя было, а в окошки стучат, по крыше гремят, проломить грозятся, в двери ломятся, ругань, крик. Вломились в наш вагон — «бей бонбой в дверь!» А санитар у нас умный был — крикнул: «тут главный кабинет едет!» А может, и правда, барыня,— камитет, слова-то ихние... «Камитет главный едет!» Те — ура кричать стали. «Так бы,— говорят,— и сказали, что камитет едет!» Всю дорогу и отбивал нас. А то головы в окно к нам, а мы закусывали, и портвейна бутылка была, барина подкреплять, и цыплята жареные, и икорка... они бутылку выхватили, лапами в икру, и всякими-то слова-ми..! Ну, мука была нам ехать. Уж так барин ужашался...— «С ума сошли, отблагодарили нас за слободу!» Анна Ивановна все ему: «пожалейте себя, доктор... и их пожалейте»,— добрая такая. А он — «звери, животныи...» А она ему: «не звери, я три года на войне была, они ангелы прямо были... это наш грех!» — заступалась все. Да ведь, барыня... как судить, темный народ... да вы, может, и правильно, грубияны, и жадные... так ведь высокой жизни она была, как все равно святая. Обидно, понятно, какие капиталы разорили... правильно говорите. А то раз вышла на станции, приходит и рассказывает,— человека при ней солдаты чуть не убили, помещика, она отняла — закричала: «есть на вас крест?» Они взяли ее под руки и к вагону привели, по медалям ее признали. А он котлетку ел, а солдат ему в тарелку плюнул, с того и пошло. Тарелкой по голове били. Жандара-то нет, а солдат полна станция.

Она тогда всю правду мне про баринову болезнь доверила, по секрету:

«Бедный, три месяца только ему жить осталось, скорый у него рак. Уж у него по всему месту пошло, не стали дорезать. А ему сказали — все вырезали, и показали даже, от другого взяли. Он и повеселел».

Очень жалела барина: хороший он, в Бога только не верит.

«Вы, нянюшка, может, уговорите его поговеть, он вас любит».

Мы его и приготовляли помаленьку. Попросит он почитать газетку, станет ему читать, а он расстроится, страшное там все пишут: «да что ж это творится-то!»

Она и скажет: «лучше я вам Евангелие почитаю». И начнет про Христа читать, душе-то и полегче. И питья успокоительного давала. В окошечко он глядит — радуется: «воздух какой, в лесочек бы!» Все говорил — «поправлюсь — по Волге проедусь, теперь хорошая жизнь началась». А она везде бывала, все монастыри знала, все-то города зна-ла... и как осетрину ловят, ну все-то знала... за край света заходила, где солнца не бывает! Ее папаша все леригии учил, она и верила хорошо. Так мы его и приготовляли помаленьку. Ночью, помню, лекарства он попросил, сонного. А в вагоне у нас — как днем. А это пожар горел. Кондуктор кипятку принес, говорит — мужики все именья жгут, а это спиртовой завод запалили. «Светлая, говорит, жизнь пошла, все лиминации зажигают». Барин уж попросил получше окошечко завесить.

XXIII

Приехали в Ялты. Дача — чисто дворец, цветы, дерева, невидано никогда,— корика-гвоздика, и лавровый лист,— прямо бери на кухню. Го-ры, глядеть страшно, татары там живут. А внизу море... ну, синее-рассинее, синька вот разведена, и конца нет. Потом всего я повидала, да смотреть неохота, как без причалу стали. Свое-то потеряли, на чужое чего смотреть. Будто нам испытание: теперь видите, как у Бога хорошо сотворено... и у вас было хорошо, а все вам мало, вот и жалейте.

И вправду, барыня. Турки, нехристи, а все у них есть. Я у турки жила, в Костинтинополе, за детьми ходила. И сказки им сказывала, все они разумели. Спать уложу, покрещу, они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Закон у них такой: одна главная жена, а другие под ней, покоряются. Уж они меня сладостями кормили... и розановое варенье, и пастила липучая, и семечки в меду, и винны-ягоды, чего только душенька желает. И всяк день пироги с бараниной, на сале жарили, и рис миндальный, и...— ублажали, прямо. И жалованья прибавляли, так ценили. И турочки махонькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парилась я там. Как подумала,— а Катичка-то как же, да что я, продажная какая? —и не осталась. У своих жила — и жалованье не платили, а турки вон... Это уж в искушение мне было.

Мне особо комнатку отвели, в Крыму-то, из окошечка

море видно, кораблики, а в саду и персики, и вабрикосы, и винограды, а жизнь наша черная-расчерная. Барыню я и не узнала: истаяла, исчахла, былинка и былинка. Ходить уж слаба была, все на креслах лежала, на терасах. И все цветы в вазах, вся в цветах и лежала. И Катичку я не узнала,— задумчивая такая, с книжками все сидела. Это Анна Ивановна так оказала на нее, в разум приводила. Да что я вам скажу, барыня... заплакала я от радости, молиться Катичка моя стала, и Евангелие, гляжу, у ней на столике. А все Анна Ивановна. Она ей и про Васеньку поведала, а та его зна-ет, Анна-то Ивановна.

Уж так барыня обрадовалась, барина увидала,— оба заплакали, так ручка об ручку и сидели, первые-то деньки. А больные, друг дружке и тяжелы стали. Барин первое время выходил на терасы, полежать. Тут он, а на другом краю барыня. Лежат и молчат. А я сижу и вяжу. А жарынь, кузнечики там свои, крымские, посвоему кричат, цыкают, погремушки словно в ушах,— цу-цу-цу... цу-цу-цу...— и задремишь, забудешься. Цу-цу-цу... цу-цу-цу...— вздрогнешь, а они лежат в креслах — живые упокойники. А то жить бы да жить, благодать такая.

А тут неприятность нам: небель опечатали в Москве, портной баринов опечатал. А то Аполит грозит: суд подыму, мамашины пять тыщ давайте. Хотела лисий ему салоп послать, барыня не дозволила. А уж он живой большевик, писали нам, железную дорогу себе требует,— чего захотел! И еще, грехи стали открываться: барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал, она — судиться буду! Барыня стала кричать: вот куда деньги у нас валились! Чуть говорит, и у барина боли сильней стали, качается-охает, а все старое подымают, не смиряются. Я молюсь — умири их, Господи, пошли конец скорый, непостыдный, а меня в свидетели тянут, всю я их жизнь видала. А она не знала, что барину помереть, вот и начнет:

«А, смерти моей ждешь, помру — сейчас и женишься на богачке? Ну, я тебе и в могиле не дам спокою!»

Он руками от нее, от боли кривится:

«Дай мне спокою. Гли... последние мои дни...» — а она свое:

«Не представляй, известный ты актерщик...— женишься на Подкаловой-богачке, она тебя оценит, хоть и дура она, и нос утиный!..»

Он и закричит, в голос:

«Дай мне яду лучше... Гос-поди!..»

Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет, дотянется до него, на грудь припадет и давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову — «ведь это живой ад! — скажет, не в себе.— Бога у них нет!» Про Бога им начнет, они и задремлют, утихомирятся. А то барыня с ней заспорит. И смерть на носу, а она все кипит. И неверы, а любили про чудеса послушать, про исцеления. А Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец анженера с супругой от тигры остерег,— встретите, мол, тигру... Так они подиви-лись! А как же, это уж всем известно, барыня, из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал. Старец и говорит: вот вам иконка, молитесь в пути, и не тронет. Они ничего не поняли, кто не тронет-то. Ну, поехали, а дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит анженеру: «теленок в хлебах как прыгает высоко!» Пригляделись — видят, тигра, полосатая вся, к нам прямо! И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали так вот, на тигру,— тигра допрыгала до них, поглядела, зевну-ла,— ка-ак сиганет от них... и пошла по ржам, дальше да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали: убегла тигра, троих сожрала.

О смерти-то? Думать-то думала, а не готовилась, жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться-причитать:

«Хочу жить, молодая я... Нянька до каких лет вон живет,— завидовать мне стала, а! —а я калека, не хочу... тьфу! проклинаю!.. Почему с нами чуда не случается? Вранье все, Анна Ивановна сама смерти боится...»

А барин скоро и на терасы не стал проситься, ослаб. Стал себе шпрыц впускать, пузыречек у него стоял, от боли. Анна Ивановна мне сказала,— можно бы для лучшего ухода в Москве оставить, а доктора подумали — лучше уж с барыней поживет, а сам-то он все просился, а спасти уж его нельзя. Как-то и говорит Анне Ивановне: «я все знаю, друзья меня порадовать хотели». И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил руку так, с письмом, и губы так скривил, горько. И говорит:

«Не оставляй, няня, Катичку, скоро она одна останется».

Стала ему говорить — даст Господь, еще и поживете, а он — «нет, месяца не проживу... не оставляй Катичку... и прости, няня, нас за все». Заплакала я на них. А но-

чью — я в комнатке спала рядом, а Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катички нет, на балу была для раненых,— барин застонул, слышу. Юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потереть ли им бочок мазью.

«Очень боли, няня...— говорит,— колеса во мне с ножами, все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет... страшно мне одному...»

Никогда не забуду. Ночь черная-черная, к сентябрю уж. Ветер с горы пошел, вой такой, дерева шумят, жуть прямо. Зажгла я лампу, села на кресла, к ним...

«Дай мне руку,— говорит,— легче мне так. Я сейчас сон видал... маму покойную видал, будто я в гимназию поступил, и мы с ней книжки новые пришли покупать и ранец, так было хорошо... я,— говорит,— все ранец гладил, кожей как пахнет, слышал...— так вот потянул носом, нюхает,— и сейчас слышу... давно-о было... и так мне радостно было, няня. А боль и разбудила, все и открылось.— Руку мне пожал ласково, и шепчет, про себя будто: — ах, мама моя... ах, жизнь моя... все, Дарьюшка, прошло».

Я не поняла и говорю им: «и слава Богу, заснете, может».

«Нет, не боль, а... все прошло, жизнь прошла, яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетело».

Стала я его утешать: «не гневите Бога, жили, барин, хорошо, нужды не знали, и Катичка у вас, сколько вам Господь всего дал. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости». Он поморщился, усы так поднялись,— бороду уж ему обстригли, и не брился давно,— страшный был, лицо с кулачок стало, узнать нельзя.

«Мне милости не будет,— говорит,— это ты, Дарьюшка, счастливая, у тебя Бог есть, а у меня ничего, я и молиться разучился... я-ма у меня тут,— на грудь показал,— дай мне шприц, ножи режут...»

Впустил себе яду сонного. Стал просить — расскажи чего, я и засну. А я все слова забыла. Стала «Богородицу» говорить, он и заснул. Только уснул — слышу — «ай-ай-ай!..» — барыня кричит. Вскочила, побегла, а она, в халатике в белом, чисто смерть; на ковре сидит, а круг ее все письма расшвыряны, розовые, голубые... и в кулачке зажаты. Увидала меня, охнула,— и ткнулась головой в письма. Я ее подымать, а она, глаза — как у сумасшедчей...

«Вот какой, обманывал со шлюхами... и с каретницей жил...» — это вот, чья дача-то, докторова, у него супруга

из богатой семьи, каретами торговали,— «с каретницей путался, к любовнице умирать послал... тьфу!..»

И давай по полу биться. Я ее уговариваю — в постелю вам надо... Вырвалась от меня, сгребла письма в охапку, побежала...— «я ему, прямо, в...» — кричит. Перехватила ее, она меня в грудь, исказилась вся. Я ей — «барыня, милая... ночь на дворе, барин только уснули, измучились...» Рвется от меня, бьется...— «Лгун, в гроб вогнал... Катичку по-миру пустил...» И повалилась сразу, заслабела. А изо рту кровь, хлестом! — весь халатик ее, и на меня, и на шее у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бежать. Побежала садовника будить, бегу к двери,— Катичка мне навстречу, с балу, в белом во всем, розаны на груди, и за ней двое молодчиков, офицера, в повязочках. Она мне — «чего у вас огня нет?» Увидала, страшная я какая,— а я растерзанная, и кровь на юбке...— крикнула: «что случилось? мамочка, папочка..?» Я ей, с перепугу-то,— «мамочка помирает!..» Она зашаталась, в омморок. Те ее подхватили. Я им — «за доктором скорей!» До утра с барыней возились, подушки давали с воздухом,— через день померла, отмаялась, крови из нее выхлестало много.

XXIV

А ведь это мой грех, неграмотная я. Барин какие бумаги указали забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаги и попали. И забыл, не до того уж им было. Барыня ночью плохо спала, вот и дорылась. Как ее выносить, барин попросил на креслах его к ней подвинуть. Подняли его под руки, посмотрел на Глирочку свою, губами задрожал,— «вот и все»,— только и продыхнул. Воротились мы с кладбища, Катичка вошла в мамочкину спальню, упала на постелю головкой и отплакалась тут, одна. Да тихо, барин чтобы не слыхал. Он после того три недели еще пожил, ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катичку. И говорит:

«Одна у тебя няня остается...»

Без слез и говорить, барыня, не могу. Взял за ручку, через силу уж говорил:

«Она у тебя самая родная, ты ее почитай... она тебя не покинет, я ее просил. А ты прости, ничего у нас нет, все промотали...» — и заплакал.

Катичка ему руки целовать...— «папочка, милый...» — а он опять:

«Няню не забывай, она правильней нас, всех жалела...»

Ну, недостойна я, барыня, такого. Вот Катичка меня и не бросает. А Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался-причастился и Катичку бы благословил, по закону. Понятно, грехи-то свои он все выболел, а надо покаяться. Намекала ему, а он ей сказал — надо в Бога верить, а то обман выходит. И я ему намекала, барыня. Он в тихой час чего же мне сказал!

«Что делать, куда Глирочка, туда и я».

Вот как хотите, так и думайте. Может, и вправду не хотелось ему от Глирочки своей отбиваться, тоже думал — плохо ей на том свете будет. Так и не исправился, отошел. А только вот что случилось.

За два дня было до кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал,— только ему шприц впустили. Читала она, а я все плакала,— про Христово Воскресение читала. Барин и очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розаны все. Он вдрух и говорит, сла-бо так:

«Сколько свечей... хорошо как, Пасха... священники пели...»

Так мы и обмерли. Катичка склонилась к нему, а он шепчет:

«Они нас крестом крестили... «Христос Воскресе» пели. А где же они, ушли?..»

И на обои смотрит, на розаны. А на них солнышко, уж те-мное пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катичке, Катичка и сказала, слезки проглотила:

«Да, папочка, ушли. Они нас благословили, вот так...»

И стала его крестить. Слезы у ней, и все она его крестит.

«И ты меня благослови, папочка... перекрести меня».

И встала на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, Николы-Угодника, и подала Катичке. Катичка в руку ему вложила и головкой к нему припала.

«Благослови меня, папочка».

А он все на розаны глядит. И будто чего вспомнил! Повел глазами, чего-то словно ищет, рот перекосил, горько так, вот заплачет. Положил иконку ей на головку — и задремал. Долго Катичка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих, и боли кончились,— доктор все ему впрыскивал, а он все спал. А лицом черный стал, и тело чернеть все стало,— черный рак. Утром вошла я, а он холодный, ночью отошел.

XXV

Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные — все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можем. Косматый один добивался все — не надо отпевать, отменено, сжечь надо! — Анна Ивановна его прогнала. А батюшка какую проповедь сказал, очень сочувственную,— дескать, упокойник слободы все хотел-пекся, вот и получил теперь полную слободу, самую главную... и дай Бог, говорит, и всем такую слободу. И кутьей помянули, и блинков я спекла, доктора кушали-хвалили. А косматого Анна Ивановна не пустила помянуть: «вы, говорит, упокойников жгете, вам и поминать нечего». Обиделся, блинков не пришлось поесть, шантрапа.

И наши хозяева приехали, доктор с каретницей. Уж пожилой, а она в полном соку, такая-то бой-баба,— сумашедчих они лечили. Знаете ее, и здоровый-то от нее с ума сойдет, а доктор, вроде как напуженый, что ли, чисто кисель трясучий, так все: «уж это я не знаю, как Треночка»,— Матреной ее звали. На роялях сразу начала, после поминок-то. Анна Ивановна уж устыдила. Спасибо, скоро уехали, дозволили нам пожить. Стали и мы в Москву собираться, а у Катички этот вот сделался, вырезают теперь все... вот-вот, а-пен-децет. Операцию ей сделали. Только выходилась, графиня приехала, неприятность-то у ней с Катичкой была. Лечиться будто приехала, от ревматизма, грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела. Ну, привела к нам, Катичка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная... ну, они и поцеловались. Погодите, что будет-то... роман и роман страшный, так все и говорили. Не знали мы-то... Она постарше была, а тоже красавица, только болондиночка, глаза синие, а лик стро-гой, как на иконах пишут. А по фамилии Галочкина. А и то, пожалуй, спутала... Га-лицкая. И разочаровала-ла она нас! У-мная, умней нет. И сядет и взглянет,— и что ж это такое, сразу видать, какого воспитания, гра-фского. С недельку повертелась — нет ее, укатила на войну. Потом уж мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тут ли он. А Анна-то Ивановна нам сказала: «батюшки, да я Василька хорошо знаю!» Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила. А тут и Анна Ивановна уехала. А страшное стало время, большевики бариново правление

согнали уж, стали офицеров убивать, всех грабить.

Пришли к нам с ружьями, с пулями,— вот зарежут, самые-то отъявленные. Один матрос был, живой каторжник, золотая браслетка на кулаке, сорвал с какой-то. Диван проткнули, из озорства, бутылку вина забрали и баринов биноколь, да сапоги матрос взял. Мы, говорит, еще придем, примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями, на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю — к мировому подадим, а они меня насмех: «а завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим!» Так я и похолодела. А Катичка закусила губку да как то-пнет! Мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит: «а пол-то не проломить, ножка махонькая!» Они бы нас, может, и растормошили, а тут садовник наш за себя все принял: «я,— говорит,— утрудящий, все вам уберегу». Они ему и подписали, для сохранности: скоро опять придем. А он был и большевик, и небольшевик, а жена у него глу-пая была, все нас ругала: «конец вам пришел, буржу-и!» А в церкву ходила, дура. А Яков Матвеич, садовник-то, гвардейский раньше солдат был, рослый, красивый, с проседью уж. И у них штаны были из белой кожи... как, говорит, в парад надевать, мочили их, и нипочем не надеть. Намочут, говорит, штаны, двое их держут, а он лезет на табурет и прямо — прыг в штаны сверху! — они его и поддернут, так он в штаны-то и влепится. И жа-дный был, Богу все молился, большевики бы пришли. А у них дочка, прислуживала нам, Агашка, такая-то хитрущая была, все через жениха-телеграфиста знала, секреты все. А он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху, с балконом, засвоевольничали. И садовник стал говорить — дача по закону теперь его. «Но я не гоню вас, не опасайтесь, а будете мне, вот меня утвердят, сколько-нибудь платить». Видим — никакого закона нет, и мирового нет. А тут нам из Москвы бес письмо прислал — теятры ставим, обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. И я, правду сказать, рвалась: в Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни... и мировой, может, есть. Стала я укладочку собирать. Имущества у меня было, добришка всякого: шуба беличья была, салоп лисий, тальма эта вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куска... К марту месяцу было. А тут татары войну и подняли.

Ночью как пошли ре-зать, кто под руку попадется. У них и начальство объявилось, татарово. И стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали,— татары сразу нас и покорили. Матросы прикатили с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали, в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров, все православные обрадовались,— не дают нас в обиду. Только отвоевали, не успели мы оглядеться, говорят,— каки-то зеленые на горах сидят, грабят. Ну, стали мы дожидаться, дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру, в апрель-месяце было, все зацвело, радоваться бы только, а нам Яков Матвеич и говорит: «поздравляю вас и нас, немцы нас ночью завоевали, пойдемте скорей глядеть». Гляжу — Агашка уж с дачи выбралась. Я еще ее спросила — «чего ж от чужого добра отказываешься?» А она глу-пая,— «немцы шутить не станут, мне муж велел». Пошли мы немцев глядеть. Невидано никогда, какая сила, и откуда только взялись. Все головы железные, и пеши, и верхом, и пушки, и ероплан шел, ни крику, ни...— только все звяк-звяк, все железом гремело. Так все и говорили: «теперь уж порядок бу-дет». Ихний генерал так и велел сказать: «теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом». Яков Матвеич даже сказал: «вот это-дак покорители, настоящая войско, как царская у нас гвардия была».

Пойдешь в город — гулянье и гулянье: музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и... Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает раз Катичка, кричит — в теятры поступила, будут деньги. А Яков Матвеич стращает все: немцы весь Крым повывезли, скоро голод у нас начнется. Стала я припасать, материю продала татарке, мучки позапасла, маслица постного. А были слухи — не миновать немцам уходить, еще какие-то подымаются, вроде казаки. Тут карасинщик к Катичке и посватался.

XXVI

Фамилию-то забыла, барыня. Не Махтуров, а... вроде как заграничная. Приезжает как-то она на автомобиле, и барин с ней, весь в белом, а сам черный, сразу видать — буржуй из хорошего дома. Пять минут посидел — уехал.

Спрашивает Катичка — «все ухаживает за мной, ндравится тебе»? Будто ничего, глядеться. Говорит — милиенщик, карасин продает. А нам, конечно, мужчину в дом нужно, на что лучше такой могущественный. Только его Курапетом звать, имя какое-то такое... И зачастил к нам, освоился. То фруктов привезет, то мороженого принесут из ресторана,— стараться стал. Ну, стал добиваться, замуж за него шла бы. А она — погодите да погодите, папа с мамой недавно померли. Раз прикатил, всходит на терасы. Что-то он, вижу, не в себе. Солидный, годам к сорока, а бегает из угла в угол. Не большевики ли, думаю, пришли? — что-то беспокойный. Вышла Катичка. Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделывал. Я уж и за Яков Матвеичем бежать хотела. А это он... запылал! Как брякнется, она от него. Он за ней на коленках, все брюки изъерзал, белые, взмок весь, зубами ляскает...— «не могу без тебя жить!» — на-ты ей стал. Потом выхватил пистолет,— «и тебя, и себя убью, не могу!» Она как завизжит — «бросьте пистолет!» — он и запустил в кусты. Ручку дала поцеловать,— «будьте умный и ждите». Шелковый стал, так им и вертела, как хотела. Раз ночью и говорит мне:

«Хоть ты и глупая, а папочка велел слушаться тебя... разве пойти за Курапета?»

Сказала — обдумай, нет ли кого по сердцу. Вот она рассердилась! А на другой день, примчалась на фаетоне, бежит по саду, зонтик в кусты, взбежала на терасы, сама не своя. Села в кресла, в себя глядится. Что такое?

«Попить дай, жарко. А знаешь, я Никандру Михайловича встретила, познакомили нас... Васенькина отца!»

Вон что. Приехал тоже. И цельный у него тут дворец. Карасинщик их познакомил. Вскорости приезжает с Курапетом, кричит — «нянь, сливошное мое давай!» А это любимое у ней платье было, муслиновое. И складненькая она, а в сливошном — как канфетка, залюбуешься. Переоделась, розаны приколола, выбежала к нему... широкая шляпка у ней была, белая вся,— он так и вострепетал. А она мне — «прощай, нянюк, увозит меня Курапет Давыдыч!» И укатили. А я, правда, перепугалась: ну-ка, обвенчается без меня. Вечером прикатила, говорит — у Никандры Михайлыча была, и какой у него дворец...— «может, говорит, за невесту Курапета меня считает, с ним пригласил». С того дня совсем моя Катичка повеселела, карасинщик сыматься ее устроил на картинки,— вот-вот, снима эти. По горам ее возили, и в лодочке сы-

мали, будто она на море тонула, а за это ей денежки давали, мно-го. Очень старался карасинщик. Как-то из города прикатила, кричит:

«Скоро наши Москву возьмут, письмо получил Никандра Михайлыч!»

А карасинщику опять его карасин наши добровольцы у большевиков отбили, и он богаче прежнего стал, много карасину продал немцам, не то французам. И купил себе дачу новую. И приезжает. «Я,— говорит,— маленький подарок вам привез». И вынимает синюю бумагу. Что такое? А это казенная бумага, дачу ей подарил! Она — никак, не могу. А он ей — «а вот я помер, а вам и подают эту бумагу... а почему от живого не хотите?» Она — ни за что. Он и молит: «что я могу сделать для вас приятное?» Она так задумалась...— «вы молодой, а не воюетесь за Россию... сделайте для меня подвиг». Он так и законфузился. А она вытянулась на креслах, улыбается. «У меня,— говорит, Курапет-то,— сердце не в порядке». А она свое: «ну, тогда маленький подвиг, отдайте вашу дачу на лазарет... наши скоро сюда придут». Уехал, ни слова не сказал. Недели через две повез Катичку на дачу, а там уж лазарет. Приезжает она домой, кри́чит: «нянь, он добрый, он все для меня сделал! Я его в лобик поцеловала!» Вечером приезжает карасинщик, она ему на роялях поиграла. Стал прощаться: «еду,— говорит,— завтра в Кеев, чего вам привезть?» Она ему и сказала: «кеевского варенья и самого себя». Как он воскричит: «я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, воздохнул и уехал. И не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали, сколько-то в поезде убили, и карасинщика нашего. А через месяц бумага нам, от нотариса,— дача та Катичке осталась. Так она и осталась там — и наша, и не наша.

XXVII

А к зиме немцы сразу и ушли в ночь, никто и не видал. А жить уж нам трудно стало. Катичка где сымалась,— дело прикончилось, карасинщика-то не стало. А тут заграничные и понаехали, на кораблях, большевиков будто выгонять. Народу набилось в Крым...— кто от большевиков укрылся, а кого и так занесло. У многих дачи какие были, и рояли, и бралиянты, золото-серебро,— заграничные вот и навалились, ску-пать. Такой-то базар пошел... а барыня-то, заграничных-то как хвалила!..

Соседка наша, муж у ней воевал, и четверо детей с ней, мужнины часы, царские, англичанину продала, с голоду. За две ихних белых бумажки вырвал, а часы с музыкой, тыщи рублей дать мало. И Катичку тоже обманули. Колечко у ней было, змейка. Головка у змеи из изумруда была, а спинка серого золота... от французской царицы то колечко, кресна ее от дедушки получила, высокой посол был. Этому колечку цены не было, старик один говорил, записано в книгу было. «Вам,— говорил,— французы милиен дадут!» Как налетели скупать, и старик тот прибежал, граф итальянский прогорелый. Привел морского, говорит — «скорей продавайте, цену пока дают... я прошибся, фальшивая змея ваша, у той головка была другая, глядите мою книгу». Тот и дал нам белую бумажку, сто рублей, по-нашему сказать. А потом узнали — морской старику много денег отвалил. Так и ограбили. А вот, видели ведь мы то колечко! В Париже здесь Катичка в окне признала, у старьевщика. Зашла, чего-чего не наставлено! И иконы наши, и царские врата, краденые, и кресты крестильные, всего-всего...— перышки-то наши как разлетелись, по всему белу-свету. А мы в Америку собирались, денег нам надавали дилехтора. Она тогда сколько денег мне попередавала,— купи то, шелковое платье купи, стыдно с тобой. А я все сберегла, у меня цельный пакет заграничных денег, кошелечек кожаный на груди,— на черный день все ей будет. Ну, признала свою змею, спрашивает старьевщика: «и где вы ее достали?» А тот — «этого не могу сказать». Понятно, про краденое не скажут. Почем? Он и заломил: с кого милиен, а с вас половинку. Так вот и грабили, на корабли волокли. Весь Крым и вытряхнули, за грош без денежки. По дачам рыщут, кто несет, кто везет, кто ковер волочет, кто шубу... и рояли, и небель всякую...— так все и говорили: «саранча-то налетела, и дачи скоро поволокут, гор только не стащить». Наши знакомые говорили: «они нас за людоедов считают, они все так людоедов обирают, по всему свету». Каждый день пароходы отходили, полным-полнехоньки.

Иду по набережной, а на мне хорошая шаль была, ренбурская, несу лисью буу продать, а меня заграничный матрос за буу остановил, а другой за шаль тянет, насилу от них отбилась. Принесла Катичке буу, говорю — плохая лисичка, что ли... самые пустяки дают. Она и говорит: «сегодня к нам чай пить приедут англичаны, купят мою буу!» А я еще ей сказала — дак как же так, в гости

назвались — и торговать? Она и заулыбалась,— чего-то, чую, надумала. Вечером, знакомые к нам, а тут и трое морских на фаетоне прикатили, щеголи, в золотых тесемках, кровь с молоком. Стали пить чай с вареньем. а у нас большие партреты Катичкины стояли, даже с царской короной был, карасинщик все нам заказывал,— они и любовались, даже графиней величали. Вот она и говорит:

«Хочу бедным деткам помочь, рояль отдать в хорошие руки, в Париж еду... недорого возьму».

И пошла на роялях поиграть. И им поиграть велела. Ну, один тоже поиграл-пошумел. А рояль большие тыщи стоила, каретничихи.

«За пятьдесят рублей отдам, и эту буу в придачу, от нас память».

Они враз и выхватили бумажники. Она ручками как всплеснет!.. Я еще подивилась, чего это бумажники все суют. А она изгибается — смеется, гости все вспоминали:

«Какие вы сочувственные... а как же я рояль на троих?..— Схватила лисичку, кричит: — нянь, ножницы! Лисичку еще могу изрезать...— вырвала у меня ножницы, и раз-раз — на три хвоста буу! — А рояль-то как? Нешто по ножке каждому? а то — кто больше даст? или — жеребий кинуть?..»

И за деток благодарит, уж так хорошо представила, слезки на глазках даже: «а рояль-то как же? не могу я вам рояль...» — и ножницами все так, стрыгет словно. Они законфузились, бумажники убрали, а она им по кусочку лисички: «ну, хоть это вам от меня на память... как вы деткам помочь хотели, на грудь пришпилю». Они и не понимают, смеется или взаправду. Всем по хвостику и пришпилила, а они ей ручку поцеловали. И все у ней губка прыгает. Как бы, думаю, с ней плохо не было,— затопает и начнет рыдать, шибко когда расстроится. И давай рассказывать, как старушка пошла сегодня на набережную, а ее два дурака-матроса тоже купить хотели, вместе с платком и с этой вот лисичкой, насилу от них отбилась. И опять — нянь! Вытащали и давай вертеть. Со стыда я сгорела, чего это она меня на показ показывает, чисто вот цыган лошадь продает. Кричит им:

«Самая эта старушка, две копейки с платком за нее давали!»

Тут они поднялись все разом. А она вдогон им: «пожалуйста, не забывайте!» Больше уж они и не заявлялись. Да скоро и все корабли уплыли. Я уж чуяла —

плохо будет, садовник завеселел, большевики подходят. Ему телеграфист-зять все по секрету сказывал.

К Благовещенью было, груши уж зацвели. Ти-хо так, хорошо по вечерам, тепло, все окна у нас открыты. Сижу я на терасах, слушаю, как скворцы на груше у нас свистят. А Яков Матвеич, как из-под земли вырос, и шепчет мне:

«Дарь-Степановна, в Крым вошли... завтра и у нас будут!»

Так у меня сердце и упало, бел-свет закрылся.

XXVIII

Стали мы мучку прятать. Садовник и то струхнул. А он жадный, вот он с мукой носился! в наши постели хотел насыпать, все уговаривал: «мы вами не брезговаем, простынькой накроем, и спите на нашей муке спокойно, у вас тело чистое, не пахнет». И смех, и грех. В винную бочку ссыпал и закопал, мука вся и провоняла. Ну, пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись, взад не вошли бы добровольцы. Ждем, в город идти боимся, телеграфист все стращал — заарестуют. И привел к нам начальника на постой — дача у нас хорошая, все море видать. А сам с Агашкой опять наверх перебрался, на балконах сидеть. Ну, пришел начальник, ничего, годов двадцати пяти. Увидал Катичку и говорит:

«Я люблю образованных барышень, я сам образованный, учитель был».

Две комнаты забрал, с терасами, в бинок все глядел на море,— корабли, боялся, не подплывут ли. А и видом-то не видать: как все ограбили, и горюшка им мало. Обыски пошли, а к нам и не заявляются. Телеграфист все хвастал: я вас так защищаю! А Агашка все платье себе выпрашивала. Ну, дали ей, и шляпку старую,— только защищайте. А постоялец то сала нам кусок, то сахарку даст. Все себя выставлял: я образованный, уважаю барышнев. А Катичка его насмех: по-аглиски скажет, а он не понимает, и в музыку не умеет, и... ничего не умеет. Вбегает раз Катичка ко мне, губка у ней дрожит: «нянь-нянь, нахал подлость мне сказал, из комнаты не уходит!» Пошла я, а он сидит, ногти грызет. Стала ему выговаривать, а Катичка как топнет,— «вон ступайте!» Он и говорит: «я человек образованный, а то бы вас надо наказать... я хочу на вас пожениться, а не изнасиловать вас!» И пошел, серди-тый. Что нам делать? Рань-

ше бы гордового кликнул, или к мировому бы подал, а тут сами они суды судят. И телеграфист намекать стал,— вот бы барышня завертела товарища Якубенку, почет бы ей был! И садовничиха-дура все мне: «уговори барышню с ним пожить, он тогда всех нас в люди выведет, и ей дачу какую выберет, а эту мы за себя бы записали». Плюнула ей в глаза, а Якубенка проходу не дает: то ветчины, то рису,— чего только разыщет. Садовничиха и скажи: «с карасинщиком пожила — и дачу какую заслужила, а бедных гнушаетесь... сколько бы всем добра-то сделала!» Уж я и отпе-ла ей: слово одно сказала — на голову им и вышло, согрешила я, грешница: «ох, говорю, смотри... уж покарает вас Господь за жадность вашу!» И что бы вы думали, барыня! Поехал садовник за Кострому, землю записать за себя в деревне. Я еще отговаривала, а он жадный,— поеду и поеду, скоро обернусь. Так без мужчины и остались. Утром уехал, а к вечеру его назад привезли, на горе ему ногу прострелили. Покуда подобрали, он на земле все валялся, в грязи. Через два дни помер. Натянулся, как на струне, и всего его скрючило, кости даже трещали, жилы все лопались, так ломало, тугой и помер, от грязи заразился. Зарился — земли бы побольше, от земли и помер.

Только схоронили, Якубенка опять — выходите замуж за меня. Она и скажи:

«Я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мне надо посоветоваться. Есть у меня в Москве дядя...» — и такого человека назвала, не помню уж,— как вскочит Якубенка! — важного ихнего назвала, надоумил ее Господь,— «поеду-посоветуюсь, бумагу мне изготовьте».

Он нам сразу выдал, перепугался. А она больной притворилась, не может ехать. И приходит к нам матрос и еще один, вредный, рыло страшенное. Поглядели-пошарили — пистолет и нашли, карасинщик какой забросил. Вредный и говорит: «я вас зарестую, к вам офицера ходили, враг вы наш». Катичка накричала на него, матрос даже похвалил: «разговорчивая барышня, таких нам надо». А вредный безобразить стал: «может, офицера по другому делу к вам ходили?» Она как топнет — «не сметь меня оскорблять!» А тот — «а, храбрая вы птица, таких в клетку надо сажать!» Она ему — «попробуйте!» А тут и входит Якубенка, прогнал тех: «я,— говорит,— вас в обиду не дам». А это он нарочно тех подослал, власть свою чтобы доказать. А она смекнула,— давайте перо-бумагу, телеграмму дяденьке пошлю, как меня тут

обижают! Он, было, замялся, а она — «нет, я уж лучше сама поеду, вот поправлюсь». И стал он у ней по ниточке ходить. И про карасинщика ему все известно. Говорит раз: «я трудовой, за любовь дачами не могу платить, а чего добуду — всегда принесу». Ну, что с дурака-то взять! Приносит ей часики золотые, на руку. Она ему — «где достали, добы-ли?» — «На войне,— говорит,— отвоевал». Она его даже пожалела: «какой,— говорит,— вы добрый». Совести-то они не знают... Вон матрос с вредным приходил,— он на Пасху, видала я, свечки у заутрени ставил! — так он, глупый...— я ему говорю — «берите и меня с барышней, одну ее не отпущу, совести коль у вас нет...» — а он — «эх, мамаша мне тоже про совесть все лямкала — надоела! со-весть... из этого товару сапог не справишь, а дала бы мне лучше кожи на подметки!» Так и жили, как на огне. Я с Катичкой в одной комнате спала, припиралась. А Якубенка все по ночам кричал, дверь свою даже прострелил. А это его черти мучили. А дни пустые такие, только и думушки, да когда же перемен будет! А Якубенка проходу не дает: встанет перед Катичкой и скажет: «для вас весь свет переверну — не пожалею, любого могу убить!» И глаза страшные, му-утные, чисто у бешеной собаки. Только и молилась: Господи, пронеси!..

Праздник они затеяли, и стал он к Катичке приставать:

«Вы знаменитая артистка, езжайте на коляске, красную шапочку наденьте, и пику в руку возьмите, у вас лицо выдающее!»

Она не согласилась. Якубенка и говорит: «гнушаетесь нами, хоть на праздник поглядеть придите». Пошли с ней. Ребятишек с флагами прогнали, а потом рыбаки сети волокли, а за ними лодка на колесах, а там садовники с мотыгами, бутылку бумажную несли, ни к чему, а после коляска ехала, а на ней такая-то оторва-девка в красном колпаке; пикой все на народ пыряла, актерка одна, гулящая. Она потом, добровольцы пришли, в кокошнике ехала, в сарафане, Россию представляла. Глядим, а к нам и подскочил турка, в красной шапочке, с кисточкой. Без рубахи, грудь красная, мохнатая, парусиновые штаны болтаются, на ногах дощечки. Коверкается, чисто обезьяна страшная, орет: «Катерина Костинтиновна, вы ли это?!» Так я и обомлела: самый он! Да энтот, бес-то обсосаный, бил-то его покойный барин. Большевик и большевик расхлестанный. Ломается, чисто

пьяный: «приехал дворец выбрать, артистам отдыхать, теперь уж не пущу вас, в Москву увезу!» Катичка еще его спросила, чего он такой грязный, раздерганный. А он, чисто мастеровой, мелет — мы все рабочие теперь, товарищи, полная слобода... Катичку потащил, штаны подергивает, ноги задирает, похабничает, стыд глядеть. И повадился к нам, до зари сидит и все любезничает: «сама судьба нас связала, небесная вы красота!» А Катичка сурьезная такая — подивилась я на нее, какая стала: «как вы постарели, плешивый стали, и ногти грязные...» И раньше-то неказист был, а теперь и совсем стал дохлый. А она уж всего повидала, уж не девчонка,— уважения-то к нему и нет. Пристал — в гости чтобы к нему, на дачу такую-то. А она и говорит: «это же дача генерала Коврова, как же вы в чужую дачу влезли?» А тот гогочет: «это, говорит, была генералова, а теперь — моя стала, мы все ломаем!» Стыд потерял. Вихлялся-вихлялся, как она крикнет: «вы с ума сошли!» Я и вышла к ним со щеткой, пол подметала. Она мне — «он меня обнимать вздумал!» Я ему и сказала: «барина нет, а то бы он вас перчаткой выгнал!» — смелости набралась. И она словами закидала. А тут и приходит Якубенка: «что вы так расшумелись?» А Катичка ему — «садитесь, милый Якубенка»,— он так и растаял. А она бесу: «Якубенка приличней вас, он голову свою подставлял, а вы только примазываетесь»,— истинный Бог! — «Завтра добровольцы придут, вы и перед ними будете плясать». Бес губы все кривил, и говорит: «о, какая вы стали, теперь вы уж настоящая... же-нщина!» — и на Якубенку подмигивает, бесстыжий. Катичка так и вспыхнула, огонь-порох! — «Слышите, Якубенка, он в чужую дачу залез и меня в гости зовет еще». А тот — «нам наплевать, только бы нам служили».

А Якубенка что-то сурьезный стал, с утра на море в трубу смотрит, трубу принес, и уж в городе ночевать стал. И говорит Катичке: «готовьтесь, через два дни уходим, только никому не сказывайте, хочу вас поудобней в Москву к дяденьке отправить, дам вам знать». Вот мы обрадовались! А садовничиха все пальцы лизала, с перелугу. Гляжу, зять прибежал, Агашка давай сверху опять перебираться. Я еще ей сказала: «чего опять спускаешься, ай жарко?» А она мне: «проклятущие кадеты одолевают, боюсь — разделка будет». Смотрим — солдат ихний со звездой записку принес, подводу Якубенка вечером пригонит. Катичка — сбирайся, няня, скорей! В овраг, куста-

ми мы на виноградники, прибежали к знакомому татарину, кислое молоко нам носил. Он нас и повел, в самую-то глушь глухую, за овраги, в сараюшку, кругом ни души, табак там резали-сушили, два старика. Утром пришел, сказал — ушли лихие люди, казаки уж проскакали. Пришли на дачу, садовничиха нам — «чуть меня,— говорит,— Якубенка не застрелил, сам прискакал за вами, да поздно только». Стала просить — уж не серчайте на нас, не погубите. Побежали мы в город, а там уж молодчики наши, и пароходик дымит, и все на нем грязные, офицера все, матросов нет. А публика им ура кричит, намучились за два месяца. И лавочки пооткрывались, откуда взялось, а то и не было ничего. В церкви благовестят, на Пасхе словно, весело так... Катичка моя у мальчишки цветов купила, кинулась к офицерику, рука в повязке, а фуражка заломлена, отдала букетик. Он ей ручку поцеловал — заплакал. И мы заплакали. А с проулка кричат: «до смерти убился!» А это, узнали потом, садовничихи зять, из окошка выкинулся, с винной горячки, допился, а то со страху. И получил свой конец, как пес.

XXIX

Приходим домой, а в саду на ступеньке бес сидит с чемоданчиком, на себя непохож. Стал проситься — дозвольте пожить, боюсь, за большевика примут, а то я рад, из ихнего ада вырвался. Пожалела Катичка, дозволила. Залез он наверх, три-дни не выходил. Уж турецкую шапку свою запрятал, сразу приличный стал и все на диване книжку читал. Не слышно его совсем. Катичка с утра в городе, а тот все дома. Скажу ему — все-таки человек: «может, поесть хотите, макаронов хоть сварю вам?» Поморгает-пошепчет — «сварите, будьте великодушны», наскоро поглотает, как собака, и опять в комнатку забьется. Опасался — ну, дознаются про него. И ночью не спал, у окошечка слушал, приметила я за ним. И дождался. Дня три прошло, приходят двое офицеров с пистолетами, и еще татарин с ружьем, и длинный у него нож за поясом. А это, сказывала садовничиха, Осман-татарин, у него брата большевики убили. Вот он и водил по дачам, где большевики стояли. А Катички дома не было. Ну, спрашивают меня, Якубенка у вас стоял? Стоял, насилу Господь избавил. Говорю еще, нас все уважают, и генерал Ковров нас знает, а татарин нож теребит, не дает сказать, кричит: «к тебе человек приходил, турка одет,

где он, собака?» А тот и выскочил, ура закричал! И давай всем руки трясти, и татарину, и благодарит, слезы даже. «Спасители наши, победа у нас!..» — и пошел плести, откуда что набирает. И такой-то он, и все его знают... а они его и не знают. Велели показать пачпорт, а у него нет, правильного-то. А татарин ножом на него: «самый вредный, турка ходил, дачи грабил!» Тот перепугался, губами задрожал, креститься стал,— «я православный, не турка, большевики меня силой заставили представлять»,— совсем заврался. Офицера и говорят: идем, там разберем. Он в сле-зы... стал им чего-то про теятры, розовую бумагу выхватил, на стены-то наклеивают. А они — идем, татарин его в спину кулаком. А тут Катичка, к ней он: «спасите меня, скажите слово!» А она губки поджала, ни слова! Татарин ему — «а, не знает тебя барышня, вредный ты!» Он опять: «одно ваше слово... артист я знаменитый...» Ну, покрыла его, покривила душой,— приехал, мол, от большевиков уйти, артист знаменитый. А татарин и слушать не желает, до беса добирается: «и старушка хороший, и барышня, лазарет устроила, а этот самый вредный, дачи отымал!»

А тот серый стал, мышь-мышью, дрожьми-дрожит. Пожалела его Катичка: «поручусь за него, его и генерал Ковров знает». Татарин даже плюнул, сказал: «правды нет!» Чаем их угостили, и винца по стаканчику они выпили, устамши были. И бес маленько поотошел, шутки стал шутить-веселить, татарин даже смеялся. Обошел и обошел, как змей. Уж рад был, все Катичке руки целовал. И в город уж стал спускаться. А после знакомые и сказали, проспал бес и опоздал уехать. А может, и нарочно задержался, победы наши пошли, он к нам и перекинулся.

Недели не прошло, генерал Ковров из Костинтинополя приехал, Катичка его видала. Веселая прибежала, говорит,— в Костинтинополе на картинках ее видал... вот-вот, в снимах,— вон уж куда она попала! А это карасинщик ее снимал-устраивал. И победы у нас пошли, все телеграммы наклеивали, по три победы за день наклеивали. И наро-ду наехало, рестораны открылись, лавочки, вещами пробавлялись, жить-то надо, а денег нет. Харьков взяли,— стали говорить, скоро Москву возьмем, тогда все добро воротится. Уж так жировали... кто мылом заторговал, кто подметки скупает, артист один знакомый овсом торговать пустился, большой капитал нажил, на бралианты выменивал, способный оказался. А богачи крупные де-

ла делали, на кораблях все возили. Наторгуют капитал — и в заграницу уедут, на спокой. Пришел, помню, офицерик к нам, вот богачей ругал! «Они,— говорит,— за нашими спинами карманы набивали, а у нас ни сапог, ни бельишка, яичко купить да фунт хлеба, только и жалованья нашего хватает». Мальчишка совсем, родителей растерял, грудь прострелена. Столько он говорил, кулаком стучал, плакал:

«Всю бы эту...— выругался,— всех бы богачей заспинных расстрелять, а деньги на армию, давно бы одолели большевиков! Мы в Ростове раздемши были, а они грош нам дали! ушли мы — все большевикам досталось. Мы,— говорит,— головы здесь положим, а толстошкурые в загранице кровь нашу прожирать будут».

Ну, известно, барыня, не все богачи такие. Катичка стала ему говорить: генерал, мол, Ковров большие капиталы на войну отдал, а в Костинтинополе всего закупил, и белья, и по-роху, и пушек... и сын у него воюет. Офицерик так просветлел: «да я, говорит, его знаю, Василек это, полковник Ковров, герой известный, чуть матросы его не расстреляли, бонбой от них отбился». И он под его командой был, во льду шли вместе, вон как! Катичка до ночи его не отпускала, все он рассказывал, страсти всякие.

А тут к нам доктор с каретницей. Она полную штукатулку бралиянтов привезла. Он помогать хотел, а она себе деньги забрала. Я слыхала, барыня, как они спорились. Он все: «хоть немножко помоги, мне стыдно в глаза смотреть, у нас много...» А она ему — «а сумашедчий дом пропал в Москве? ничего не дам!» А он ей: «да Треночка, мы русские, у меня душа болит». А она — «а у меня живот болит». А их наши добровольцы в Харькове спасли, они и приехали в Крым со своей штукатулкой. И ни грошика не дала. Загодя и уехали в Париж прямо. Доктор плакал — рассказывал: «в ноги кланяться надо героям нашим, мученики они!» Он, барыня, с ума сошел, от мыслев. И про Васеньку рассказал, как он его в Харькове на коне видал, с флагом, а рука пробита-повязана.

«Беспременно я вас,— говорит,— познакомлю, скоро он сюда будет, папашу повидать. Мы старые знакомые по Москве».

А Катичка смеется ему:

«Да мы тоже старые знакомые, еще когда десять годков мне было».

XXX

И надо же, барыня, чему быть-то! Вот, завтра приехать Васеньке,— телеграмма от него — задержался. Ну, генерал Ковров ждал так — и вот. Доктор наш пришел и говорит,— заслаб старик, год сыночка не видал, не ранен ли уж опять, задержался-то. А Катичка закусила губку и ушла из комнаты. А каретница еще рацеи читать пустилась: какие теперь гулянки, они теперь должны до Москвы добиваться, дело горячее. Тут Катичка вошла, услыхала... чуть она в нее не плюнула! А скрепилась, сами-то из милости живем.

А Васенька вдруг и приезжает. Радость-то какая папаше-то, и слух был, Васеньку чуть не расстреляли. Сейчас его в ванную, а потом сели закусить, винца выпили, а потом и старик в ванную сел... как сел, так и помер сразу. С тем Васенька словно и приехал — похоронить.

Весь город на похоронах был, так все парадно было, и гроб из Севастополя привезли, уж трудно стало хороший гробок найти. Я и кутьи сварила, а то кому подумать, женского полу нет, а без кутьи-то как-то уж непорядок, все-таки душеньку помянуть-порадовать. Катичка в церкви только была, а я и на выносе была. Пришла в ихний дворец, лестница одна больше нашей дачи, и все цветы... гробу поклонилась, к ручке приложилась. Гляжу — Васенька, не узнать. Почернел, раздался, и сурьезный стоит, убитый. Я и говорю им — «здравствуйте, Василий Никандрыч, горе-то у вас какое». А он глядит, словно не узнает. А потом, глазами так вскинул...— «ня-ня, вы это?!» Обнял, в плечо поцеловал, и слезы у него. И я заплакала. И так-то мне его жалко стало. Я ему и сказала, спросту: «с Катичкой мы одни тут, у ней папаша с мамашей тоже скончались, сироты мы теперь». Так он словно обрадовался: как, Катерина Костинтиновна одна здесь?» И не до нас ему, а я не удержалась, сказала: «опять уедете, может, нас навестите». Ни слова не сказал. Я не то, что бы зазывала, а... и его-то, сироту, жалко, и все-таки с одной мы стороны. Ну, Катичка была в церкви, а к нему не подошла, домой ушла. Травур у ней был, вот и пригодился. А я и на кладбище проводила, честь-честью, и кутьицы Васенька откушал на могилке. И все очень благодарили. Старушки там были... одна греческая старушка тоже похвалила мою кутью, только, говорит, надо бы орешками утыкать и миндаль-

ком, и вишеньками из варенья кругом убрать, так по их вере полагается. А у нас, конечно, изюмцем больше убирают. И доктор наш помянул. И говорит Васеньке: «завтра обедать приезжайте». Прихожу домой, Катичка ко мне:

«Зачем тебя понесло по жаре таскаться? на поминки напрашивалась, блинов не видала?»

А я устала, молчу. А я еще в городе сказала — на кладбище пойду, проводить, и ничего она — ну, что ж, проводи. И кутью у меня видала. Молчу-переобуваюсь, а она все не отстает:

«Не позвали на поминки? Ах, бедная, устала, да в гору еще, пешком шла, не догадались, небось, на фаетон тебя посадить? А ты бы попросилась. Или не узнали тебя? А ты бы подошла, напомнила о себе... может, и посадили бы!»

Расстроила она меня. Говорю — плохого тут нет — за упокой души помолиться, покойника проводить, да еще знакомого человека. А нехорошо, как у живого в гостях была, а на кладбище не проводила. Нет, говорю, меня сам Василий Никандрыч узнал, сам меня и на фаетон усадил, и поцеловались с ним.

«А может, напросилась, сама влезла? — поперек мне.— Может, он тебя за кого другого принял? У него мысли в расстройстве, а ты под руку ему попала».

Плюнула я — мели. Ушла. Приносит чайку с лимончиком.

«Отпейся-вздохни, бедная моя, устала...— лисичкой такой ко мне,— не пришлось на поминках чайку попить... ну, попей чайку».

Я ее вот как знаю. Уж так ей хочется, вижу, узнать все, а виду не подает. Не стала томить, сказала. И как просвирку ему подала, за упокой раба божия Никандры, а то бы никто и не догадался вынуть, и кутьицы ему подала помянуть, и как он про нее спросил, очень обрадовался.

«Да что ты... у него отец помер, а он обрадовался!»

«И про адрист даже спросил! И наш барин пригласил его кушать завтра. А я еще раньше позвала его навестить нас,— одни мы, говорю, теперь... сиротка Катичка...»

Как закричит на меня: «кто тебе позволил его звать?! что ты, хозяйка здесь, меня спросилась?!»

«Да чего ж тут такого, давно нас знает, и сирота. И чужих зовут, мысли разогнать, горе у кого какое».

«Да, может, он и не хотел заезжать, а ты его насиль-

но зазвала...? — так раскричалась на меня,— ну, что же он сказал?..»

«Беспременно,— говорит,— буду, я скоро уезжаю»,— только и сказал.

XXXI

Значит, на другой день в травур свой Катичка оделась, очень к лицу ей он: личико у ней и в Крыму не загорело, бледненькая такая, слабенькая совсем,— сиротка и сиротка. К обеду время, легла Катичка на терасах, книжку взяла, велела мне белых розанов нарезать. Лежит вся в цветах, любит она покрасоваться. Только прилегла, Васенька и приехал. Взошел на терасы — так и остановился! А она, чисто как королевна, и головка у ней будто заболела, бле-эдная-разбледная, лежит, слабеньким голоском ему — «ах, вы это... садитесь». Мы их и оставили одних. И обедал у нас, и чай пил, и ужинать остался. Вместе все по саду гуляли. Сразу и подружились, словно и не было ничего. Он у нас до часу ночи и просидел, и я не спала. Она его и провожать ходила, и потом он ее провожал, и опять по саду гуляли. В четвертом часу он от нас ушел, вот как. Заплакала я, как хорошо-то стало. Ушел он, а она на терасах все лежала. Заря уж, задремала я... Слышу, входит она ко мне, уж беленькая, ночная. Обняла меня,— «нянь-нянь, милая моя нянь...— давно такая ласковая не была,— сколько он всего вытерпел, мученик он...» Утром ра-но вскочила, запела,— давно не пела. Надела голубенькое, воздушное,— ну, девочка совсем,— побежала в сад. Все по капарисовой алейке гуляла, дорогу откуда видно. Только я подала кофий, он и всходит, а к обеду только обещался. И опять цельный день, все с нами. Так три-дни все и гуляли вместе. Влюбилась и влюбилась она в него. Ему ехать, а она не отпускает. Ну, уехал. Она мне и призналась — жених и невеста они теперь. А чего раньше было,— это, говорит, ошибка, он ее и не видал в теятрах, глаза у него ослабли от болезни. И про графиню сказала — она хорошая, милосердая сестра, за ним ходила. А он Катичку забыть не мог, а навязываться не смел. И партрет все Катичкин в медальоне носит, показывал ей даже.

Друг дружке они писали. А на войне опять плохо, Катичка все телеграммы бегала глядеть. А то пошла я ко всенощной, уж зима была, гляжу — стоит моя Катичка

на коленках в уголку, так-то хорошо молится! — порадовалась я. Так до весны мы и томились. Катичка и говорит: «душа у меня за него болит, чего я тут сижу... там страдают... не могу я, не могу!» Все ее уговаривали,— «с ума сошли, они вот-вот сами сюда приедут, тиф там валит, сами погибнете, и его не разыщете». Нет, поеду. А меня не берет: «Пропаду — одна пропаду, куда тебе, в ад такой!» Уж собралась,— письмо от Васеньки, грязное, три недели трепалось. В Крым переедут,— написал. А тут стали говорить — добровольцы уж подъезжают, один у нас Крым остался. Сразу так все и повернулось,— нечистому сила-то дана! А что, барыня, думаете... и ему дается от Господа, восчувствовали чтобы, в разумение пришли бы. Тут богатые и стали уезжать, загодя. И каретница наша: нечего ждать, надо ехать. Доктор ни слова не мог поперек, она ему всю голову простучала: в заграницу и в заграницу! А у него уж в голове путаться стало,— сидит в уголку и плачет. И говорит мне: «няня, а ведь это мы, мы, мы...» Не поняла я. А он опять: «мы это, мы, мы, мы...» — значит, у него уж мозги замыкались. А она лихая, толстущая, ничто ее не берет. Все гвоздила:

«Скорей ехать, теперь все сумашедчии, после войны, вся заграница сумашедчая, нам не помогла... там мы опять больницу откроем, будем спокойно жить... я все загодя припасла, а с тобой, дураком, давно бы погибли!»

А в Москве у них больница своя была, сумашедчих они лечили, богатых все, им милиены сыпались. А денежки-то они давно в заграницу переслали, им сумашедчий какой-то сделал, вылечили они его. У него банки были,— хвастала она мне,— он и переслал, как вылечили-то хорошо, умный какой. И уехали, на хорошем пароходе, с цветами провожали, на свадьбе чисто. И что же, барыня... я ведь ее тут встрела! Иду я по базару, с Марфой Петровной, рыбку мы покупать ходили, наважку... очень я наважку люблю. А тут она не наважка, а мурлан называется, а дух маленько на наважку похожий, и не дорогая. Иду я по базару, какая-то с торговкой ругается-кричит, так и чешет, лицо разду-то, красная вся, как пьяная. И одета плохо, какая-то словно сборная. А это она, каретница! И она меня узнала. Помер, говорит, мой супруг в сумашедчем доме, а она ресторан думает открывать. А как же, говорю, сумашедчий дом открывать хотели? Лопнул, говорит, тут французы перебивают шибко. А мне Марфа Петровна и говорит: она у нас в квартале

известная скандальщица, ее все знают, муж от нее с ума сошел, и бралиянты она кому-то продать давала, содержателю своему, макре — называют тут так, коту — по-нашему, а он убег с ними, она и ни при чем стала. Теперь, говорит, с огромадным кабатчиком связалась, с французом, а он ее походя бьет, и днем, и ночью, очень она винцом балуется. Уж своего добилась, ни капельки мне ее не жалко.

XXXII

Ну, уехали они, мы в голых стенах остались, распродала почем-зря каретница все добро. Васенька тут и приезжает, на два денька только вырвался. А его в железный поезд поставили, в Севастополе собирали, воевать. Думали — через месяц и свадьбу справим. Он и мерочку уж с пальчика ее снял, колечко заказать. А графиня и прикатила. К нам прибежала, а у нас Васенька. Она их в саду застала. И невежа такая... с Катичкой ни слова, а ему кричит, как начальство: «проводите меня!» Лица на Катичке нет, прибежала на терасы, а тот провожать пошел. Катичка ему вслед: — «я вас жду!» А Васенька ей, уж из-за забора: «я сейчас». Часа три прошло — нет его. Катичка места не найдет, а уж и вечер, и не обедали мы,— приходит. Она ему — «долго вас задержали». Стал говорить — расстроена графиня, не мог оставить. Вскочила она — «настраивайте-ступайте свою графиню!» И заперлась у себя. Он ждал-ждал и говорит: «няня, успокойте ее, не могу я уйти так». Стала ей говорить — не откликается. Ушел он, чисто водой облитый. Приходит на другой день, на терасах ее застал. Как уж,— только будто поладили. Только разговорились, по саду гуляли...— графиня на фаетоне к нам! Не узнала я ее: разодета, вольная вся, а то скромно ходила, милосердое платьице только... а тут и надушилась, и шея голая, и юбка зад обтянула, и шляпка с какими-то торчками, такая лихая, разбитная... Прямо к Катичке, ласковая, веселая, так и разочаровала нас! Чуть не пляшет, стала говорить — уезжаю завтра, зашла проститься. «Поедемте верхом, хочу кутить!» Меня завертела,— «ах, какая вы чудесная, няня... у меня тоже няня была...» — все приятное говорила. И Катичка рада — уезжает-то она.

Живо сварганила, знакомых пригласила, татарин и лошадок привел,— это зараньше она распорядилась. И бес прилетел с хлыстом. Узнать ее нельзя стало, до

чего дерзкая. Куда и скромность ее девалась, так все за ней и ходят, очень она красивая, а тут как дама такого поведения... ну, мужчины ведь известно. Я уж подумала — не пьяная ли она. Нет. Садиться им — велела татарину три бутылки шинпанского откупорить. Поздравили ее с отъездом, и я пригубила, а она три бокальчика хлопнула, хоть бы что. А Васенька что-то невеселый, настороженый, все на нее глядел... А Катичка... развертелась, глазки горят, личико — ни кровинки. С бокальчиком к ней графиня, стукнула по бокальчику, выплеснула на юбку. А я думаю — ладно, только бы долой с шеи. Стали на лошадей сажаться. Катичка хорошо умела, юбка у ней амазонная была; бес ей коленку свою подставил, прыгнуть. А графиня Васеньку кликнула помогать. Вспорхнула на лошадку, хлыстом хватила,— та надыбы! По двору проскакала, все форсила. Поехали, поскакали. Потом мне Катичка рассказала, как дело было.

Графиня рядом с Васенькой ехала. Хлыст уронит и велит подымать. Заехали на горы, и ночь уж. Стали барашка жарить, сашлыки. И вина выпили. Выпили-закусили, графиня и давай шпильки пускать. Васенька с Катичкой сидел, кусочки ей на палочке подавал, графине и неприятно. А как выпила, невозможно уж стало слушать. Разнуздалась, с хлыстом вскочила, и кричит из теми: «Ковров, ступайте ко мне!» Татарин остерег — «барышня, тут место строгое, упадешь!» А там прорва, костей не соберешь. А Васенька не пошел. Стала кричать татарину — привести ее. Побежал, а она его хлыстом по лицу, так он с рубцом и воротился,— она, говорит, сумашедчая. Бес к ней побежал-вызвался, она и его ожгла, и опять: «полковник, извольте ко мне прийти!» Стали его просить — приведите ее. Ну, пошел за ней. Возня у них поднялась в кустах, он ее и привел, насильно. А у него карман вырван на курточке. А у ней шелковый рукав треснул, тело видать. И вся растрепана, не в себе. Ну, вина она запросила. И стали все говорить — домой пора. А она злая сидит, хлыст сломала. Выпила винца и говорит Васеньке: «подлый обманщик!» — и бац! — прямо в него из пистолета! Не попала. Опять — бац, бац,— Катичка и упала в омморок. А та, может, напугалась,— убила, мол! — да в кусты, а там овраг, она и ахнула туда, в прорву. Кинулись за ней, а татарин остановил: костей не соберешь, вот там какая прорва. Насмерть убилась, ее через два дни достали только.

XXXIII

А как же, суд был, допрашивали. Васенька доложил все — с графиней они совсем сладились, сказал ей — Катичка его невеста, и она ничего. И устроила им похороны, со зла. А в сумочке записку для Катички нашли: «получите мои обноски!» Зло вот и положила. Письмо еще нашли, к сестре — кузине, католичка которая, хроменькая-горбатенькая, здесь живет. И написано сверху — переслать через полковника Коврова. Власти прочитали, печатями запечатали, Васеньке отдали. Катичка добиваться: чего она написала? А он ей — «не могу отпечатать». Она ему — «а, тайны у вас?» Он себя за голову хватал,— «как я смертное письмо могу?» Дал ей, а она швырнула. Зло и засело, как заноза. Ему ехать, а она его видеть не желает. Уехал, письма писал, она рвала. Приехал, плечо пробито. Говорю — плечо пробито. Допустила. Как ледышка, губка только дрожит. Он ей то-се, а она: «вы солгали». Да еще чего: «у вас любовь была!» Худой, глаза провалились, пошел — сказал мне: «вы ей взаместо матери, няня... скажите ей — чист я перед ней». На войну уехал. Три дня я Катички добивалась,— ни ела, ни пила, заперлась. Я уж в окошко к ней влезла — она без чувств. Две недели болела. Доложила я ей про Васеньку, стала она кричать, как мамочка-покойница: не могу жить, не буду жить! В лазарет поступила, косыночку надела — монашка и монашка. Плакала на нее,— худая-расхудая, одни глаза. Из лазарета придет — как мертвая сидит, на море глядит. Скажу ей: «Катичка, что ж меня ты забыла, словечка со мной не скажешь?» — «Я тебя не забыла, няня...» — ничего и не скажет. А денег у нас нет. И приходит к нам татарин, беса-то все хотел... и сует мне вот какую пачку денег. Говорит — барин Ковров велел, а барышне не сказывай. Говорю — без ее не могу. Он на стол швырнул и пошел: я, говорит, слово дал. А он у них в именьи много годов жил, приверженный.

Ну, прибрала я деньги. А на базаре только и толков — большевики Крым возьмут. Все из рук валится, а садовничиха с Агашкой стращают: вот, скоро разделка будет! Агашка с паликмахером спуталась, стал ночевать ходить, волосатый, страшный, и пистолет у него. Опять наверх стала перетаскиваться, хвастала все: губернаторша скоро буду. А тут Катичка мне и говорит: «собери, няня, узелок мне... прошение я послала, на войну еду». Подкоси-

ла она меня. Стала проситься с ней...— «куда тебе, мне и одной-то не собразиться». Ушла она в лазарет, два дня не заявляется. Побежала к ней, а там сестры мне: поехала в Севастополь раненых принимать. И приходит на дачу офицерик. Катичка за ним ходила, и говорит — Катерина Костинтиновна что-то заболела, в Севастополе ее удержали, по телефону извещено. А он скромный такой, из ученых, как Васенька. Бе-дный был, бельишка не было, мы ему баринову рубашку дали, и покормим когда. А он стеснительный, объесть боялся,. Ну, сказал,— у меня ноги отнялись. Он мне голову помочил, а поднять-то меня не в силах. Позвал садовничиху, а она еще на меня: «доплясалась перед дерьмом своим,— перед господами, мол, наплясалась,— вот и без ног». Ткнула меня на стульчик,— я, говорит, не доктор. А офицерик и говорит:

«Нешто можно с таким народом большевиков одолеть! нас горсточка, а таких большие милиены».

Неделю я лежала. А тут и Катичку привезли. Не тиф был, а грипп, за воспаление боялись. Друг за дружкой и походили мы.

Помню, октябрь на исходе был. Садовничиха прибегает,— «большевики Крым прорвали!» — пляшет, крестится, ведьма-ведьмой.

«Пришли родненькие наши, весь свет покорили, Агашка от паликмахера узнала, уж ему дано знать, никого не выпускать чтобы!..»

Погибель и погибель. Сказала Катичке. Села на постельке, бле-дная, мутно так поглядела...— «теперь, говорит, все равно». А я только вчера дров на зиму купила, на шелковую материю выменила,— как же теперь с дровами-то? Тут страсти идут, а я с дровами. Глянула на море,— чтой-то много как кораблей идет, никогда столько не было. Неуж, думаю, англичаны войску везут? А тут с соседней дачи Миша бежит, папаша у них офицер был, в городе служил, калечный,— кричит:

«Нян-Степановна, из города верховой, велел папаша к ночи выбираться, все уезжают!»

Так все и потемнело. А Миша кричит-пляшет:

«На кораблях поплывем! а то большевики всех порежут!»

До Катички добежала, кричу — скорей собираться, уж корабли пригнали, соседи выбираются. А она лежит, ни слова мне,— ну, чисто мертвая. А садовничиха в окно кричит: «большевики всех офицерей пожгли, всех с пуш-

ками захватили, паликмахер телеграмму показывал!» Ручками Катичка закрылась,— слова не могла добиться.

XXXIV

К соседям я, а барыня бегает по даче с детской рубашечкой, к груди прижимает. Хавос у них, чемоданы, корзинки, девочки с куклами бегают, она кричит — «скорей, наши на пароход садятся, большевики подходят!» А девочка варенья банку в чемодане раздавила, текет варенье, барыня руки порезала, девочки ревут...— ну, какой тут совет спросить. Бегу домой, а на костылях офицерик наш, задохнулся, кричит — «Катерину Костинтиновну спасать!» Обрадовалась ему, повела к Катичке. Стал ее умолять. Она ему: «где полковник Ковров?» А он не знает. Идут, говорит, войска, на корабли. Он ее умолял..! — «Вы не знаете, что в Ростове было, умоляю вас!» Она — никак! Он опять: доктора послали, велели вывезти, всем место будет,— она хоть бы словечко. Заковылял вниз, задохнулся, костылями машет. А с дороги уж слышно — автомобили гудят, подводы стучат,— у нас с заднего балкона сошу видно,— и пеши, и верхом, и на повозках, с узлами бегут, волы тянут, скрип-гам, конца не видно, чисто весь Крым поднялся. И не обедали мы, кусок в глотку не лезет. А садовничиха, гляжу, наши дрова к себе волокет. А я ей — «наши дрова, как ты так.?!» — а она себе тащит, скалится. И Агашка уж сундук с паликмахером наверх волокут, да Катичкину блузку под мышку себе поддела,— живой разбой. Заплакала я,— дожили до чего, среди бела дня грабят. Соседи, смотрю, на подводу поклались, поехали вниз, и солдатик хромой при них, и ихняя кошка с ними. Сердце во мне упало,— ой, страсти, идут на нас, бегут все, мы чего ж дожидаемся? Стала Катичку тормошить: приди в себя, Якубенку вспомни! Глядь,— вот я перепугалась! — верхом кто-то, через палисадник перестегнул, по кустам, по клунбам, на терасы чуть не вскочил, лошадь так надыбы! А это татарин, деньги-то мне всучил. Зубами щелкает, коня лупцует, как демон страшный. Кричит, плеткой грозит — «барышню зови!» — выругал черным словом. И Катичка выбежала на шум... «Что вам нужно?» — кричит татарину.

«Начальник приказал на пароход вам сажаться, живо! — кричит на нее, плеткой машет.— За офицерями

ходили, записаны у красных, плохо вам! Сейчас уезжайте, я слово дал!»

Она ему свое: «где полковник Ковров?» А он не знает. Воюет, говорит. Коня поднял, пуще закричал:

«Силой вас заберу, приказ мне, головой отвечаю... я слово дал!»

Стала и она кричать:

«Кто мог приказать? Нет у меня начальников!»

«Полковник Ковров велел! Я ему слово дал!»

«Где он?» — опять все свое. А тот свое:

«Этого не могу знать. Прорвались большевики, комендант депешу получил. Я слово дал, к ночи подводу пригоню, будьте готовы! — и пакет вынул.— Вам денег велено передать на дорогу, я слово дал!..»

Она не берет. Он тогда на ступеньку бросил. Глядь — садовничиха вертится, на деньги зарится. Не успела поднять, как он ее по спине плеткой щелкнул, она в го-лос. Мигнул мне — возьми. Подобрала я пакет. А Катичка — «где полковник Ковров?»

«Бог знает! — крикнул, как сумашедчий,— уцелел — уедет!»

Катичка закрылась ручками и пошла к себе. А татарин опять свое: «подводу пригоню, я слово дал!» — и через забор сиганул.

Пошла к Катичке,— она лежит, в потолок глядит. Спрашиваю — сбираться будем? Ни слова. А тут паликмахер прибежал, чего-то посушукался. Садовничиха ко мне. Ласковая такая, выспрашивает, едем ай не едем. Сказала: приказ писан, кто останется — тому место хорошее дадут, а кто поедет, корабли порохом взорвут. Пошла — под кофту себе Катичкин пуховой платок сунула. Догнала я ее, отбила. А паликмахер уселся в саду,— похоже, караулит. Стало темнеть — подвода заскрипела, и татарин тот, с ружьем, на коне. Гляжу — паликмахер в кусты шмыгнул, а татарин за ним, с гиком: «я тебя найду, черта!» И говорит мне: «этот сволочь самый вредный, зачем к вам в сады ходит?» Сказала — Агашкин сожитель это. Он и говорит: «уезжайте, уйдут добровольцы — вам не жить». Сказала Катичке, она мне: спроси, где полковник Ковров. А он все не знает. Так мы и не поехали. Уж татарин кричал-кричал, ругался,— никак. Щелкнул коня, взвил надыбы,— «ну, Бог судит... я слово дал — ваша воля!» — умчал.

XXXV

Ну, думаю, на погибель остаемся. Взмолилась я Николе-Угоднику: вразуми-укрой, батюшка, проведи невредимо! Уж так я плакала, барыня, никогда так не плакала. Темный образок мой, а тут будто как ясный стал, будто живого сквозь слезы увидала. И как-то слободно на сердце стало. Ну, спокойна, нельзя спокойней. Буди Его святая воля.

А ночь све-этлая, месяц вышел. И тихо так,— то ветры были, а тут и листика не слыхать. И видно с дачи, как по морю огоньки идут, дале-ко уж. И гомон с городу слышно, и уж стреляют где-то. А по соше подводы за подводами, всю ночь гремели. С Катичкой я легла, не раздевалась. Бредила она все, душу мне истомила. Забылась я маленько... и сон я какой видала!.. Обязательно сказать надо... светать уж стало, чуть засинело,— Катичка за плечо меня: «нянь, убили его...» Вскочила я, не разобрала,— здесь кого-то убили? Ка-ак в стеклянную дверь с терасов стукнуть..! — руки-ноги похолодели. Раз-раз! Катичка на постели села, за грудь схватилась, сердечко у ней — тук-тук... слышно даже. Опять — бац! Кинулась я к терасам,— Мать-Пресвятая-Богородица... страшный кто-то с ружьем стоит, мохнатый, и дверь трясет: «да отпирайте же, черрт!..» — черным словом, грозно так выругался, и стекла вылетели. Я — ай-ай, а это Васенька! Не узнала и голосу его. А он в этой, в мохнатой... да, в бурке, окликнул меня — «это я, няня!» Вбежал с пистолетом, за спиной ружье, под буркой, торчком. Лампу засветила, Катичка — ай! А он — как чужой, глазища страшные, пыльный, лика не видать. Катичка стоит в халатике, за двери ухватилась, а он — кричать:

«Почему не уехали? Последние мы проходим, завтра красные войдут, я своих бросил! сейчас же собирайтесь!..»

Катичка глазам не верит, не может вымолвить. А он ей:

«Что вы делаете, зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня! почему не уезжаете?!»

А она — как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упало, за руку ее схватил:

«Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю! Живым не дамся, и вас им живую не отдам!»

Она к нему ручки протянула.

«Нет, не останусь...» — только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла.

«Няня,— кричит,— самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом, посадит вас на пароход, бумаги у него. А я на Севастополь, к своим...— и опять, к Катичке: — Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен... найду вас, дайте слово, умоляю!..»

Она ему чуть слышно — «даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на терасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие,— Анны Ивановны, папочка с ним скончался,— к грудке себе прижала...— «скорей, няничка, ничего не надо, только скорей, скорей...» Как так, ничего не надо, Агашке-то оставлять? Силы Господь дал, я в укладку свою да в два чемодана всего поклала... докторовы сапоги даже забрала — встретим и отдадим. И все ее патреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вот я жалела как. Ба-рыня, ми-лая... да как же я не догадалась-то?! да мне бы все татарину тому подарить! Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай... и спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну, вот, возьмите... тата-рин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, а если бы он да Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то,— больше собак так кличут,— а за его здоровье, если жив, ем — поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было жалко, хорошие такие, сухие-дубовые... материю какую выменила — не поносила. Уж Агашка-змея вертелась-завистовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се,— ничего им не подарила, окромя дров, да мучки, да сушеных груш у меня было с пудик, да камсы оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее, у вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня: «грабители, все от нас забираете, для чужих!» — из рук рвут-выхватывают, я уж татарином пригрозила. Только успела увязать,— татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал, забрал с парнишкой наше

добро, нас усадил,— покатили мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют...— будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось,— и церквы там нашей нет, куда завезут,— не знала ничего.

А сон я видала, барыня... как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот.

XXXVI

Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место,— кто-то по нам и выстрелил! Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты — бац, бац! — пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, из шеи у ней кровь. Садовничиха бежит с Агашкой, как воронье,— кричит: «я вам говорила, Бог вас и наказал!» Из проулка выбегли каки-то старики, ахают. А тут татарин наш, из кустов, кричит старикам: «большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал!» А это паликмахера он ухлопал. Кричит еще: «закона теперь нет, сами будем закон делать!» А садовничиха с Агашкой вой подняли: «зятя нашего убил татарин!» А тут с палками бегут, дела не разобрали, кричат — «татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил, зубами заскрипел,— так и шарахнулись. Что нам делать! Татарин кричит — «коней нет, бросайте добро, за мной, на пароход!» Садовничиха за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро, только чуть отошли... и глаза не верят! — офицерик на костылях к нам, и ружье с ним, задохнулся, и еще два мальчишки, тележку катят. И кричит он: «от Красного Креста велено Катерину Костинтиновну вывезти!» Ну, Бог послал. Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. «Я,— говорит,— клятву дал, все раненые просили барышню Вышгородскую вывезти!» Поклали все на тележку, покатили с горы, пеши мы пошли, а татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся.

Иду будто я по полю. А поле — глина одна, склизкая-склизкая, и будто там топь, под глиной, дрожит земля. Гляжу — все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась,— в каждой пролуби

огромадные, черные, головастые, чисто раки каки страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу — себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу — все раки эти страшенные, стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот наклевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосок ее слышу — «няничка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними... схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики, в новых полушубках, через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие,— кричат нам — «переходи, не бойся!» Катичка меня тут и разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю: намостят, барыня, мужики! Мне-то не дожить, Дашкой-то видала себя... душенька это моя увидит,— овраг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку.

Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загодя вы уехали, вон как... по билету даже. А, с Батума ехали, вон как вы хорошо. Господь дал. В ка-ю-те ехали... ишь как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели... ишь ты, как хорошо. Катичка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали, мы, говорят, зараньше причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть — и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть... вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала... Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек, в одно все и соберутся... да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.

XXXVII

Пришли мы вниз. На-ро-ду!.. вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, напужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненые больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: «выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают-кричат: «всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку давят, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: «спокой-ствие! спокой-ствие! все уедут, войска не

помешает, она на Севастополе садится». Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком...— «ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?» Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись — не сыщутся. А то стали кричать:

«Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить!»

Вот крик поднялся, министры-то не слыхали. И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал — все корабли на Крым гнать! «Я,— говорит,— последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял». И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь уж знает: «о здравии морского генерала, пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха!» А его за то министры со службы выгнали. Как узнали — оставят нас,— такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать — «убийцы, людоеды!.. христопродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал, всему городу было слышно: «спокой-ствие! все уедут! корабли идут!» Значит, все велел корабли давать. А народу все больше, на волах скарб везут, а им кричат: «бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «дозвольте взять, с голоду помрем... знаем мы заграничных, как они обирали нас...» Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка, а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерик и говорит, на костылях-то: «садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». А она — ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин:

«Говорите правду, уедете на корабле?»

Все он ждал-сторожил. Говорим — уедем беспременно. Стал прощаться,— «мне, говорит, по своему делу надо». Сказала Катичка только: «милый, Осман...» — и заплакала. Он ее по плечику погладил — «уезжай, барышня, живи... полковнику нашему скажи — в горы Осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «и ты, бабушка хороший, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем, пошел-зашагал, пропал. Ах, какой верный человек, до месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась — померла, от сердца.

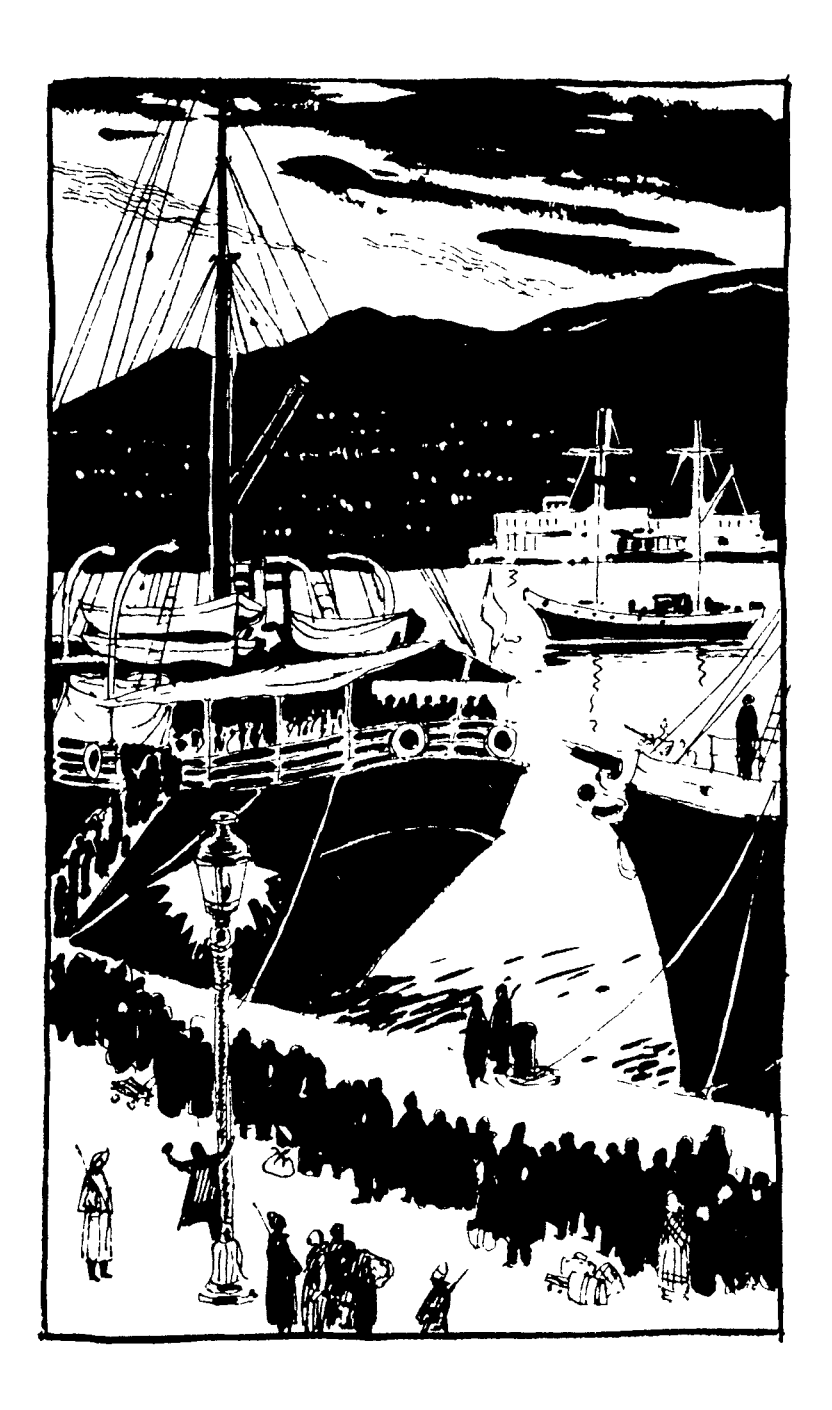
Внучек все кричал: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали... Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря,— так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, туда-сюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну, чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала...— прощай, моя матушка-Россия! прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась,— на горы свет ушел.

Уж садиться, бес откуда ни есть взялся! Да как же вы уезжаете, на погибель, родину покидаете... мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катичка ему при всех и крикнула: «ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» — так и отлетел, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул, кривую душу.

К ночи еще корабль подошел, военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюты уж все позаняли. Вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто доветру просится, а выйти никак нельзя, беспорядку чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы...— те-мные стоят, жуть, и огонечки кой-где по дачкам, сиротки будто. И свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу? Нет, так и не показалась. А под фонарями, на берегу, на-ро-ду... черным-черно. И не разобрать, что кричат,— гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала.

Забыла я вам, барыня, сказать... Это еще не сажались мы, пожилой человек прощенья у всех просил. Он учитель был, не то попечитель... с проседью, худой, длинная борода, на мученика похож, в очках только. И будто он за странника: котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал:

«Православные, прости-те меня! Дети мои, простите меня!..— так все.— Погубил я вас, окаянный... попечитель был вам, всему народу учитель, и все мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы вас обучили? И все мы погуби-ли... и все потли-или-и...— будто стонул,— на пустую дорогу вас пустили-и..»



А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие все мальчишки, небритые-немытые, и с ружьями. А он плачет на них — «дети мои, простите меня, попечитель я был...»

Уж он свихнулся, с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А раньше он образованный был, газеты все печатал, а тут другой месяц блаженный стал,— сказывали знающие. Как его один офицер, высокой, худой, поперек лица рубец темный... как его сдернет с ящика,— «поздно теперь болтать, как все сгорело... ступай, с большевиками болтай!» Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж, какой же разговор тут, как всем могила готовится. А мне его жалко стало, все-таки он покаялся.

Говорили знающие — тоже, как покойник-барин наш, слободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел.

Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загреми-ит, застучи-ит...— все мы креститься стали: отходим, говорят. «Царю Небесный» запели, «спаси души наши». И пошло тарахтеть, поплыли. Катичка, слышу, плачет. А рядом с нами старичок-повар ехал... у него сынок офицер тоже был... наказал уезжать с собой, а то убьют: у великих князей был поваром, старичок-то...— вот он и говорит, через силу уж: «Господи... то все в России нашей жили, на солнышке... а вот, в черную яму опустили... доверте-ли!..» И в мешок головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все... что уж и вспоминать.

XXXVIII

Да как же не горевать-то, барыня... собака — и та к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку..? Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла,— не видать мне родной землицы! А вот... Старичок-повар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит-елозит, охает.— «Что вы,— говорю,— батюшка, ай чего потеряли?» А он — «слава те, Господи, как же я напугался!» — и показывает кожаный кошель. Подумала — золото-серебро, пожалуй. А это землица, с собой везет! — «Помру на чужой стороне, меня и посыпют родной землицей, в своей будто и схоронюсь». Как сказал про землицу, так меня в сердце вот...— не видать

мне родимой нашей! Гляжу на Катичку — платочек она кусает. Да нет, барыня... сердцем чую,— не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне: «ти-хо,— говорит,— стучится».

Ну, ехали мы... У каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие,— им и каютки... а кто пониже — тому полише. Да там не один был, этот вот... яма-то наша? да, трюм... а под нами еще была дыра, самая преисподня. И детишки кричат оттуда, и духоти-щей...— с души воротит. Ше-эсть тыщ народу корабль забрал, сказать немыслимо. Проповедь какую батюшка говорил...— «глядите, говорит, куда попали... в самую преисподню! и нету у нас звания — дукумента, а есть один дукумент — грехописание!..» И казаки были, и калмыки... два ихних старика-калмыка, рядом с нами валялись, икали все... и офицера больные, и хохлы были, хлеборoccasionally... всякого было звания. И всенощную под нами пели, вот я плакала! «Вышних Богу» запели, барышнев голоски слышно, из теми-то оттуда, из дыры, будто ангелы жалются: «Го-споди, Боже наш... Го-споди, Царь Небесный...» — до слез.

И всех позаписали. Стали говорить: про занятие дознаются — это уж чего-нибудь с нами сделают,— к арапам, может, отправят, золото копать. Они все так, с людоедами своими, кнутьями даже бьют! — знающие говорили: и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступиться: небо над нами, вода под нами,— только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим калекам положили, ихний царь так и указал: «всех под крыло соберу-угрею». Помощник ходил-записывал, Катичке и посмейся: завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала: не до шуток нам. Очень на нее антересовался, бутенброты присылал, и шиколату, в каюту все предлагал, да она забоялась: меня он не пригласил.

XXXIX

Стращали-стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, а пустили на острова, под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наша, вот натерпе-лись, Васенька нам рассказывал! Сколько-то тыщ казаков к большевикам отправили, совесть потеряли... на муку смертную, хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, золотыми словами про все пропишут, от кого мы чего видали.

У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня...— офицерик тот, на костылях, неподалечку от нас на полу сидел, коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не дозволяло. И говорит он другому офицерику-калеке: «вот пистолет, у немца отбил... сил нет, застрели меня». Отняли у него пистолет и батюшку позвали, разговорить. А у него рана была, под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось с нами,— у здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают, да так вот — а-ах! — испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дыхнул. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой... доктор сразу пришел, руку пощупал,— матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные-неправославные, а и те глоткой так все — ыи, ыи,— икали, будто заплакали. Которые говорили: и без флагу, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катичка прибегает, сама не своя,— видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало: не дай, Господи, в неподобный час помереть!.. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катичка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще со-юзники! Ни слова не сказал, только как свекла сделался,— уж ему стыдно стало. Калмык-старик платьице у ней поцеловал, за правду что заступилась. Тоже человек, калмык-то.

Проветривали все нас, заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов борщ — ложкой не промешать... и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят,— от духу не устоять. Старик-калмык, тощий-тощий, и говорит-икает: «бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба набочок, глаза завели — стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь — прокормили.

Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азияты — всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и... Хлебцем манят, сарди-нками,— «пиджак, бараслет давай!» А на них сверху глядят, голодные. Часы, порсигары, цепочки...— на веревочках опускали, а им хлебец-другой,— вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: «во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки

променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали, со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест,— «на,— кричит,— иуда, продаю душу, давай пару папиросок!» Батюшка увидал,— «да что ты делаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!» Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным.

Да разве всего расскажешь. А то слух дошел — войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!..

А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же, барыня, потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев... в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли.

XL

Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море, чисто на облаках, башенки белые стоят, колоколенки словно наши,— Костинтинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела — заплакала.

На разные острова нас вывели. Нас на хороший определили, и церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровенки, а то зима там лю-тая, не дай Бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор... трубку он все курил. Разговорился с Катичкой — очень расположился: «давно,— говорит,— про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали... вы достойная барышня, как наша англичанская». Высокой-голенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел-посидел, будто знакомый. И велел в Костинтинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев, от полковника того, к Рождеству. А на Крещенье — получает Катичка золотую бумагу, пожаловать на бал: приедет адъютант,

заберет. А она умная,— поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам, досматривать. И дает Катичке бумажку, про Васеньку. И спрашивает,— «как вам полковник Коров приходится?» — коровой его назвал. А она прикинула,— у-мная ведь она! — «это мой дяденька»,— сказала. Обещал с острова нас спустить.

И влюбился он в Катичку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катичке про себя, какое у него в Англии именье-дворец,— сразу она и поняла — влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька мне полковник, а знакомый». Так это посмотрел — сказал: «русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благородней нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали, руку целовать,— на два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, мисе-Кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него... с него слава-то наша и пошла.

XLI

В гостиничке комнатку мы сняли, лисий салоп продала я. Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог, они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит: «Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам...» Без чего не пускают-то никуда? Вот-вот, ви-зу пришлю. Она ему — «хорошо, пришлите... и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить — адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо. Она ему — «да, надо приказания исполнять». Стал ее молить — «не мучайте меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались. Как она вско-чит!..— «уходи, уходи!» — будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая, она и не согласилась,— «уходи, уходи», так все. Пошел, она ему — «дай мне письмо!» Гляжу,— а я задремала-притаилась,— вынул он из бумажника письмо, с печатями. Вот она рассердилась!..

«А, всегда у сердца, драгоценность берегете?»

Он даже за грудь схватился,— «что ты со мной, Катя, делаешь?!» — в голос крикнул. А она ему — «приди завтра, я тебе все скажу... можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочает письмо — бросит. Не стерпела я, и говорю: «а ты прочитай, и дело с концом». Она мне — «никогда я не распечатаю!» — «Так и будешь,— говорю,— себя дражнить? Лучше уж все узнать, Бог простит».— «Что — все?!» — она-то мне. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! он тогда в меня плюнет! гадина жизнь нашу отравила..!» — прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо — швырнет. Совсем схватила, вот разорвет...— за руки меня, исказилась:

«Спрячь, не давай мне... себя погублю!..»

Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня — «дай, не могу я..!» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые, с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Ра-но пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет,— «а, боялся, все узнаю? Не спал?.. берите вашу святыню, целехонька!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит-шепчет: «рад, что поверила тебе? или — что всего знать не буду?..» Он говорит — сейчас распечатай! Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и всучил, две бумажки аглиские,— сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались.

XLII

Неделя прошла — письмо от Васеньки: высадили его на остров. А вот, начальство стало глядеть бумаги, а он русский полковник, правов и нет на ихнюю землю ехать, его и высадили,— Корчики называется, остров-то. А место дикое, горы да леса. «Не тревожьтесь, говорит, я тут бревна с гор скатывать нанялся, два месяца прослужу — мне права выдадут, в Париж могу смело ехать». А нужда

и нас стала донимать. Чем нам жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продает, военный один умных мышей показывал... и стала Катичка места искать, колечко продала. А из барака мы выбрались,— обокрала цыганка нас. А как же, из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик-турка за дворника был, на порожке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немка и прицепилась. Бесихой такой рассыпалась,— генеральшей в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить — жалко мне вас, идите ко мне песни петь, у меня грек-богач делом орудует, он вас золотом засыпит. Затащила и затащила, поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда — пузырь живой, а пальцев и не видать, в брилиянтах все. Заугощали нас, грек деньги Катичке за ворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой, а наш турка и говорит: «бабушек, береги барышню, плохой немка!» А знакомый офицер справки навел,— это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда ни подайся — яма. А тут и Пасха наша. А какая нам Пасха — в турецком месте да еще на ветру. Страстная подошла, пошли в нашу церковь, в казенный дом. А Васенька все на горе сидит, бревна скатывает. Выходим со двора — автомобиль, а в нем барин, спрашивает у турка, турок на нас и показал. Он к нам: «вы не миса-Катя?» Назвали мы себя. Он и дает письмо, и покатил. Распечатали, а никакого письма,— аглицкие деньги, две бумажки. Ничего мы не поняли, откуда нам сто рублей. Пришли из церквы, а мальчишка и подает письмо, от мисы-Кислой,— дилехтор послал из банка. Тут и узнали,— от нее деньги. Она у графов живет, и у них все банки знакомы, она и написала дилехтору, господа сказали. Сам дилехтор нас разыскал, вот какие господа-то ее были. У них несметные милиены по всему свету... А погодите, что вышло-то... нам эти милиены сами в руки давались, только Господь отвел.

Поговели мы, пасочку я купила, и куличик, греки торговали: нашей тоже они веры, греки-то. И опостылил нам Костинтинополь этот. Катичка вся издергалась,— Васенька на горе сидит, бревна катает, скорей ехать-вызволять... а мы чисто как в мышеловке. А город тот греки отвоевали, а у них англичаны отобрали, себе под флаг. Они и шумели, греки-то. Ватагами ходят, с протуваров сшибают, и туркам житья не стало. Греково войско за море погнало турков, в самую эту... насупротив

была? Вот-вот, Азия самая. А их оттеда турки назад погнали. Греки и зашумели. На самый на первый день Пасхи и случилось, расскажу вам.

Там лестница ши-рокая-каменная, конца не видно. На лестнице нам старичок-полковничек попался, на нашу церкву сбирал. Это раньше он нам попался, с картоночкой на ветру стоял, один глаз выбит. Ну, пошли мы главный собор глядеть, а он по-ихнему уж зовется,— ме-четь. Нас турки и не допустили: сами обедню служим, после приходите. Стоим-глядим, а на кумполе креста уж нету, а месяц золотой, месяцу они молятся. И старичок тут, на церкву-то сбирал, и картоночка на груди — Николе-Угоднику на храм. Положила я ихнюю копеечку, он меня и признал. А я в тальме этой, стеклярусом обшита, и в шали шерстяной...— он и признал меня:

«И ты, горевая, с нами! И тебя закрутило, горевая! — и заплакал.— Все потеряли,— говорит,— пропала наша Россия-матушка. Кончили бы войну, наш бы собор был, и крест бы на нем сиял, и гордовые бы наши тут стояли, не было бы такого безобразия».

И еще наши тут, на собор глядели. А греки шумят: ихний это собор будет! А старичок и крикни: «время придет — наш будет!» А греки на него: «наш! всех победим, со всех денежки стребуем!» И казаки наши тут подошли. А старичок все кричит: «не быть тут грекам, придет наша Пасха!» Чумазый за ворот его и схвати, и поволок от собора,— не смей на церкву сбирать. Казаки как по-чали их лупить, по-гнали. А тут аглицкие жандармы наскакали, плетками разгонять. Казак одного за ногу и стащил, всех и поволокли в участок, и нас с Катичкой, за свидетелей. А казаки маленько выпимши, и смеются: «вот-дак увидали турецкую пасху, спра-вили!»

XLIII

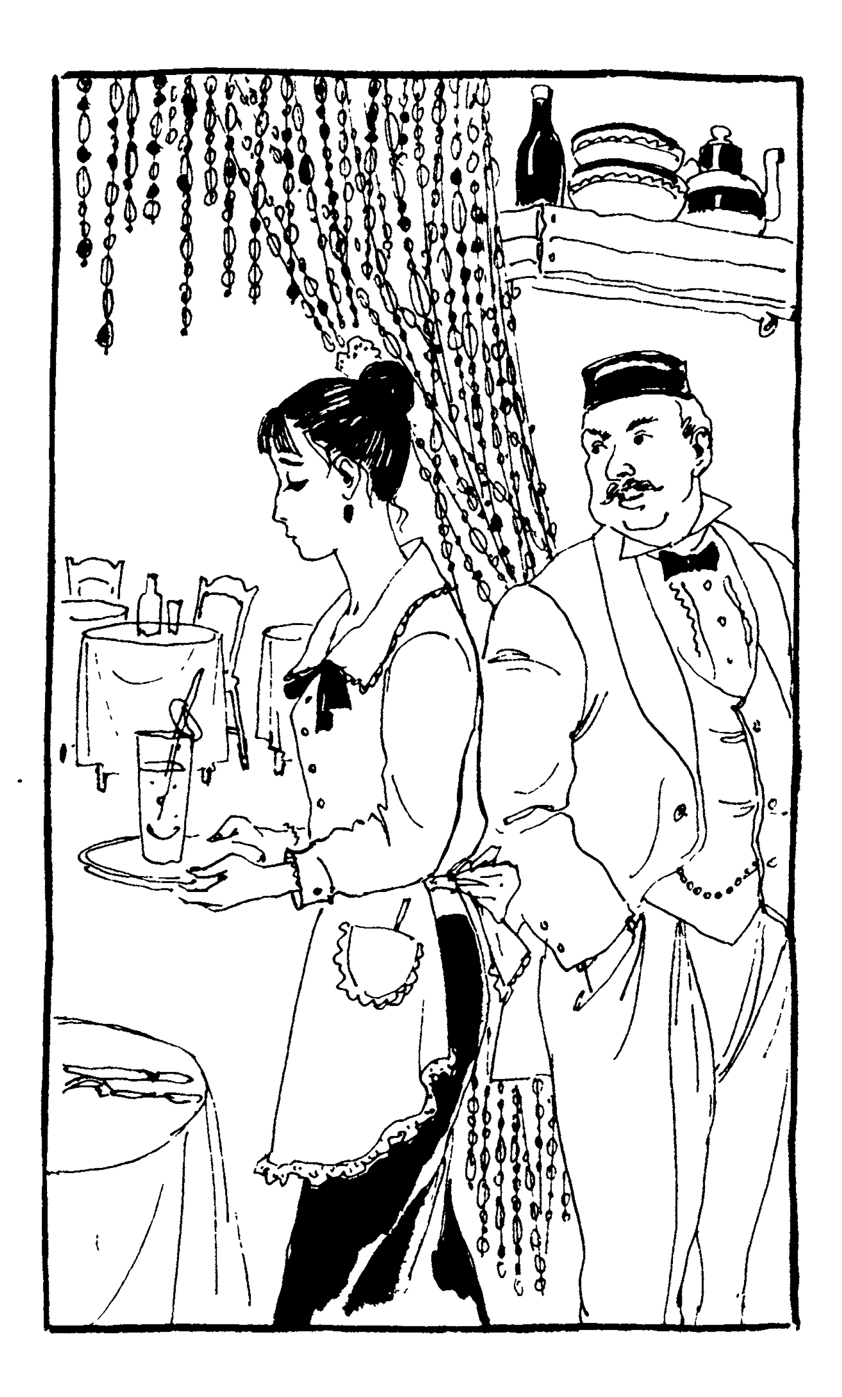
И поглядите, барыня, чего вышло! Казак с нами за свидетеля сидел, приятный такой лицом. И говорит Катичке: «ах, барышня... на Лушу мою похожи как! Такая же барышня и у меня росла, дочка». С офицером-казачонком сбежала, и где теперь — неизвестно. Разыскивал ее все. И присоветовал нам в «Золотую Клетку» поступить: самый, говорит, благородный ресторан, графыни да княгини чашечки подают, а он сашлыки на ноже подносит. Катичку и устроил. А меня к туркам, говорила-то я вам. И Катичку от пьяных оберегал, одного чуть не

запорол, ножом тем. Кутящие, известно,— всего наслушаешься. И все богачи, товарами торговали, ну и ломались, выражались. А Катичка строгая, поглядит — каждый пьяница отлетит. Все ее недотрогой звали. А хозяин грек был. Вот и говорит ей грек: «один человек про вас дознается, сыщик... вы худого чего не сделали?» Затревожилась она. А он две недели все дознавался. Сел раз за ее столик и неволит — пригубьте со мной. Она отказалась — непьющая. Ушел, а на столике бралиянтовое кольцо! Она его и окликнула, взял кольцо. Выходит — пытал ее. И турка наш говорил ей: какой-то все про вас справляется, какого поведения. И пропал, сыщик-то. И приходит вскорости в ресторан важный такой старик, с золотой набалдашиной, англичанин, вроде как граф. Ничего не заказывает, сидит — глядит. А им известно: несметный богач, на своем корабле приехал. Опять приходит, за Катичкин столик сел, содовой воды потребовал. Сидит-попивает, на Катичку глядит-наблюдает, и спрашивает: кто вы такая, да как сюды попали? Она ему докладывает по ихнему языку, лучше сказать нельзя. Красавица, а он старый старик, ему и приятно разговаривать. Завтра опять приходит, опять — содовой воды. Богатый-разбогатый, а не расходуется. Грек и говорит Катичке: «растревожьте старичка на расход, вам от меня хорошая польза будет».

Заявляется опять — обед заказал, лучше нельзя. Рюмочку дорогого вина выпил, и Катичке: поддержите конпанию. Сразу ей тут вдомек, чего добивается,— короткой ноги. А грек ей мигает — растревожьте! А она — извините, я...— сказать сумела. Он и говорит вдруг:

«Простите меня, графыня...» — по фамилии назвал! Она ему — «извините, я не графыня...» — а он свое: — «не укрывайтесь, я досконально знаю, что вы высокого роду графыня... и вот вам письмецо».

И подает из бумажника хорошее письмо. Отошла почитать, видит — мисино письмо, от Кислой нашей. Воротилась, а старика и нет, на стол белую бумажку выклал,— сразу ей капитал очистился. Все барышни — «ах, счастье какое, влюбился в вас, свой у него корабль!» — то-се. И грек прибежал,— «ловите счастье, растрясите старичка и меня не забудьте!» А у них случаи бывали: за богачей и замуж вылетали, и так, в беззаконный брак, на подержание, карактер как дозволяет. Жизнь душу-то запутала. А он несме-тный богач, и автомобиль свой, с корабля спущен, вон какой. Показала им письмо,



а они — «это он глаза отводит, смотрите, не промахнитесь». А миса у этого старика жила, у графа, с дочкой для конпании, а она померла, они с супругой и поехали горе размыкать, вот и приехали. А она старику все про нас... и в какой мы нужде, и бо-знать чего наплела, чуть мы не выше графов. А Катичка графова тоже роду, по мамочке... Ну, может, и маленькие графы, вы-то как говорите, а в коронах ходили... у них и носовые платки в коронах вышиты... Ну, известно, верно вы говорите, каждый может себе корону вышить, да... у них гусь в коронах летел, грамотка-то была, и в золотых книгах писаны,— этого простой какой человек не может. И такие, говорит, лю-ди... ежели пондравитесь, они вас, прямо, озолотят.

На другой день опять заходит. Покушал,— «хочу,— говорит,— на автомобиле вас покатать». Понятно, заопасалась: ну, завезет куда? старик-старик, а другой старик молодого хуже. Сразу понял, и говорит: «не опасайтесь, я вам в дедушку гожусь, и мне надо с вами говорить сурьезно». Поглядел гру-стно...— «на дочку,— говорит,— вы на мою похожи!» Ну, согласилась. А барышни ей строчат: «у него дворцы по всему свету!» А то завистовали — стращали: «он женатый, старуха у него на корабле безногая, требуйте обеспеченье зараньше». А грек свое: «не слушайте никого, ловите счастье, мы с вами тогда еще ресторан откроем».

Ну, по городу ее покатал, поговорили. Вынул бумажник, тыщу рублей бумажку и подает: «бедным вашим раздайте!» И еще: «моя супруга желает вас самолично видеть, поедемте сейчас на корабль». Она перепугалась: завезет на воду — уж не вырвешься, гордового не крикнешь. Она и говорит: никуда без няни не хожу. Похвалил: скромная вы, дайте мне ваш партрет, супруге показать. Завез ее домой, дала ему партрет. И уговорились завтра на корабль ехать, меня прихватить.

Ну, приоделись мы. Она черное платьице надела,— сиротка и сиротка. Взяла меня от турков на часок, и я прибралась, парадную шаль надела, и наколочку она мне, кружевную, прилично так. Познакомила нас со стариком. Старик — лучше и не сыскать: фасонистый такой, сразу видать — старинного роду граф. Он за нами в ресторан автомобиль подал. Уж так все завистовали!.. Грек старика под ручку подсаживает, а по морде-то видно, будто нас продает. А я молилась все. Ну, чисто в сказках...

Уж и не помню, как мы на белый корабль взошли.

Лакеи нас встречают, в чулка-ах, в синих куртках, пуговицы золотые. Кланяются нам низко-низко, подручку меня прихватили, а ее сам граф выводил, такая нам честь была. И все цветы-букеты, и повели по коврам в парадные покои. Гляжу — сидит на креслах барыня, зубастая, в шелку вся, седая-завитая, и с костылем... румяная, важная, и так вот... в золотое стеклышко на нас, стро-го!.. Катичка ей присела, ручку поцеловала,— ну, самая что ни есть хорошо-воспитанная. А я, издали, ни-зко ей поклонилась...— стеклышком мне махнула, на кресла велела сесть. Страху я набралась, будто царица на меня смотрит. Ну, по-ихнему они поговорили, хорошо так, Катичка ни разочка не запнулась. Шикалат с пряниками пили, а потом нам корабль показывали,— ума решишься, какое же богатство. А барыня то на партретик поглядит,— дочкин, на столике у ней, хорошенькая такая, зубастенькая только,— то на Катичку на мою. И все ее так — «дитя моя»,— Катичка говорила. Будто это у нас смотрины. А на другой день граф, его сиятельство, в ресторан приходит и говорит: «желаем мы с супругой в дочки принять достойную барышню-сироту, и вы нам по сердцу, поедемте с нами по морям, и потом вы скажете, можете стать нам за дочку?» Как с неба на нас упало. А она к Васеньке все рвалась,— ну, как ей ехать! Поблагодарила,— дозвольте, говорит, подумать. Ну, старик ей — «мы через месяц воротимся, и будем на дачах жить тут, вы нас узнаете досконально».

Уехали они. Стали мы гадать, как нам быть. И счастье такое выпадает, и страшно-то: от себя, будто надо отказаться, по их писаться, веру ихнюю принимать! А в ресторане так все и ахнули. Одни советуют — нипочем не отказывайтесь, милиены в руки сами даются, а другие завистуют — «разные бывают дочки!» А грек меня от турков сразу забрал и к посуде поставил, хорошее жалованье положил. А тут от Васеньки письмо: к Парижу подъезжает, скоро нас выпишет. А тыщу рублей, граф-то дал, Катичка нашим бедным всю раздала: святые деньги-то. Ждем — вот воротятся, решать надо. А они и не воротились... сном пришло — сном и вышло. А вот...

Двух недель не прошло, бежит грек, весь перекосился, как сатана, газетку сует — визжит: «а, шайтан... пропало наше счастье!» И что же, барыня, думаете... ихний корабль на ми-ну наскочил! с войны на цепи сидела-плавала... сорвалась! Порохом его и разорвало. С другого корабля видали,— сразу они потопли, как ка-

мушек. Только скамейка выплыла. И уж плакала Катичка!.. Да не капиталов жалко, а лю-ди-то какие... так нас и осветили в Костинтинополе этом страшном, будто они самые родные. Добрые-то все, родные... А было нам это в искушение. Ну, согласись мы тогда поехать..! Будто заман: от себя словно отказаться, а это грех. Вон, приписываются теперь, из корысти,— разве годится так? Все одно, что от бедной матери отказаться, на чужую-богатую променять. Грек тут же меня в судомойки, и на Катичку стал кричать. А тут самое страшное и началось.

XLIV

Стали мы с Катичкой в Париж этот собираться. Что такой за Париж, и знать не знала — будто большая ярмонка, веселятся там. В ресторане у нас, в Костинтинополе, все барышни говорили так: «поедешь в Париж — сразу угоришь!» Очень хотелось всем. И Катичка все радовалась:

«Думала ты, няничка, когда — в Париж попадешь! Раньше только богачи ездили туда, а вот и ты, тульская, в этот Париж-угоришь прикатишь. Как умные-то люди сделали!»

А это на мои слова все она: я про умных все говорила, сделали-то чего. То у себя жили тихо-мирно, а вот и заграничными стали, по Парижам ка́таемся. Мамочка ее все по Парижам ездила, радовалась...— приедет, и не нахвалится,— в загранице как хорошо! Все вы-кают, образованные какие, и в шляпках ходят, и бедных нет...— у нас бы так-то! Ну, вот и стали мы заграничные.

Ну, хоть в Париж поедем, все, может, лучше, чем в Костинтинополе этом оглашенном. Думалось так,— приедем в Париж, Василь Никандрыч на вокзале нас встретит, и квартира нам готовая, у дяденьки у его... поженятся они, Господь даст, жизнь поспокойней будет. У дяденьки богатство будто несметное, дача-дворец в Ницах, на теплом море...— он какие капиталы каждый год получал, с углю-то! Уголь они копали с Васенькиным папашенькой покойным, и все у них пополам с братцем было, и именья какие, и дома в Москве...— каждый год половину ему и высылали в заграницу, прорву деньжищ какую, не сосчитать. А он сроду холостой был, не мот какой, а только книжки все покупал-читал... до потолка книжек у него было, Васенька говорил. И годов более двадцати в Париже все жил...— обиделся чего-то, с родины и уехал. Уехать он уехал, а денежки ему подавай.

И посылали, больше миллиона посылали, вон как. Это теперь вот кончили посылать, как оглашенные все забрали, а то и война была, а ему шло и шло.

Васенька его и не знал путем, плохо помнил...— дяденька и дяденька, в Париже живет, только и всего. Маленький еще был, с папашенькой в заграницу ездили, до войны задолго, что ему, лет десять всего было. Только и помнил — толстый дяденька, да все курицей их кормил, да книжки до потолка. В Крыму папашенька Васеньке и сказал, перед самой кончиной, когда Васенька на денек к нему вырвался, большевики вот опять стали одолевать... так сказал:

«А придется в заграницу нам уезжать, мы тогда к Ардальоше на шею сядем, у него шея крепкая, капиталы у него не отобрали... он нас и приютит».

Так и Васенька Катичке смеялся:

«На шею дяденьке сядем, у него шея толстая, сам — как куль... пока на ноги станем — и поддержит».

К семидесяти годам ему, пожалуй, и наследников никого, и одинокой. Ну, мадама, может, была какая. А Васеньке не капиталы его нужны, а первое бы время поддержаться, на анженера хотел учиться, на иликтрического... в Москве еще он учился, да на войну пошел. А тут — чужая сторона, и свой-то человек, такой могущественный, на что уж лучше! Вот Катичка все и говорила — кончатся все мытарства наши. И я все думала: за все нам беды награду Господь пошлет. Ну, и получили мы награду...

Ждем от Васеньки письма, и визу нам обещался выправить...— приходит нам письмо, с ихней маркой... босая дама по полю идет, просто-воло-сая, в одной рубашке, с корзиночкой будто сеет. Я еще посмеялась,— ишь, говорю, чисто с постели соскочила!.. А Катичка моя — ах!.. У меня руки затряслись. Вижу — расстроилась она, губка у ней дрожит. Большое письмо написал, долго она читала, все ахала. Уж потом она мне сказала, разобралась я... И что же оказывается... вечер только Васенька у дяденьки побыл — убежал. А вот, сладко так показалось. И написал нам так...— ноги его больше там не будет, у такого... как он его назвал-то? у дуботола, что ли... Ну, упрямые такие вот бывают,— что им ни говори, чего ни случись, они все свое, долбит и долбит в одно. Да дуботол-то, это еще туда-сюда, а он... живой-то сквалыга, хуже чего нельзя. А вон, книжки все прочитал, до потолка!

Вот уж я всего повидала-то, людей всяких... какие неверные бывают, а образованные еще, барыня. И вспомнить стыдно. Хоть бы того артиста взять... в Крыму дачи-то отымал, а какой будто знаменитый! Да что, такие люди неверные пошли, каки-то перевертени...— сегодня он будто человек-человеком, а завтра в остроге от него отмахиваются. Так вот и с дяденькой, такая незалада вышла.

А вот что вышло. Это уж после Васенька нам сказал, забыть все никак не мог, как его дяденька приветил.

Разыскал он его в Париже этом... ну, известный он там, консули наши его знали, адресок сказали. Ну, разыскал его. Хорошая, говорит, квартера, цельный етаж квартера... и лакеи у него, французы все, господами одеты. Он ему сперва письмецо послал, воспитанный ведь Васенька...— так и так, до Парижа добился, повидаться бы как, когда ему можно побывать. От него бумажка пришла, скорая телеграмма,— приходить после девяти, вечерком, он его и примет для разговору. Ну, что же, у каждого свои порядки, особо обидного тут нет. Ну, приходит. А одет он, сами знаете, барыня, как... после таких мытарств, да еще на том острову, на Корчиках, лес голыми руками спихивал с горы, оборвался... ветром подбит, сапоги по пуду, на гвоздях... англиские сапоги на нем, ходить, говорит, по мостовой страшно, гремят-то больно... руки до крови ссажены, с бревен с тех, себя стыдно... пиджак зеленый, военный, англиский тоже, брюки в дырьях, а на шинельку и смотреть, говорит, страшно, ихние городовые два раза задерживали, по документам сверялись, из какого он звания, не бродяжный ли. А лестница там в коврах вся, в зерькальцах... и стыдно себя, в зерькальцах-то, чисто он пропащий какой, в чужое место забрался. Его лакей-француз сразу и не впустил, докладываться пошел, а карточки у Васеньки нет, рекомендации... ну, его он за французскую попрошайку и принял. Васенька по-ихнему чисто может сказать, лучше другого француза может, высокого воспитания, и с англичанами говорить умел. За дверью его оставил, лакей-то. Дяденька и высунул голову из двери, оглядел так осмотрительно, с опаской... переспросил:

«Вы кто же такой ко мне... вправду, Ковров вы? а как вашего папашу зовут?»

Вон какой опасливый человек. Ну, правда, мальчиком его раз видал, а тут офицер военный, росту высокого, и одежа такая, не по месту.

«Да,— говорит,— я полковник Ковров...» — так и так, и как папеньку звать, сказал. А тот ему не верит словно:

«Полко-вник?..— говорит.— Молодой вы такой, и — полковник!..— приглядывается сам.— Да... будто похожи вы на Никашу. Милости просим, войдите».

Ничего обошелся, подивился даже — «хорошо говорить умеете, очень чисто, французы так говорят». Удивился очень, какой обдерганный. И по-нашему стали говорить, лакеи чтобы не поняли... старик сам начал, совестно ему стало, что ли, чего еще подумают. А такое богатство, зерькала, ковры бархатные, ступить страшно. Ну, в кабинет его посадил, чаю им подали с печеньями. А Васенька и не обедал, денег-то у него в обрез, булочку только пожевал на ходу, еще не огляделся. И везде, говорит, картины, партреты всякие, кни-ги, до потолка... и ста-ту-и всякие, и тунбы белые... чисто музеи. Велел дяденька по рюмке мадерцы им подать, со свиданьицем. И велел все рассказывать, что было. Долго ему Васенька говорил... А на тарелочке, говорит, четыре сухарика только было, брать-то словно и не удобно. Да еще дяденька сам ему один сухарик положил...— «кушай, говорит, эти сухарики из самой лучшей кондитерской, из чистого масла». А Васенька-то думал — вот его дяденька обласкает, пожить у себя оставит, хоромы-то такие... а он ему так:

«Готов тебе помочь, до места пока триста франков на месяц могу тебе ссудить, теперь времена тяжелые, трудно жить. Из одежи чего могу дать, вот пальтецо у меня драповое есть...» — и велел лакею принести показать, и полсапожки со шляпой.

Васенька тут и понял — ску-пой дяденька его, сквалыга вовсе... другой рюмки и мадерцы не предложил. А с лица, говорит, неприятный такой, жирный, губу все отдувал, брезговал словно им. Ну, и это бы ничего, первое бы время поддержаться, на анжинера добиваться. И обидно, понятно, было... старую одежду ему дает, от капиталов-то! Не обижать чтобы, пальто Васенька примерил, широкова-то маленько, да ничего, теплей так. И шляпу ему дяденька пожертвовал, котелком, тоже великовата, на глаза падает. Сказал — «бумажки ты подсунь, как раз и будет... а шляпа эта из самого первого магазина, только первые люди покупают». А полсапожки узки, нога-то у него размятая, с ходьбы с такой, да портянки натерлисбились.— «А все-таки возьми полсапожки,— сказал,— сапожник сколько-нибудь да даст, а тебе все барыш».

Велел лакею завертывать. И завтракать велел приходить по воскресеньям. А лакей тут с докладом подошел, сказал — «готова ванная». А Васенька-то думал — для него это дяденька велел, а это самому дяденьке купаться. Сказал лакею — хорошо,— больше ничего. А Васенька три месяца не мылся, с грязи весь обчесался. Ну, все бы ничего, другие и такого не имеют,— про родного человека говорю... Все расспросил, как братец Никаша помер, как все ограбили, сколько раз ранило,— про все поантиресовался. А потом и спрашивает Васеньку, сурьезно так, лоб наморщил:

«А ты, милый мой, за что с большевиками сражался, за какое управление?»

Стал ему говорить, не за управление, а за Россию за нашу. А тот — за какую Россию? А Васенька все уж разглядел, понял... в кабинете у дяденьки энти все!.. а вот какие с бонбами-то ходили, сацили-сты, барыня! все карточки их навешаны, рядками... а то и подписаны, вон что. Чисто, говорит, музей страшный, самые страшные даже там! Он и спросил дяденьку про одного:

«Вы, что же, знакомы были с этим человеком, бонбы кидал?»

А тот ему важно так:

«А как же, это мой друг был... ишь, на карточке так и расписался — «моему дорогому другу!» — так и ошпарил Васеньку.

И друзей этих у него — полны стены! Он будто ихнему делу помогал, денежки им давал. Ну, сквалыга, много-то не давал, а так, сотню-другую, может, и отдирал от себя, а они ему карточки носили, для украшения. А это он, Васенька нам потом рассказывал, на царя обиделся, будто... каку-то книжку написал, а ее не дозволили читать, он и обиделся, и уехал вот в заграницу. А на уголь-то не обиделся, денежки свои требовал, и с именьев ему текло. А скря-га! Васенька говорил,— жили с папенькой у него, так он их все курицей кормил, курицу на три дня разогревали, они уж в ресторан обедать ходить стали...— вспомнил про дяденьку, какой скупой.

Так вот, все друзья его были. Васеньке неприятно, а тот, чисто нарочно, давай ему все показывать, и карточки, и книжки всякие, и все нахваливал, как хорошо-то сделали, царя сместили... только вот дураки напортили, помешали,— большевики вот и навалились. Васеньке бы смолчать, хуже терпел, да и старик-то вздорный... а может, и от обиды — денег ему не посылают... смолчать бы

лучше, такого дуботола словом не выбелишь. А он душой-телом поразбился, да голодный-то, да ласки не увидал...— он дяденьке и выговорил, не стерпел. Я по их сказать не умею, мудрей он сказал, а так будто:

«Вы страху не видали, жили спокойно, и теперь хорошо живете, и вам папаша денежки посылал, а вы этим врагам помогали, все переменить чтобы. Ну, и радуйтесь... все переменили! А мы головы клали, чтобы дело поправить... и сколько нас полегло, молодых... жизни мы не видали, калеки теперь. А вы еще спрашиваете, за какую Россию воевали! Одна у нас она. Не видали вы ничего,— ну, вот, на меня смотрите!..»

А у него рана на ране, рваный, истерзанный, руки побиты, хороших сапог нет, и как на жулика на него глядят, в квартиру пустить боятся. Он ему начистоту и выложил. Дяденька так и заполошился, слова сказать не мог, только — ка-ка-ка... ка-ка-ка...— запнулся. А Васенька разошелся,— не унять. В прихожую выбег, шинельку свою схватил, а лакей к двери кинулся, не пускает. По-нашему они кричали, лакею-то не понять,— перепугался. Тот лакея отшвырнул, сильный он, ведь... выругался по-ихнему, а дяденька за ним — «постой, погоди!» А лакей в Васеньку вцепился, такой скандал. Васенька его саданул, как надо... он и по-англиски умеет, и по-ихнему умеет, очень воспитанный... ругнул его так..! И дяденька приказал лакею не встреваться. Стал говорить — нечего серчать, возьми пальтецо и шляпу... А тот, понятно, расстроился, все-то разворотил-припомнил, чего ему выпало на долю, сердца не мог сдержать...

«Лакею вашему подарите! от вас ничего не надо... такое от вас наследство получили... довольно с нас!..»

А старик тоже раскипятился, кулаками замахал...

«Так ты,— говорит,— за наследством ко мне явился?..— не разобрал, в горячке,— обиделся, что не новое пальто... мало тебе на месяц положил? А я, может, пощупать тебя хотел!..»

Чего сказал-то, не постеснялся. А тот, сердце-то разошлось...

«Довольно с меня, по-щупали!..»

И ушел. Старик ему на другой день триста франков прислал, а тот ему ту ж минуту назад деньги, ни слова не написал. Старик к нему прикатил — давай мириться! Да и наскочил на камень. Васенька к нему вышел на лестницу, к себе не впустил, упря-мый тоже... только и сказал:

«Идите к вашим друзьям, а обо мне, прошу вас, не беспокойтесь... не пропаду без вас!»

Дверь перед носом и захлопнул. Тем дело у них и кончилось.

Уж он в американский банк поступил: знакомого анжинера встретил, у папеньки на углю служил, он его и устроил. Прислал Васенька нам денег и визу обещал выправить. Так и расстроилось. А Катичка все-то говорила: у дяденьки отдохнем, на теплом море. Вот мы и отдохнули. Да что дальше-то вышло, барыня...

XLV

И приходит к нам газетчик,— на улице Катичке попался. А он Катичку знал, как сыматься ее возили, в Крыму когда. И говорит: «вас и здесь на картинках смотрели,— прямо ломилась публика!» И у него уж будто дознавались дилектора, где такая красавица,— из Крыма он загодя усклизнул. А он и в ихних газетах умел печатать. Поднесли ему винца, он и расположился: «да тут прачки сыматься лезут, а вы самая главная зве-зда!..» все ее так — зве-зда! — «да вас с руками и с ногами все оторвут, цены вы себе не знаете!» Наговорил нам с три короба.— «Я,— говорит,— этого дела не оставлю, тут и для меня жареным пахнет»,— и укатил. Катичка так расстро-илась, сама не своя. Вытащила свои патреты, и все перед зерькальцем, глазки таращила, красовалась. Пошли на службу, а барышни и показывают газетку, а там про Катичку: приехала знаменитая звезда, уж ее американцы торгуют! Газетчик тот нахвастал. Так все и подивились, и грек как-то...— и верит, и не верит: «может, вам,— говорит,— милиены посыпются... меня не забудьте». Приходим домой — письмо от Васеньки. У той, горбатенькой, побывал, католичка которая, графы-ни сестра-кузина. Она уж в ихнем монастыре, и веру сменила. Да хроменькая еще,— ну, кто за себя возьмет такую. А характер у ней — ангел чистый. Так и отписал. Письмо, то, страшное, прочитала монашка, перекрестилась, четки стала перебирать. И сказала, монашке как полагается: «воля Божия»,— по-французскому сказала: по-нашему, может, разучилась, ай уж ей так полагается, католичкам: «и желаю вам счастья, и вашей супруге, и я ей напишу, в благословение...» — адресок спросила.

Васенька нахвалиться не мог, какая божественная. Годков уж за тридцать, иссохлая вся, живые мощи. Ка-

тичка так и осветилась, письмо уж нестрашно стало,— нет на нас зла у католички. Только порадовались,— через три-дни заказное нам, с черной каемочкой, и с печатью с черной, по упокойникам вот печатают. Испугалась Катичка: помер кто-то! Распечатала,— от нее, от католички, сверху иконка нарисована, Мадонна называется. Самая тут змея к нам и подползла, с печатью-то. И слов, барыня, немного, да другое слово ножа вострей. Она и наточила, нашла слова. А так французское письмо, воспитанное. Значит, так...— «желаю вам спокой душе, и вашему жениху... как благородно поступил... и душа моей мученицы-сестрицы будет молиться у Господа...» — про Господа помянула! «у престола господня... и пусть ее страдание не мучает совесть вашу... а я, говорит, буду молиться — прости нам, Господи, согрешения». И имя приписала: сестра Бетриса. А внизу, с уголку,— была графыня Галочкина. И правда, Га-лицковая. Вот и монашка: зло-то чего не делает! А ее злая любовь в католичку загнала, злость-то в ней и кипела. И образованная какая... Да что, простому человеку в ум не взойдет, а образованные сумеют написать. С Катичкой-то чего было? Да уж сами понимаете.

XLVI

Сразу закаменела будто. За головку, вот так вот, стиснулась, помертвела... Я — «что с тобой, что с тобой?» — не Васенька ли помер, подумала: похоронное письмо-то...— после уж она все сказала, не знала я. А она «оставь, ничего». Утром было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчик, и кушать не желает. Ночь подошла, и она и спать не раздевается. Два дни так, воду только пила. Благодетель наш пришел, казак,— «чего не приходите, грек грозится, тыщи народу набиваются». Шепнула ему — барышня прихворнула, придем завтра. А она уж чемоданчик купила, деньги-то Васенька прислал, а то наши шибко ободрались, Парижу показаться совестно. А тут и Париж полетел — «не поедем никуда!» Ничего я не поняла. Письмо от Васеньки! Печка у нас топилась, бац в печку, не распечатамши. Тут я и поняла: старые опять дрожжи. Дернуло меня, и говорю: «Чего изводишься? красивая, молодая... клином, что ль, свет сошелся? Я вон и сон видала — собака к нам прибежала, друг придет». Как она на меня глянет..! — глазами обожгла. Дня четыре так мы молчали.

Жарынь, духота, двор вонючий, турец-кой, и помойка невывозная... да медники во дворе, по тазам стучат, голову простучали, и мух этих... терпенья нет, как жиляли,— турецкие, что ль, злющие такие,— а она лежит — жалости смотреть, всю ее мухи иссосали, а она не чует, как упокойница. Надумала-належала, как вско-чит!..— «Это я-то! в яме-то такой!..» и давай хохотать-качаться. Подумала — с ума она сошла. Глядит в угол, на метлу, будто чего там видит, метле головой кивает. Притихла я, не дышу, что будет. Оделась она, припудрилась, губки ружой этой навела — пошла. Сердце у меня упало: ну, в море кинется! А тогда сколько бывало так-то. Дрожу — молюсь. Часа два я томилась,— приходит, редиски мне принесла: покушай. И сама погрызла. Телеграмма нам. Прочитала — порвала. Пришла нам виза. Письмо за письмом, телеграмма... На службе отказалась, и меня взяла с места, замудрила: «довольно с нас»,— говорит. Вижу — с голоду будем помирать. Встала поутру как-то, поглядела в окошечко... а и глядеть-то некуда, на вонючую помойку, да окно в окно скорняк безносый кошачьи шкурки сушил... И говорит, будто кому грозится: «да что я, пыль какая? это я-то!.. чего здесь торчу, чего жду?!» — за голову себя схватила. Обрадовалась я,— «и всамделе, говорю, чего нам тут проживаться... и виза есть, и деньги на дорогу присланы, там, может, посветлей нам будет». Как она захохочет..! Деньги выхватила из сумочки... Васенька нам прислал... в клочки изорвала! Я потом их подобрала, в платочек завязала, мне знающий человек в Париже уж обменял, на хорошие, ничего мы не потеряли. Изорвала на клочки, уставилась на меня...— глаз свести не могу, будто меня заворожила, истинный Бог. С пеленок ее знаю...— а она меня ликом обожгла! Чисто ее сменили, не Катичка. Я такой красоты и не видала, такой страшной. Глазищи стали — сожгут прямо. Волосы разметались, личико разгасилось, рубашечка с плеча спустилась...— будто не человек, не Катичка моя, а арха-нгел грозный. И такая красавица,— каждый с ума сойдет. Заворожила — не оторвусь. И будто не своим голосом:

«Обноски донашивать?!.— записочку-то ей графыня — «получите мои обноски»? — про Васеньку, будто, намекнула,— чашечки подавать? грек грозится?! Довольно, сыты! Чего ты ревешь, дура? — а я напугалась — заплакала,— теперь смеяться будем! Никому не покорюсь, мне будут покоряться!..»

И что же, барыня... все тут у нас и переменилось, ахнуть я не успела. А вот, сразу другие уж мы стали, такие чудеса начались!..

XLVII

Дня три по городу она бегала. Пришел опять газетчик, и еще с ним, заморский, допрос ей делал и в книжечку писал. «Укладывайся, на новую квартиру!» Гляжу — мамочкина колечка на ручке нет. Спросила ее — неуж заветное продала! «Не твое дело, собирайся». В богатую гостиницу переехали, в два покоя. Все партреты расставила, и все мне — «довольно, новое все будет!» Заплакала я, от горя: с ума будто она сошла. Схватила меня за плечи,— ну, трясти! — «Ты что плачешь? чего боишься?» — «Нет сил,— говорю,— помру — на кого ты останешься, такая?» Затревожилась она: «бедная моя, замучила я тебя, несменная моя, иконка моя!..» — стала целовать, заплакала. Ну, чисто ребенок малый: вскочила, прыгать давай по комнате,— «все будет хорошо!» И показывает письмо: полковник тот приезжает. Так это мне — собаку-то я во сне видала! А она и платье новое, и шляпку,— из каких денег, думаю. Чай велела сельвировать внизу, в ресторане,— ничего не пойму: сошла и сошла с ума. Попировала с какими-то, и приходят они все к нам, и газетчик с ними, на партреты глядели, англичаны. А газетчик руки потирает и по-нашему так ей все: «ну, наварим мы с вами пива!»

И пошел у нас коровод: и в телефоны ее требуют, и... никогда ее дома нет. Прибежит, как угорелая, посвистит,— свистать стала, как папенька покойный,— «обедала ты?» — вспомнит все-таки про меня. Велит лакеям,— на пяти подносах мне принесут, глядеть страсти, кусок в глотку не лезет. Чайку с хлебушком попью, скажу — обедала. И приезжает к нам полковник. А уж он в генералы вышел, и ему высокое место. В Эн-дию! — губернатором главным, вон как. И Катичка уважительная с ним, самая воспитанная. И все ему известно, про Катичку,— звезда стала. И стал он ее прогуливать, как хороший кавалер. А Кислая нам двести рублей прислала, разбогатела от старичков, какие вот утопли: сколько-то отказали ей, и домик в деревне, с матерью она жила. И к себе зовет, отдохнуть. Какой уж отдых, Катичка развертелась — удержу нет. Собирайся, перебираемся! В самую первую гостиницу и перебрались. Царские хо-

ромы, прямо войти страшно. И са-лоны, и телефоны, и ванные... швицары кланяются, и горничные виляют, и лакеи... Перво-то время в ванную сесть боялась, ну-ка, обидятся — воспретят? А ей — чисто и сроду так. Потом уж и я обыкла: захочу чайку — прикажу: «Ну, как мы такую квартиру оправдаем!» А она все: «пыль им надо в глаза пускать!» И какие тувалеты пошила — прынцессам только. Каки-то сеточки надевать стала, как рыбка серебряная, склизкая,— дивлюсь только. Ручки-ножки растирать барышня ходила, ноготки править, как уж тут полагается... духи в ванную лила, делала воду голубую, а то розовую... и волосы обстрыгла, чисто мальчишка стала, заплакала я над ней. Паликмахеру каждый день — пя-ать рублей, подумать страшно. И откуда берется. Знакомые зайдут, по «Клетке», где мы служили, никогда ее дома нет. Со мной посидят,— какое, говорят, счастье вам выпало, полковника-богача нашли. Бесстыжие... И казак-благодетель приходил: «Завиствуют у нас, как наша барышня хорошо устроилась... Я,— говорит,— не осужаю, все лучше, чем для забавки к турку». Легко ли, барыня, такое слышать! И я-то, правду сказать, тревожилась. Сказала ему: — это ей за картинки дают, бумаги с дилехторами пишет. Все, говорит, возможно, что и пишет. Намекнула я Катичке.

«А что,— говорит,— может, на милиены променялась, как думаешь?»

Поглядела на нее,— нет, Катичка моя все такая, ягодка свеженькая, нетронутая, без поминки. Да так, барыня, уж знаю... я каждую по глазам узнаю. А у Катички глазки — святая водица, чи-стые. И говорю ей: «а так и думаю, не променяешься». Василисой-Премудрой назвала, вон как.

XLVIII

Приезжает раз, упала на кресла, перчатки стаскивает,— стяни, не могу! И улыбается: «купи-ли-таки меня, до-рого купили!» Я и заплакала. Рассерчала она: «в «Клетке» наслушалась? а еще Богу все молишься! Вымолила... первый дилехтор бумагу подписал, сымать будут... три красавицы было, всех победила!» И теперь уж не Катичка, а звезда! Больше тыщи за неделю положил дилехтор. Я так и ахнула. Она мне тут цельную пачку сунула,— попрячь, у тебя целей будут. Я и купила у турков кошель сафьяновый, на грудь повесила.

Письмо нам лакей на серебряном подносе подал. Гляжу — побледнела Катичка. Почуяла я — от Васеньки. А давно не писал. Прочитала, опустила ручку, задумалась. И шепчет: «ну, и пусть... конец...» Да как вскочит!..— и засвистала. А генерал... да, вспомнила,— Гарт фамилия,— ему скоро в дальнее место ехать. Говорю ей: не присватывается... хороший человек словно? Только поулыбалась. А служба ее тревожная, не дай Бог. То в море увезут, то по горам на верблюде ездит, а то турки ее из башни крали, на канате перетягивали, в корзинке... Воротится — Гарт прикатит, наглядеться никак не может. А диликатный... Много он для нее старался: с Америки даже телеграммы слали. Думаю-молюсь: Господи, хоть бы этот-то не отбился, фамилией бы ее прикрыл, а то такие все оторвы, артисты эти, сымальщики... да все ловкачи, красавцы, так и кружат. А уж годки-то ей подошли... Как не быть, бывали, барыня, искушения...

Раз проводил ее Гарт домой, ручку поцеловал, уехал. А уж ночь глухая. Только ушел — молодчик к нам, ихняя звезда, испанская. А как же, у них и мужчина тоже звезда бывает. Такой черномазый, ухарь,— все барыни с ума сходили. И бутылку с собой принес. И стали они в соломинки сосать, пойло такое, для баловства. А я гляжу в занавеску: голова к голове, сосут-смеются, ушко об ушко трутся. И уж он, чую, урковать стал, по голосу-то слышу. Да и обнял! Она вскочила... грозит ему, а у меня ноги отнялись, и голосу нет. А он на нее, нахрапом! Она как выхватит из серебряной сумочки пистолет, он сразу и назад, руку к сердцу, пардон сказал. Будто так, представление такое. У них барышне без пистолета никак нельзя.

Зима пришла — к грекам поехала-порядилась, а меня в номерок устроила. Сижу-скучаю, вдруг телеграмма мне! Прочитали знающие,— требует меня к грекам. И все распоряжения дала, наш штас-капитан бумаги мне схлопотал, и на корабль меня посадили — довезли. Катичка встрела, кинулась целовать, шепнула: «без тебя неспокойно, не могу». Возила меня по грекам, старые дома показывала: не на что глядеть, а все глядят, обманное такое место. А потом на руки меня горничной сдала, в номерах. Ну, я с ней и сидела, с гречкой, с грецкой женщиной... не по-нашему они говорят, греки-то, а словно нашей веры. А Катичка картинки делала. Она в простыне сымалась,— показывала мне,— кру-ти-зана, называется... а может, крути-задка, хорошо-то не помню... и ее маслом

арапки натирали, и потом она яд пила, из чаши. И еще на спину к лошади ее привязали, по полю все гоняли, много было.

И опять мы в Костинтинополь приехали. А уж ее к немцам порядили, за большие деньги. Опять мы в ту гостиницу, и что-то Катичка невеселая. Я ее и попытала: «может, стесняю я тебя, отдельно бы уж мне лучше?» Годки-то ей подошли, а сами, барыня, говорили — каждой такой артистке незаконный сожитель полагается. Ну, может, я не так говорю... вот-вот, для партекции, как вы-то говорите... и дилехтора добиваются, правда, уж я это дело знаю. В душу-то к ней не влезешь. Барин слово с меня взял, не оставляла бы... да ведь слово-то мое, а дело-то ее. А она мне: «Надоела, отвяжись». А не по себе и не по себе ей, вижу. Забилась я в уголок, на глаза ей не попадаться, три дни сидела. Она и учуяла, смирение-то мое. Разнежилась, за шею прихватила...— «ах, ты, старенькая моя, нянюля моя, старый ты век, древний человек...» — вспомнила, как писарек ругался,— «мытарю тебя по свету, а не могу... иконка ты моя, хранительница!» Обеи мы и заплакали.

Как-то повез ее Гарт к главным послам на бал. Утром она и говорит: «мне Гарт предложение сделал, рада?» — «Что ж, говорю, человек обстоятельный, на что лучше». И стало мне жалко Васеньку. Она и говорит: «поеду в Париж, а там увидим». И стал он ее просить: «поедем-те в Эн-дию, всякие чудеса увидите»,— хотел приучить ее к себе. Уж так для нас старался, оберегал от воров даже... воры круг нас вились... эти вот, вот-вот, иван-тю-ристы. Он и приставил сыщиков, казенных. Один жулик рядом с нами номер снял, жемчуг хотел украсть. А то меня из квартиры выманивали, будто по делу спрашивают, а я не пошла... а в колидоре сыщик троих и зарестовал, уж они с колидорным сговорились.

XLIX

В Париж нам ехать — проводы нам Гарт устроил, в самом богатом ресторане. Никогда она меня на пир не брала,— да и правда, куда горшку с чистой посудой знаться. А тут, чего-то издергалась, на меня накричала, весь день со мной слова не сказала. И приходит к нам благодетель наш, казак, а он к нам запросто хаживал. С радостью пришел, маленько выпимши: дочка его, с казачонком-то, у сербов отыскалась, и они поженились, и

его выписывают к себе. Уж он у грека расчелся. Ну, пришел, а у нас расстройка. Помялся-помялся, видит — угощения не подаем. Я-то ее боюсь тревожить, а она в уголок забилась, насупилась. Он и говорит: «ай загордели, барышня, старого казака не признаете?» Катичка спохватилась...— «нет, я вам рада, давайте чай пить».

Ску-шный такой сидел. Она и стала его обласкивать, мадерцы подать велела, сардин-ков... Сама ему наливает: «Родивон Артамоныч, дорогой гость, кушайте, пожалуйста». Так он растрогался, все извинялся, что обеспокоил таких людей. Да еще мадерцы выпил, стал говорить:

«Вы божеского роду, вам счастье Господь пошлет. Думаете, мы не видим? Мы все-о видим... старушку как уважаете, простого человека. Я графьев не люблю, они го-рдыи... а вас я признаю-уважаю, наша вы, расейская барышня... не можете возгордеться! Казак — вольный человек, никому не обязан. И вот от старого казака...»

Вынул из кошелька Тихона Задонского образок, с двугривенный, об ушке, серебряный, и дает Катичке:

«Этот образок заветный, святой человек мне дал, на войну когда... не будет печали, говорит. Мне теперь нет печали, дочку нашел. А вы, барышня, скучаете, я все вижу... всякую печаль разгонит!»

Приняла она образок, перекрестилась, так ей приятно стало. И поцеловала нашего благодетеля в голову. А он так растрогался: «не будет вам печали, попомните старого казака...» И сразу нам легко стало. Вечер подошел, на пир ехать, она и говорит: «собирайся, няня, хочу с тобой». Я и так, и сяк, куда мне, грошу, с рублями...— нет и нет: «хочу так, мне с тобой легче, хоть ты и допотопная». Особо неприличного нет, понятно... все уж ко мне привышны, няня я ее старинная.

Пи-ир...— словами не сказать. Парадные нам покои отвели, в огнях, и все знакомые, и сымальщики, и англичаны, и итальянцы-ы... кого-кого только не было! А Гарт на главное место Катичку усадил, и букеты ей, и... себе белый цветочек приколол. И все генералы были... с саблями даже были. И шимпанское вино в серебряных ведрах приносили, и кре-мы, и пирожки... самый богатый пир. А я с краюшку сидела, вязала. На мне шелковое платье было, муваровое, и наколочку Катичка мне приладила,— сижу, будто я образованная. И уж ночь. Они разговаривают-пируют, а я дремлю. Как мне под руку ктой-то!.. Глянула я,— уси-щи, чисто щетка сапожная, морда-а...— самовар медный. Итальянец это ко мне пристал, с парохо-

да капитан, на его пароходе хотели ехать. Пристал и пристал: желаю с вами выпить! А я непьющая, да испугалась, сказать не умею, а он мне в губы сует, шимпанское вино. Я его под локоток чуть, отвязался чтобы, бочка и бочка винная. Он и скажи,— после уж я узнала: «красавица такая, и старый товар за собой таскает»,— про меня-то: «для охраны таскает... строгой у ведьмы глаз!» Она и услыхала! Да тревожная все, да шинпанского-то вина пригубила... она и загорячилась: «не хочу слушать дерзостев, просите у ней прощенья!» Скандал такой, и Гарт перепугался, успокаивать ее... сижу-дрожу, а она — чисто архангел грозный! А итальяшка — пьяней вина, бух на колени передо мной! — истинный Бог. Срамота такая. «Мадама,— говорит,— простите меня, грешного!» Руку мне и поцеловал, безобразник. И винищем-то от него, и табачищем, и чесночищем... И перед Катичкой на коленки встал. А она развертелась вся, встала возля меня и давай кричать:

«Старый товар, она, ведьма она?.. а лучше для меня всех!» — не могу, барыня, не плакать.

И выстерика с ней случилась. Гарт ее подхватил, нюхать ей соли вострой. Больше и не пировали. Гарт нас на автомобиле домой привез, так беспокоился. Только отъехал — она на меня топать!

«Из-за тебя, дуры, такой скандал! Стыдно мне!..»

Утром ра-но вскочила, в телефоны Гарту посмеялась. А я и глаз сомкнуть не могла, все плакала. Подбежала — поцеловала в глаз. А я притворилась,— сплю, мол: стыдно мне. Куда-то убежала. Прибегает — чурек мне горячий принесла, и сама жует...— любила я их, горяченькие, будто калач наш.

L

Поехали мы в Париж. То по морю хотела, а тут сразу отменила — по машине. Цельный дом с собой повезли, се-эмь сундуков, да чемоданы, да у меня на руках сколько,— приданое будто набрала. Провожали с почетом, и Гарт провожал,— в Париж обещался быть. Вот у ней рвали деньги, наша беднота! А она — сколько ни попроси, все отдаст. Я уж у ней деньги отняла. То рвалась в Париж скорей, а как поехали, ну... издергалась: успеем в Париж, сворачивай. Приедем куда — нет, в другое место поедем. Закружила она меня. То ямы в горе смотреть, то дворец ей занадобится... измаяла меня. Приедем в какой

город,— опять газетчики эти, и так, шлющие, карточки с нас сымают... Вот, цыган венгерской и прицепился,— говорила-то я,— на гитаре нам все звонил... Венгры там живут, ехали-то мы?.. Наняла автомобиль, прорву какую-то глядеть, самая-то глухая глушь. Будто нам и в Париж не надо,— все она мудровала. А к ночи, место глухо-е...— автомобиль и поломайся, не может ехать. И говорит, шофер, вылезайте. А он страшный венгер, живой разбойник, глазами на нас так...— вылазьте! Думаю — ограбить нас хочет, нарочно автомобиль сломал. А на нас цельный капитал, жемчуг один большие тыщи стоит, на Катичке, под мантой... а у жуликов глаза вострые, даст кулачищем — и обирай. Слышим — за нами скрып! пять подвод, как вагоны, и машина их волокет, и вой там, будто грызня какая. А это цирки бродяжные, зверей везли. Рыкают звери, грызутся там... остановились вагоны. Хозяева подошли, поантиресовались, и девка выпрыгнула, цыганка вроде, лупоглазенькая, стала лопотать. И хозяева кричать стали. Все с трубками, в таких вот шляпах, чисто пастухи, а глаза самые разбойничьи. Промеж двух огней и попали,— грабь и грабь. Катичка за ручку с ними, и говорит мне: поедем со зверями! Нас и посадили в вагон, девка вот где жила. Коморочка такая, и постелька у ней, чисто так, вонь только, от зверей. Дожили до чего! На переду две клетки: тигра сидела, и еще полосатенька какая-то... а сбоку лев головастый ехал, в другой клетке. Они всю дорогу и дрались лапами, через прутья, рыкали все. Девка на них визгнет — гей! — они и поутихнут. Говорила — без глазу нельзя оставить: клетки могут разворотить. Схватятся через прутья, так все и задрожит, вот-вот прутья посыпаются, разорвут нас звери. Остановились ночевать в поле, огонек развели. Кости они все грызли, кровяные... рвут друг у дружки, ры-гают, из пасти у них воня-ет... не дай-то Бог. А Катичке занятно. Все мне так: «где это, нянь, видано... куда попали!» И сдружилась она с той девкой. Та наряд надела, почесть что голая, только в сапожках... в висюльках-бисере, все ляжки голые у бесстыжей... к тигре при нас входила, с одним хлыстом! Тигра на нее раззявится, зашипит, а боится, на брюхе припадает, глазищи дрему-чие... ни мигнут. Я даже глаза закрыла, страсти. Катичка и говорит: «и я к тигре хочу!» Молила ее,— ни-как: хочу и хочу. А девчонка еще задорит. Ни жива ни мертва, сижу-плачу... а та вошла, хлыстом погрозилась,— манит. Катичка и вошла. Уставилась на

тигру,— тигра на лапы и припала... на Катичку так, только усы дрожат. И тигру заворожила! Побранила я ее, она и говорит:

«Глупая ты, каких уж мы людей видали — и целы остались, а тигру чего бояться, она простой зверь».

Насилу-то Катичка рассталась, сдружилась очень. Катичка им подарков накупила, тру-бок... девчонке янтарные бусы отдала, а та ей колечко серебряное, колдунское будто... для любви, от себя даже оторвала, вон как. Все Катичка говорила: «так бы с ними и ездила... вот это настоящие люди, не продадут». И мне, правда, они пондравились.

LI

Ну, приехали мы в Париж. И не в гостинице стали, а в оте-ле... три покоя, ванные...— несметных денег стоит. Тут уж она и закружилась: и газетчики, и дилехтора, и...

И приходит к нам человек, и шустрый такой, а глаза хи-трые, как у вора. Говорила она ему, а он все кланялся. Я еще ей сказала: неприятный какой, на жулика похож. А это, барыня, сы-щик был,— в Америке уж узнала,— из воровской конторы, про Васеньку дознавался. Все она и знала. Это кто-нибудь уж научил, звезда, может, какая. Они тоже, звезды-то, ух какие прожженые. Потом она и проговорилась мне: в Америку давно уехал, Васенька наш... на анженера иликтрического учиться. Вот ей в Париж-то и не особо хотелось...— такую она неприятность получила! А вот, доскажу. Уж она все от сыщика узнала: из банка ушел — деньги каки-то папашенькины разыскал, машины они покупали в Англии, для углю... он и уехал доучиваться.

Как-то и говорит мне, смеется: «собаку во сне не видела? друг придет,— упомнила мою примету.— Гарт наш завтра приезжает, рада?» Говорю — хорошему человеку всегда рада. Ну, приехал, стал навещать. Последние он деньки догуливал, в далекую ему службу ехать.·Все в теятры с ней ездил, прогуливал ее. Только приехал,— дилехтор американский к нам, знакомый Гартов,— бумагу и подписали, в Америку сыматься, на другой год. И вот что еще случилось.

Масляница была. Катичка гостей назвала, в отель. А мне из нашего ресторана блинков принесли, с икоркой. Поела блинков, чайку с апельсинчиком напилась,— прилегла. Катичка и входит с Гартом, вся воздушная.

в жемчугах. А ей из юлирного магазина несметной цены жемчуг принесли, американский богач купил, из уважения... на мигалках ее видал... в три петли жемчуг! и карточка приколона: «прошу в гости, в Америку ко мне». Самый идол и был, говорила-то я вам, вон когда еще ее углядел, в Пари-же. Да вот, дойдет дело...

А я в комнатке прилегла, мне в зерькало и видать. Сели они в салончике, иликтрический камин калился. Прилегла Катичка на качалке, Гарт ей под ножки скамеечку подсунул, а сам не садится. А ей холодно будто, накидочкой меховой закуталась. Он и стал урковать, а она пальчиками закрылась. Я и поняла,— к сурьезному уж пошло. Поурковал ей, стоит — дожидается, какое ему решение. Она вынула из сумочки зеркальце, бровки направила — поулыбалась... так и просияла ему. Он даже назад подался. Протянула ему ручку,— будто к иконке приложился. И опять они вниз пошли, пировать. Воротилась вскорости, что-то ей нездоровилось. Апельсинового морсу выпила, и говорит: «Гарт опять предложение мне сделал, только не приставай, голова у меня болит». Не стала ей докучать. Что ж, думаю, двадцать пятый годок пошел, самая пора замуж, перестарка кому нужна. Да только... подумала, он хоть и складный такой мущина, а годков уж под пятьдесят, что там ни говори, уж с надсадом. Легла она, кашлять стала, знобит ее... велела иликтрический круг засветить, ножки погреть. Ра-но встала, кофю пустого выпила. Я ей — куда ты, куда? — все она покашливала. Ни слова не сказала, укатила. К обеду воротилась — прямо в постель. И чем-то, вижу, расстроена. Щечки горят, жар сильный. Велела за доктором послать,— професора нашего, знаменитого, старичка. Приехал, а у ней со-рок градусов! Горчишники велел. А он простой, ласковый, все ей так: «вот, сударыня моя, напрыгали себе простудку, а болеть нечем, тельца-то совсем и нету!» А она голодом себя морила, нельзя им располнеть, звездам, а то и жалованье убавят. На волоске от смерти была,— воспаление оборвал, знаменитый-то. А наследство у ней плохое, все графы ихние от чахотки помирали. Консилимы были! — выходили. На третью ночь, слышу,— бредить начала: «святоша, монашка горбатая... змея злая... ложь все... где письмо?..» В Америке уж она мне покаялась — у католички была. Та ее приняла — нельзя лучше. А про письмо сказала — нет письма, брату отослала. Ничего от нее не добилась Катичка,— живой камень, самая изуитка-змея. Понятно, не надо

было ездить. Это ее болезнь погнала, не собразилась.

Стала поправляться — велели ей на тепло ехать. Мы и поехали в Ницы. Недели не прожили — Гарт приехал. А уж его генералом сделали и графом. Король наградил. И велел ему король к этим людоедам ехать, в Э-ндию, страх наводить, что храбрый он такой. Высокое ему место вышло. Вот он к нам и пристал. Пристал и пристал: поедемте и поедемте со мной, я вам самое страшное покажу, чего никто не видел... и слонов покажу, и о́безьянов покажу...

А это он нас заманивал, Катичку приучить к себе. Стал уговаривать: да вам поправиться нужно, а тут зима, а там всякие цветы теперь, и теплынь,— всякие чудеса увидите.

LII

Ну, думалось ли когда, в Кудрине я жила, в Москве-то... в Эн-дию страшную попаду! Это у нас лавошница рядом жила, Авдотья Васильевна, она все умные книжки читала, про разные земли-города, и где голые совсем ходят... слушать страшно. Придешь к ней чайку попить, а она и скажет: «вот есть какие люди, людоеды называются, на деревах живут!» — и картинки покажет,— глядеть страшно. И скажет, любопытная была такая: «нет, так мы тут в Кудрине и помрем, ничего не увидим!» Она очень образованная была, и на торговлю жаловалась, надоело ей за сборкой сидеть. Ну, скажет она так — чужие бы земли повидать, людоедов этих...— а я ей свое и свое: «как же это так, милая Авдотья Васильевна... от такой сладкой жизни, и к людоедам хотите! Это нехорошо, Господь накажет за неудовольствие». А она такая умильная, мечтающая... глазки закатит, воздохнет так... и скажет: «ах, Дарья Степановна, вы не можете этого понять... это только тонкие люди понимают, самые образованные».

Ну, вот и повидали мы, и всех людоедов повидали. И она, матушка моя, досыта повидала, и супруга потеряла, и сын без ноги. В Эн-дию-то попали как?.. Попали, барыня, в самое ихнее Рождество попали, в индей-ское! Ну, сон и сон.

И повидали мы, барыня, чудес всяких. Кругом света поехали, в Эн-дию эту и попали. С музыкой нас встречали, и солдаты ихние на конях, и слоны головами нам мотали-кланялись, хоботочки все поднимали враз, и на коленки падали перед нами, ушами хлопали. Ученые сло-

ны. А я вправду все людоедов опасалась. Смирные-то они смирные, и полиции было много, а все-таки не ровен час... что ему в голову взбредет, людоеду-то страшному! Там за город один лучше и не ходи, закон такой. Гарт нас предупреждал:

«Я,— говорит,— хоть и могущественный, а поручиться никак не поручусь, у нас без городовых не ходят, особенно молодые барышни».

Ихние короли, людоедовы, утаскивают к себе, в жены... и уж никакой силой не отыскать! так запрут, на тыщу замков, и тигры стерегут, как у нас собаки, нарочно обучены. А у них короли ихние по сто, говорят, жен имеют, и это им по закону полагается. За семью воротами живут. Повидала я ворота ихние... Чисто вот Кремль у нас. И церквы у них все с башенками, по семь да по восемь ярусов, одна на другой. Туда и не доберешься.

И всего-то он, Гарт, нам показывал, все рассказывал, все возил. А с ним стража военная, все в белых одеяниях, красавцы такие все, в белых касках, из хорошего полотна, из голандского. Из людоедов набраны, обучены. Уж как настоящие люди стали, и им харчи хорошие отпускают, они и обошлись. А строгие, не дай Бог. А без стражи никак нельзя, на каждом шагу разбойники, да людоеды, а то тигры... а то зме-и... самое змеиное там место. Да не вру, барыня, а истинная правда. Мы такую змею видали... не больше четверти, серенькая сама, а головка с ноготок, черненькая... ее солдат тот сапогом убил. Закусывали мы под палаткой...— чего-чего только не возили за нами! и палатки, и ковры, и качалки плетеные, на деревья вешать... гамаки, вот-вот... и всякие припасы, чего только душа желает,— ну, закусывали мы, она к Катичке и подобралась. А всю траву мужики наперед выскребли и жаровню по земле возили, змей-то этих выжигали-выпугивали,— подобралась она, стерва, из-под коврика вывернулась, гадина... А то бы Катичке в пять минут смерть была! Гарт так и посинел, руку тому солдату пожал, хоть у них это и не полагается, Катичка говорила... и большую награду пожаловал. Глядели потом ту змею,— не на что глядеть, а вредная.

По горам ездили, по лесам... и на носилках носили нас тамошние люди-людоеды,— голые-разголые, а тут обвязочка. А на головах у них цельные простыни намотаны, от жары. Тут зима, а у них лето, жара-жарища, потела я все там,— льет и льет, вся мокрая. И самое Рождество! Ахнула я, как Катичка мне сказала,— подошло

наше Рождество! Заплакала я — никакого Рождества нет. Солнце палит, голые людоеды ходят, обезьяны эти в лесу визжат, будто мы в ад попали. Плакала я, а Катичка и говорит:

«Тут индейское Рождество справляют, сладкие пироги пекут, с огнем».

И верно, барыня, с синим огнем подавали нам, ром горел. Пудинг называется. Но только мы это Рождество в городе справляли. Катичка на балах с подружками танцевала, а я все плакала. Забьюсь в хоромы...— нам дом отвели в восемнадцать комнат! И в каждой комнате у дверей ихний человек, в простыне на башке, стоял-сторожил, чтобы змеи к нам не зашли. Он у двери стоит-наблюдает, а я плачу-заливаюсь, одна сижу. Так и справила Рождество, молитвы все прочитала, какие знала... церквы-то нашей нет. И звону не слыхала, и тропаря не слыхала... Все шептала, упомнила: «разумейте языцы и покоряйтеся... с нами Бог!» В сад выйдешь погулять, а идол тот за мной, с ружьем-с-саблей...— это ему Гарт приказал. И три людоеда за мной с креслом с раскладным, и с опахалом с огромадным, с зонтиком из рогожки, чтобы не жарко было, и еще в кувшине воду со льдом носили. Измучилась я там. Они боле недели свое Рождество справляли. И повез нас Гарт в далекое место, чудеса показывать. У нас пятнадцать человек казенной прислуги было, а у Гарта...— ты-ща прислуг, вот как. Так живет, так живет богато — царь не царь, а королю не уступит. Три человека у нас было к зонту приставлено, из ихней мочалы сделан, для прохлаждения ветер делали... все тамошние люди, из людоедов... ноги то-нкие, чисто шиколотные, головы в простыне. А то змеиный у нас лакей был, который всякую змею знает, как обойтись с ней. Как спать ложиться, он все комнаты обойдет, и у него порошки курительные, духом их выгоняет, куревом. А то начнет в дудочку дудеть, она и вылеза-ет на дудочку, не может удержаться, страшно ей, что ли, делается. Он ее сейчас такими щипцами — цоп! — в жаровню прямо. Так там и зашипит, зло-то ее все... а она жар кусает, глядеть жуть. А то к нам старик ихний приходил, «змеиный царь» называется... змей при нас заговарил-мурлыкал... и все змеи как палки делались. Он их за хвост прямо, чисто сучья какие соберет, чисто закостенеют! Святой, по-ихнему. Пять лошадок было для Катички, и при каждой лошадке молодой мальчишка, голый, а в сапогах, и стыдное место у него кисточками завешано, стыда у них

нет на это. Да что с людоедов спрашивать... И еще с ней две барышни-англичанки, мисы... дочки чиновников при Гарте, очень воспитанные,— все они и гуляли вместе.

Вот и повез нас Гарт в дремучие леса, на край света, ихние церквы показывать, старинные, выше наших. И людоеды, а и у них Бог есть... а идолы-то наши вон все церквы у нас позакрывали. И лестницы широкие-широкие, идешь-идешь, а внутри ихний бог сидит, идол каменный, на пупок на свой глядит... и все цветы кладут, монахи ихние, в белых балахонах. Там не крестятся, а столбы крутят: кто больше накрутит, тот и угодит идолу. Всего-то-всего видали. И вот тут-то мы и повидали обезьянов, в самое наше Рождество. Будто это нам в какое указание: вот, дескать, и глядите: то у нас «возсия мирови свет разума» пели в церкви, и благовест какой был, и вы — люди господни были, а вот вам за грехи ваши — идол сидит, на пупок на свой глядит, и обезьяны вам поют-воют, и солнце палит заместо хорошего морозу...— индейское Рождество вам! Ну, как все равно в наказание, для испытания. И обезьяны на людей похожи, а зверюги, образ-то Божий потеряли. Ну, будто что намекает: так вот и вы можете потерять. И верно, барыня... сколько же народу образ-то Божий потеряло, в России нашей... другие хуже самых поганых людоедов стали. Правду скажу вам, я там от людоедов худого слова не слыхала. Один ихний людоед, в лавочке торговал... как пойдешь мимо лавочки, он вот так руки на живот приложит — и мне поклон! И пряник мне раз подарил, денег не взял... при Катичке бабушкой назвал: «ты,— говорит,— хорошая бабушка, очень с лица приятная, на мамашу на мою похожа!» И они понимают хорошее обращение. А меня капитан морской, как мы в Костинтинополь приехали, сироты... за ворот ухватил! Есть и из людоедов хорошие, и одежи не носят, а... А капитан морской тот с золотыми тесемками был, самый заграничный. Хуже обезьянов — образ Божий кто потерял. Всего, барыня, повидала.

Приезжаем в самое глухое место, где обезьяны водятся, в царство в ихнее, в обезьяново. Глядим — по деревам сигают, не боятся. Да палками в нас оттуда, да вроде как яблоками, шишками. Нам еще человек крикнул,— «головы берегите!» Гарт пальцем сделал — четыре солдата к Катичке, балдахин над ней подняли, поберечь. А она — «ах, хорошо! Милые какие обезьянки!» А те визжат, орехами палят. Приехали в пусто место — и

ночь. Те-о-мная-растемная. Ну, стали мы на ночлег... только навес стоит, и стен нет. Кровати нам разложили, огни зажгли, а кругом стра-жа, места там строгие, не дай Бог. А эти обезьяны свадьбу, что ли, свою справляли. Солдаты нам говорят — свадьба у них теперь. Набралось их на деревах видимо-невидимо, крик, визг, будто нечистая сила поднялась. А подальше — тигры ходили, за обезьянами трафились, рыкали страшней страшного, а близко боялись подступиться, стража у нас с ружьями. И слоны там дикие водятся еще. То ученые есть слоны, городские, бревна таскают, видала я... и князей ихних возят. А тут дикие самые слоны, глухие. Их только не тревожить, а то они добрые, тамошние люди говорили. Вот, поужинали мы, легли спать... А огневые мухи еще там, так и сигают под навесом,— ну, чисто искры: пожару я все боялась, не привыкла. Только глаза завела,— бац! бац! — стрельба пошла. А это солдат в обезьяну выстрелил. Да она на дерево взвилась, в руку он ей поранил, и кровь на рогожке мы видали. А вот что было.

Мы еще за ужином видали: сидит обезьяна на суку, совсем близко, сидит — все на нас глядит, помаргивает. Росточком с хорошую собаку будет. Снизу ее фонариком осветили,— ну, она повыше убралась. А все сидит. Глядела-глядела, да и кинула в Катичку цветком,— вот такой огромадный, белый, с хороший вилок будет, пахучий очень. Прямо ей в шейку и попала, смеялись мы. Попала, да как визгнет,— рада, что сбаловала так. Нацелился солдат, а Гарт воспретил, Катичка закричала — не надо убивать! Гарт и сказал: «вам, говорит, и обезьяны даже цветы подносят, нравитесь им вы... это, говорит, у нас бывает... и даже уносят барышнев». Ну, посмеялись и забыли про обезьяну. А она, подлая, не ушла, запряталась. Как уснули, она, никто и не слыхал, и забралась под навес... и нож будто у ней в руке был,— где уж она раздобылась?..— на три шага к Катичкиной постельке подобралась...— солдат-стража и увидал! Бац! — руку ей прострелил, нож и выпал,— истинный Бог, не вру. На дерево взвилась-стеганула — ищи ее. Всю ночь не спали. Там, говорят, обезьяны к себе уносят, в супруги, вон как!

А то еще... покойницкая река там, покойников по ней возят, такой закон: на бережку сожгут, а пепол на воду пустят. Вот царицу ихнюю и жгли. На высоких дровах она лежала — горела. И монахи в трубы над ней трубили, вера у них такая.

Два месяца выжили там.

Ехать нам, Гарт заду-мчивый все ходил, скучал. Ну, она в Америку его пригласила, через год. Там, говорит, дело и порешим. С музыкой нас провожали, Катичку на умного слона посадили, в часовенку вроде,— как царевна лежала там, в золотых туфельках, вся беленькая. А меня голоногие на себе помчали. Ну, сон и сон. А мне как-то, правду сказать, стыдно было: сколько он для нее старался, а по его не вышло. Намекнула ей, а она мне: «да он и так счастливый, два месяца живую меня видел, а не на картинках».

LIII

Опять мы в Париж приехали. Ну, в мои ли годы мотаться так! Хожу по комнате — и качаюсь, на корабле все еду. Лето подошло — к Кислой она надумалась, не сидится: хочу тебя Кислой показать. А чего меня казать,— давно, небось, и забыла.— «Она тебе обрадуется... улитка наша к ней приползла!» — «Какая-такая улитка?» Тут она и сказала: Кислая так прозвала меня — улитка. Вон с кого она переняла-то, говорила-то я вам — все она меня улиткой обижала. А душа у ней добрая была, у Кислой нашей.

Ну, повезла меня, а она в деревне живет. Приезжаем... полон-то двор собак; чуть нас не разорвали. Не узнала я ее: и прежде костлявая была, а тут — одни-то зубы. Заплакали они обеи, и я заплакала: вспомнила, в спокое-то каком мы жили. Недельку погостили, все они не могли наговориться. А я с мамашей ее сидела, вязала. Ее паларич разбил, виблию все читала. Скажет чего, а я подакаю. Уж так хорошо, покойно, ни шуму, ни гаму... поглядишь в окошечко — гуси по лугу гуляют, индюшечки. Чайком меня поила, с брусничным вареньицем... душу я отвела. И угощали хорошо: и ветчина у них своя, и индюшку нам жарили, с брусничным вареньем, вот какие кусищи клали. Так живут,— позавидуешь, до чего же хозяйственно. К июлю, пожалуй, были, а уж другой покос там. За все годы радости такой не было. На сене, на солнышке, задремала, а теленок и подошел, подол мне жует! Так и заплакала, захватила его мордушку, поцеловала... и пахнет так же, как наш.

А там мы к немцам поехали. В хорошем пансионе жили, у старушки. Там я и отдохнула. Тихая у них жизнь, и по-нашему готовят...— и пироги, и куличи, и

гусь с яблоками, с капустой, и огурчики у них. На Рождество Катичка на горы уехала, зиму глядеть, а мы с немкой елочку убирали, развлекала она меня. И там Катичку почитали, ихние студенты ночью под окошком пели, а она им цветочков бросила. И партреты ее печатали: она лихую женщину представляла, всех мущин разоряла, и генерал ей бумаги украл казенные и застрелился. Видала я,— в ванной она сидит, а генерал в окошко бумагу ей дает. Отличали-то за что? Да за манеры... и глаза такие у ней. Там все глазами надо показывать. А она, девочкой еще была, глазками красовалась все. Раньше за это за косы трепали, а нонче вон деньги платят. Пожили у немцев — в Америку надо ехать, бумага у ней подписана. Уж так не желалось мне, а нельзя Катичку оставить. А попросись — она бы, может, меня оставила.

LIV

Семеро мы суток плыли,— помру, думала. Одна вода... куда ни гляди — вода и вода. В Эн-дию-то?.. Ну, и сравнения никакого, в Эн-дию! Ну, тоже вода, да там в разные земли заезжали, дня не проходило,— все-таки страху такого нет: и корабли ходят бесперечь, и землю рукой подать, и вода-то совсем другая, и море там святое... Катичка все мне рассказывала: то Иги-пет, куда Богородица Христа от Ирода спасала, то неподалечку Старый-Русалим,— не видать его, правда, а все неподалечку...— и святые пустынники на горах спасались, мимо самых святых пустынников проезжали, там уж место все освященое, как можно. А тут не море, а оке-ян... В Америку-то ехать, за всеми океянами укрылась. Семеро суток плыли. Да погода пошла, такие-то бури поднялись, свету не видать. Наш корабль был — глядеть страшно, какая высота! сколько лестниц, окошечек, хуже другого города; одна лучше и не ходи, заблудишься. И все там, ну что только тебе угодно: и музыка, и магазины торгуют, и на велосипедах катаются, и в шар играют, и лодки громадные на корабле, в случае чего спасаться, тонуть начнем. И каждому пояс надувной, на стенке у нас висели. Как погляжу на пояс...— неуж, Господи, в океян меня скинут с ним! А в океяне во-лны... вот насмотрелась-то! — выше дома. Лежишь в каютке... всю меня истошниловывернуло, все и лежала я, лимончик только сосала, семь день живой крошки не было во рту... лежишь и слу-

шаешь: бу-ух... бух! — за стенкой-то бухает, вот пробьет. И скрипит, и трещит, и в глазу мельтешится — прыгает, качается по стенке...— кажется, в ад бы прыгнула. А Катичка еще меня стращает: «вот, как начнем тонуть, я на тебя грудной пояс нацеплю, вместе и скинемся — поплывем... а там нас киты-рыбы и проглотят, как Ионов». Ей-то уж не в диковинку, да молодое дело, занятно ей, а я угодникам все молилась: Господи, только донеси! Уж и время не вижу — все, будто, ночь и ночь, зеленое такое, будто уж под водой мы. А она все на музыку уходила, танцевать.

Стали к Америке подходить, буря уж поутихла, публика повеселела, кричат — глядите Америку! А не на что и глядеть: дым и дым. А это фабрики, все, дымят,— одни-то фабрики, вот и гляди на них. А все, как оглашенные, радуются, платочками машут,— не видали добра. К земле не подплыли, а к нам уж ихние люди влезли, с корабликов, с американских, обступили нас с Катичкой, записывают-кричат,— прямо собачья свора! И карточки-то с нас щелкают, и за пуговицы хватают, и... Один, шустрый, пристал и пристал ко мне, чисто вот клещ вцепился, по-нашему меня спрашивает, исхитрился, ндравится ли Америка. Сказала ему — ничего не ндравится, дым один. Так и заскалился, в книжечку стал писать. И еще подскочили тут, пальцами в меня тычут, по плечику даже хлопали. А тот, липкий, и про года спросил, все ему надо знать. А у меня в глазах зелено, на ногах не стою — качаюсь. Все допросил, карточку в руку сунул... а сам гря-зный-разгрязный, воротнички изжеваны,— и опять меня по плечику: «теперь будете американская бабушка, у нас таких и не видывали еще». Так это мне неприятно стало: и на Америку еще не ступила, а уж за чуду какую приняли. И Катичка расстроена чего-то,— затормошили.

Высадили нас, дилехтор американский встретил, цветы поднес. А как же, уж про нас телеграммы были, еще заранынше, все уж они и знали — звезда плывет. Там это все налажено, как можно... денежки на таком деле зашибают,— все-го теперь повидала, знаю. И на мостовой опять — и все-то с книжечками, и все-то сымают-щелкают, шагу ступить нельзя. Уж и не помню, как меня в автомобили сунули — помчали. Одни стены, неба не видать, свистит-гремит... А это и над головами машины мчатся,— ну, ад и ад. Как я в номер попала, как на лифтах меня подняли,— не помню и не помню. Катичка

кричит — «гляди ты, куда попали!» Глянула я в окошко: земли не видно, стены да башни, и все окошечки, да дым, да крыши...— на двадца-тый етаж взвились, подумать надо! А уж к нам человек стучится, раздеться не успели:

«Я,— говорит,— ваш земляк, русский... всякое поручение могу, извольте карточку вам на память!»

Оборотистый такой, шустрый, глаза веселые. Сразу он мне пондравился, свой человек. И одет ничего, прилично, красный галстук, и шляпа котелком, деловой. Самый и был Абрашка, жид-еврей, тульской наш. Так и сказал, очень чисто: «Я,— говорит,— из самой Тулы, тульские пряники жевал... и звоните мне в телефоны».

Уж так пригодился нам, сказать нельзя. Поду-мать, барыня... хавос такой, как сумашедчие бегут-мчатся, голову потеряешь...— а тут свой человек, русский, и все-то знает. И надо же так быть — тульской, и я-то тульская, земляки мы. Уж так я рада была: не потеряемся.

Дня три спокою нам не давали, газетчики. Так уж там полагается: на свежего человека накидываются, как голодные вот клопы на постояльца. А Катичка довольна: первое дело, говорит, газетчики тут, для публики расхваливают, шум шумят. А это дилехтора их насылали, мигалки-то вот изготовляют. У Катички всякие карточки разобрали, все поразузнали...— не успели мы осмотреться, нам уж газеты подали. И там уж про нас написано, ахнули даже мы: как успели! И Катичка моя, чуть что не во всю газету, мазаная-то мазаная, коричневая. А на другой газете — си-няя, и вот какие сережки, жемчуг,— сами привесили сережки. И ожерелья написаны, живая вишня. Будто дилехтора так велели. И меня будто напечатали, узнать нельзя: удавимши словно, язык высунут. Катичка как взглянула — так и покатилась, за животики схватилась...— что удавленая-то я, на мои слова. Я тут ей и сказала: «ничего смешного, а вот, погляди, хорошего нам не будет... и всамделе как бы не удавили». И дачу нашу в Крыму пропечатали, и как голодали мы, и...— про все прописано. А про меня написали — девяно-сто будто мне годов, и при Катичке неотлучно, и шляпок я не ношу, что грех это. Что Катичка им насказала, они на свой лад все и вывернули. А это там так требуется, антересу больше.

С неделю я никуда не выходила, боялась очень. Подойду к окошечку - и назад, голова кружится, с высоты. И будто наш дом завалится. А Катичка с первого дня

зашмыжила, часу не усидит. Да, забыла я вам сказать. Только в Америку приехали, она уж и расстроилась. А вот. Во всех газетах было про нас написано, что вот, мол, знаменитая звезда едет, на таком-то корабле, на самом на главном, в главной каюте... и везем мы со-рок сундуков-чемоданов!.. Ну, слыхано ли дело... со-рок сундуков! Наплели-навертели — разберись. А дурак один, наглый, Катичка говорила, чего же написал... Стыдно, барыня, сказать...— сколько этих у Катички, и этих вот, в кружевках, нижнее бельецо... вот-вот, комбизоны, и шелковых чулочков пять дюжин... и каки-то еще, самая страмота... фасон подпирать... тьфу! До бельеца добрался. Половину наплели, больше дюжины чулочков не было. Ну, написали — приезжаем, мол, а Василий Никандрыч нас и не встретил. А она думала — встре-тит нас. С намеку я поняла так, прямо-то она не сказала. А там жизнь такая оглашенная — и расстроиться время нет: и к нам народ, и в телефоны звонят, и приглашения всякие, и так шмыжут шмыгалы, чисто голодные собаки рыщут, урвать бы как. Какой с ней бумагу подписал, в Париже еще было, на полгода порядил,— Слон по фамилии...— верно, барыня, такая его фамилия Слон, и Катичка смеялась, и похож на слона — носатый, толстый...— парадный обед устроил, показывал ее ихним богачам и знатным, в газетах чтобы больше печатали — шумели. Приехала домой,— такое, говорит, было... в сказках только. Во льду они пировали! Да уж так устроено... и холоду не было, а во льду. И цветы живые во льду росли, и фрукты во льду, и шинпанское вино... и она из леду вышла, ледяная царица будто. Несметных денег стоит. И все начальники были, и богачи все, и короли даже ихние... А вот такие, короли, так все и говорили. Ну, может, невзаправдашные, вы-то как говорите, а короли называются. Верно вы говорите, по торговой части, вспомнила, американские короли. Там их так почита-ют..! То железный король, а то еще карасиновый, весь себе карасин забрал... и спичкин-король, и... на все короли имеются. Все там и были короли, она всех и завоевала. А один так от нее и не отходил, сто у него газет. И его все боятся: не пондравится ему какая, он и сгубит, плохое пропечатает, говорит. Увидал ледяную-то ее, глаз с нее не сводил, даже ей неприятно стало. И что же сказал ей, подхалима:

«Вы,— говорит,— небесная звезда, ослепили нас!»

Такое богатство, говорит,— с ума сойдешь. А она уж не мало повидала, а и то задивилась,— значит, в самый

мы в ад попали, в золотое царство. Повидала я... Господи, золотом у всех там глаза завешаны, только его и видят, со всего свету туда сбиваются. Папаша Абрашкин, Соломон Григорьевич, жила я у них потом, так все и говорил:

«Это не в Туле у нас. Я небогатый был, а там меня почитали... а тут мне грош цена, будто селедкин хвост я, и вы, Дарья Степановна, две копейки стоите... тут по капиталу почитают».

Вот Абрашка его все и хлопотал — капиталы нажить. Машинка у них стояла, пакеты на лавочки клеила, и еще он порошок надумал, что-то они толкли, от поту облегчает... сколько коробок по лавочкам развозил. И все хлопоты у него. К нам вот и заявился, помогать. А ни копеечки с Катички не брал. Она ему сказала, а он смеется:

«Не беспокойтесь, я на вас денежки зашибу».

У-у, такой-то оборотистый... в короли, говорил, достигну.

LV

Катичку прямо замотали,— туда, сюда. А газетчик главный билеты в театры все присылал, ухаживал. А ссориться нельзя, может загубить: пропечатает во всех газетах — плохая звезда, мол, стала. Ухаживает, глупости говорит,— стала Катичка опасаться. А он, говорят, ни одной-то звезды не пропустил. Господь нас охранил, ноги у газетчика отнялись, его и свезли в больницу, паларич его стукнул. Наслушалась я там, Абраша нам все рассказывал: эти звезды... богачей имеют, содержантов... и с дилехторами у них такое, на подержание даются, для славы, и для денег,— вот куда моя Катичка попала. Ну, кругом ямы эти страшенные, во сне-то мне приснилось. А в Катичке... и что такое, будто секрет такой, так вот и тянет всех! И Абрашка меня стращал — остерегал, дай ему Бог здоровья:

«Красавицам у нас хорошо живется, как сыр на масле катаются...— так все говорил, бывало,— легкое только сердце надо».

Про Васеньку... Нет, думала она. Нашла я раз под подушкой у ней сафьяновый складничек, а там карточка его, в Севастополе еще сымался,. Намекнула она опять — не встретили ее знакомые...— я и скажи:

«Да у нас кто же тут знакомые... один разве Василий Никандрыч. А он, может, стесняется... вон ты какая

стала, а он что же, бедный человек, бьется небось... тут офицеру не служба...» — попытать ее.

«Не плачь,— говорит,— он хорошо устроился, анженер стал, им тут дорожат очень».

Все-то знала, от сыщика своего, из воровской конторы. А он по этим вот... поют вот безо всего? Вот-вот, машинки делает, ланпочки. Вот-вот, радии эти. И у него будто ламбалатория, ланпочки они работают. Хорошее ему жалованье положили.

Ну, хорошо. Приходит как-то Абрашка к нам, а ее дома не было... и человечка с собой привел. Стал просить — допустите человечка с вами поговорить, ему надо рублик заработать, бедный совсем. Да у меня, говорю, нет рублика, чего он от меня попользуется?

«А вы,— говорит,— не беспокойтесь, и вам ни копеечки не будет стоить. Вы много повидали, скажите нам чего-нибудь страшное. Он будет знакомым рассказывать для скуки, а ему за это рублик дадут».

Пожалела я человечка. А чего ему страшного сказать... Сказала, как добро ни за что меняли, про Якова Матвеича, скрючило его как, от жадности... кой-чего набрала. И про Васеньку, как нас в Крыму от большевиков спас. Он, говорю, при фабрике тут служит, а мы не знаем — где, анженер он... и он, должно быть, про нас не знает, а то бы беспременно нас разыскал. Они мне враз — мы его вам разыщем! Стали кричать, руками махать:

«Он звезду спас! Мы тут много рубликов заработаем, и всем приятно будет, как можно! Такой клад нароем... как его фамилия, чем занимается?..»

Сказала, чего знала. Да в голову мне пришло, так сказала:

«Он бы мне так обрадовался... няня из Москвы, мол... очень желает повидаться».

Они мне — обязательно мы его разыщем! А Катичке я ни слова, суприз будет. Дня не прошло, читает она газеты и смеется. А нам все-то газеты подавали, чуть где про нас написано. И давай мне вычитывать, по-нашему. А там про все: и как садовника скрючило, от земли померзаразился, а Катичка будто за ним ходила... так у ней на руках и помер, у звезды...— надумали так. И как матросы заграничные буу у меня рвали и чуть меня в море не утопили, за буу... приплели все, чтобы пострашней... и про полковника Коврова, который знаменитый анженер и там-то служит, в конпании... как он от большевиков спас Катичку-звезду. А то бы, говорит, никакой бы у нас

звезды не было, а теперь имеется звезда самой высокой славы. Ну, так наплели всего, диву даешься. И разговор свой с Васенькой прописали, и в каких он брюках, и как на кресле сидит... очень, говорят, обрадовался, что няня его из Москвы к нему приехала, сироту воспитала и разыскивает его, сироту... а он такой деловой, газет не может читать, а все только в ламбалатории сидит, ланпочки разыскивает. Катичка даже рассерчала:

«Это откуда? Ты это наболтала-наплела?!»

Сказала ей — человечка я пожалела, а они вон бознать чего и наплели. Газетчики, уж известно. А тут Абрашка с тем человечком газеты принесли. Ничего, не бранила их Катичка. А они рады: газеты, говорят, так довольны, антересуются... нет ли еще чего?

«Тут, в Америке у нас, про страшное очень любят, только давай».

А они уж и у дилехтора Катичкина побывали, у Слона, и он тоже доволен,— шумите как можно больше,— сказал. Чего-нибудь и с него сорвали. Газетчики, уж известно. Ну, я им и про татарина рассказала, как нас спасал, и про змею, и как обезьяна ножиком нас запороть хотела, и как Катичка к тигре ходила...— вот они руки потирали, на коленках записывали! Побежали, как сумашедчие...

«Мы,— кричат,— так вас распрославим, вся Америка ужашнется, до чего страшно!»

И Катичка ничего. А вечером — телеграмма нам, от Васеньки: можно ли зайти, проведать?! Смотрите, барыня... а? как вышло-то?! То будто у них так все и расклеилось, а тут опять Васенька... нас-то, главное, разыскал. Вот газетчики-то чего сделали... такие-то ловкачи-проныры!..

Велела Катичка лакею позвонить: в воскресенье, мол, вечерком...

Воскресенье пришло, простенько так оделась, велела чаю подать, сухариков, а сама уходит. Я ей — куда ты, куда ты,— а она мне: «он тебе обрадовался, няня из Москвы приехала, вот и поговорите,— смешком так,— а я успею». Опять за свое. Сижу, жду гостя. А квартира у нас богатая, салоны, цветы, партреты ее наставлены... Приходит Васенька, не узнала я его. Усы сбриты, в пенснех, франт такой, и не военный уж, а как всякий хороший господин. Сразу меня узнал:

«Ня-ня... милая, как я рад... и вы в Америке очутились!..»

Поцеловались с ним, родные будто. И все, говорит, вы прежняя, в платочке, моды не признаете...— пошутил. Оглядывает салоны, а ее нет и нет. Говорю — сейчас должна быть. Ну, поговорили мы... Их конпания, говорит, завод у французов ставит, и его, пожалуй, пошлют с дилехтором, к лету, может, уедет. Все на часы заглядывал. А ее нет и нет. Арап нам чай принес на подносах... Ох, не любила я их, с глазу на глаз боялась оставаться. Чисто собака грязная. По чашечке выпили, она и входит.

«А, здравствуйте... повидались с няничкой?..» — так это, запыхалась.

А он так вытянулся, сразу видно — военный он офицер. А я и вышла, а сама слушаю. Доложился ей — так и так, в Америке живет, газет не читает, дела все. Ну, чай пили, разговаривали, как кавалер с барышней говорят. Часик посидел, просил дозволения навещать. Дозволила ему: приходите, только скоро сыматься едет. А тут к нам идол и прицепился.

LVI

Самый тот, в Париже жемчуг ей подарил. Стал цветы присылать, во дворец к себе приглашать. И к нам заедет, и... И Слон что-то зачастил, дилехтор. Приехала я из церквы раз, Абраша меня на автомобиле отвозил, гляжу — Слон у нас горячится, бумагой трепит. А зто сбивать стали Катичку, идол тот, от Слона отказаться. Нового дилехтора привез. А он несметный богач, всех может загубить. Сидят они, Абраша и прибегает, Катичка его куда-то посылала,— из прихожей и увидал, идола-то. Так и ужахнулся. Спрашивает меня: да неужто он вам знаком? А как же, говорю, не знаком: вон сидит — трубку сосет. Он даже за голову схватился. «Это такой человек, такой человек... на всю Америку двое только таких, половина всех денег у него!» И Слон прибежал, все они бумаги на столе трепали. Абраша и говорит: «захочет Шалаш...— фамилие его такая — Салаш-Шалаш..? — от Слона только перья полетят». И сбили Катичку. Шалаш большой штраф Слону заплатил, а на своем поставил. И стал к нам бывать, будто свой человек стал. Ох, не любила я его,— бугай страшный. Морда бурая, кирпичом, а зубы не золотые, а железные будто, те-мные. А она ни чуточки не боится, так все: сумочку подайте, перчатки подержите! И вот какие партреты ее в газетах печатать стали, царей так только печатают. Скажешь — «глядит на

тебя нехорошо, зубами жует... плохая примета, как человек все жует». А она — «надоела, отвяжись... тут все жуют». Своеволка такая стала, издергалась, так вот и рвет, и мечет, и что такое с ней — не пойму. Двадцать шестой пошел, а судьбы нет и нет. И все на нее глаза пялют, а идол — так вот и хочет съесть. Ну, подписала новую бумагу, и ей еще два месяца отдыхать. А Васенька к нам и к нам, старое поднялось. А тут Шалаш приглашает-заезжает, знакомство большое стало, времемнем уж и не собразится. Скажет Васеньке зайти, а ее дома нет. И у него время занятое, ему и горько. И такой тоже неспокойный стал, сурьезный. Спросила как-то — нездоровится, может? — «Да так,— говорит,— с войны, в голову вступает». А он откровенный со мной-то был...

«Ах, няня-няня... лучше бы мне не видать Катерину Костинтиновну, спокойней. Все будто кончилось, а вот...» — губы закусил, гру-устный стал.

Ушел, с неделю не приходил. Она его в телефоны возвонила:

«Вы что, обиделись... перепутала я? Меня на части рвут, ничего не могу поделать. Приходите проститься, скоро я улетаю».

Ну, пришел. Ничего, ласковая была.

«Хочу с Салашом вас познакомить, слыхали о нем?»

«Как не слыхать, хам известный»,— Васенька-то ей.

Она их и свела у себя, в гостях. А после и говорит:

«Пондравились вы Шалашу. Хотите, на первый завод вас определит?»

«Не хочу,— говорит,— я уж определил себя».

«А-а, го-рдый вы!» — посмеялась, любила его дражнить.

А то вызвала как-то,— «приходите, что-то мне нездоровится». Пришел, хороших конфет принес, любимых ее, трюхельков... а она на бал сбирается, модистка ее убирает. Сел, коробку на столик положил. Выбегла она, плечики голые, вся такая юрливая, платье серебряное, камушки горят,— ну, как мушка какая золотая,— так и обомлел. А она ему, удивилась будто: «а ведь я спутала, на бал мне надо! или вы спутали?» — «Я,— говорит,— никогда не путаю»,— обиделся. Ну, ласковая стала...— «простите, переоденьтесь-поезжайте, будете моим кавалером на балу!» Помялся он,— «извольте,— говорит,— ежели вам приятно...» Велела ему прямо на бал ехать, а за ней кто-то обещал заехать. Он прямо отшатнулся даже. А тут арап огромадную коробку, чисто корыто,

конфет принес, и ландышки, в серебряном кувшине. А это от Шалаша, он каждый день присылал гостинцы. Растерялся Васенька — и коробочку свою взял, пошел. А идол ему навстречу, в прихожей они столкнулись, друг дружке помычали. Провожаю Васеньку, а он мне коробочку дает: «вам, няня». Сказала я после Катичке, на другой день,— она словно расстроилась, закусила губку. В телефоны ему: «чего на бал не приехали? а я вас ждала, обещали! придите, мне надо вам сказать что-то». Пришел. Только вошел — она ему... криком, прямо!

«Вы что, на это корыто обиделись?! — на Шалашову коробищу,— трюхельки мне принесли... складкоежке отдали?! — и губка у ней дрожит.— Говорите!..»

Ну, покаялся он, сказал — смутило что-то. Она на него кричать!

«Корыто вас смутить может?! Вот как! Дай, нянь, трюхельки, а тебе Шалашовы!»

Он и слова не мог сказать. Да много она так с ним, крутила: то притянет, то швырнет. А то велела ему в теятры придти, а сама на еропланах улетела, дилехтор ее повез поглядеть чего-то. Через три-дни вернулась. А он ее в теятрах не нашел, к нам пришел. Говорю — улетела, велел дилехтор. А он все голову потирал. Сказал так: «надо все это кончить!» Сказала я ему — «и она сама не своя, расстроена...» — а он мне прямо, начистоту:

«Засела в нее заноза, ничего не поможет. Прощайте, милая няня, мне здесь не надо бывать... я ей все напишу».

Я его уговаривать,— нет, ушел. Вернулась она, я ей и сказала. Она в телефоны: «ошибка вышла, придите!» Ну, пришел — бле-дный, глаза нехорошие такие... Она ему — «вы сами напутали!» Он голову потер, смотрит, и голос у него не свой: «я,— говорит,— не пойму... что напутали?» Она его растерехой назвала, вывернулась: «на той неделе,— говорит,— велела притить в теятры, а вы вон как!»

«Чего вы такой рассеянный, а? влюблены в кого?..»

Он даже и не поглядел на нее, отворотился: «не влюблен», говорит.

«Очень рада,— говорит,— можете уходить, у меня голова с еропланов кружится, хочу прилечь».

Ну, ушел. А утром письмо прислал. Прочитала она — расстроилась. Села сама писать, все рвала. В спальную заперлась, так и не написала. Три-дни не звонилась в телефоны. Я ей и сказала все, как он говорил, про за-

нозу. Она мне — «не лезь не в свое дело!» Обидно мне стало, накричала я на нее:

«Как так, не мои дела? Всю жизнь с тобой мыкаюсь, по свету меня таскаешь, а — не мои дела!..»

Не железная я, всамделе, всякое терпенье лопнет. Не поверите, барыня, я и про Рождество забыла. Ихнее Рождество, наше Рождество...— голова вся запуталась. И в церкве не была, чисто я бусурманка. Пять день прошло, писала все — рвала. А тут дилехтор приехал. Велела сказать — больна. Сидит — кутается в мех, один нос видать. В телефоны звонят! Вскочила... а это дилехтор: завтра на службу лететь, в мигалки. Она ему — больна я. А у них строгий штраф, чуть что. Шалаш прикатил, стал гавкать,— она на него как крикнет,— он головой боднул — уехал. На другой день они двое прикатили,— не приняла. Отсрочку ей дали, из уважения. А то бумагу грозилась разорвать, это уж потом узналось, Абраша мне рассказал. Он тут тоже сколько мотался с нами. А ей уж еще четы-ре дилехтора бумагу подписывать давали!

Уехали они, она сразу за телефоны. Как вскрикнет!..— чисто ее укусило что. На кресла упала — побелела. Я — Катичка, Катичка...— она не дышит! И дома никого. Выбегла я на лестницу, а человек бежит сверху, перо на ухе, конторщик. Кричу ему, а он не слушает. Я его за руку, и потащила к нам, а он вырываться стал, напугался. Все-таки я его втащила, показала на Катичку. Побежал доктора позвать. А там их, на каждой лестнице, как собак. До доктора еще она обошлась. Тут и началось страшное. А вот...

LVII

А это Васенька заболел, ей в телефоны сказали. За руку меня схватила, дрожит, зубами стучит...— «няничка, едем... опасно болен... проклятая я!»

Покатили мы за город. Подъехали к заводу, а нас не пропускают. Она кри-чать..! Велели пропустить. А его уж в больницу свезли, дилехтора. Мы в больницу, в другом конце, сады где...— его в мозговую больницу положили, за голову-то он все хватался. Да, на фабрике еще нам сказали: «он для нас нужный слуга, мы его на хорошее лечение послали». Ну, в конторе нам отыскали его: в саду, флигелек, дача будто, в елках, место самое тихое, белая вся больница. Вышла смотрительша, записала нашу фамилию,— «я, говорит, вас хорошо знаю... только навряд

вас доктор допустит, опасно болен». Пришел доктор, тоже все чего-то жует... как вскинется на нас, стро-гой очень: «никак, без памяти лежит анженер, я за него отвечу канпании! у него воспаление мозгов, сотрясение от войны, не могу допустить!» Закричала на него Катичка — «взглянуть хоть дайте!» — в расстройстве таком, по-нашему ему крикнула, а он не понимает, выпучился на нас. Ну, сказали мы ему по-ихнему,— дозволил. Повели нас. Чистота, сестрицы-синаторки, бе-ленькие, хорошенькие все, туфли велели мягкие, не шуметь. Привели в палату, а там те-мно,— в теми его держали! — чутошный огонечек синий, будто там упокойник лежит. А близко не допустили, а то испугать можно. Лечение такое, американское, мозги вот когда горят. И ти-ишь... под простынькой он, как упокойник, и на голове лед в пузыре, и сестрица неотлучно, за руку держит. Коленка у него стойком, только и видели. Третий день без памяти. Спросила Катичка доктора, а он рукой так,— ничего не могу сказать. Катичка так и закаменела. Обещали нам позвонить, что — как. Тогда и в собор ездили — молебен Скорбящей Радости служили. Артист тот и прицепился, говорила-то я вам. Два дни все не звонили нам, а мы знали, что хорошего нет, Абраша нам все справлялся. Приехали из собора, а нас он и дожидается, руки потирает: «радость вам, доктор знакомый мне в больнице, сам мне сказал — анженер ваш в соображение пришел, через два дни можно повидать!» Владычица-то услыхала, просияло нам солнышко. И артист тут-как-тут: «это я вам счастье принес, позолотите ручку!» Дала ему Катичка на радостях бумажку. А он — хи-и-трый, и говорит, грустно так: «что деньги, милиены через руки проходили, а один пепел остался! мне теперь деньги — что мертвому греку пиявки ставить». А только давай. И к Шалашу прицепился, все у Катички дознавал про Васеньку. Думается мне так, уж не нанял ли его идол следить за нами. Да что, барыня,— благородный! Был благородный, а теперь чучел огородный, совести-то нет.

Ну, доктору позвонили, а Абраша напутал,— раньше недели нельзя, говорит, тревожить. А ей лететь срок подходит, дилехтор требует. Шалаш прикатил, серебряный самовар привез, по квартире ходит, хозяин будто. Гляжу — Катичку по плечику — так это мне не пондравилось. А Катичка — все про Васеньку в телефоны. И идол, гляжу, тоже в телефоны, хозяин чисто. Стал кричать, а потом ощерился, и говорит Катичке,— она мне после ска-

зала: «я сейчас для вас милиен сделал!» — сам будто делает! А она ему так: «что мало? сто бы милиенов!» Сказала — по делу нужно, и шмыг. Он выпучился на меня — не ждал, как она обошлась-то с ним, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть меня хотел, прямо. Он ей вот какие брилиянты прислал, при карточке солидный господин привозил, с ихним городовым, а то все там жулики стерегут, как бы кого ограбить. Она и не приняла. Господин так рот и разинул. Шалаш приехал...— «почему отказали? жемчуг мой приняли в Париже..?» — «А каприз у меня такой, тут не Париж!» — вон как. Даже поклонился ей, шелковый совсем стал. Артист тот все ей говорил — «вы из него золотые веревки вить можете!» — известно, в карман заглядывал, шантрапа.

LVIII

Позвонили нам из больницы: можете приехать. Приехали мы. Его уж в светлую комнату положили, в сад окошки, воздух такой приятный, и цветы, и акварим с рыбками, совсем на больницу непохоже. Уж он в подушках сидит, лимон желтый. Виноградцу привезли, полезно ему. Сестрица нам говорила — все война ему виделась, голову ему жгло, все кричал: «сорвите эту коробку!» — про голову. Обрадовался нам, зубы още-рились, будто из гроба только. Ягодку взял — пососал. А руки — косточки как играют, видно. Заплакала я от жалости. Не до разговору ему, язык еще не наладился, с губами не совладает. Сказал мне:

«Знаете, няня... вы меня из огня вывели... за руку меня взяли, и воздух я услыхал, кончился мой огонь черный».

Ишь, черный огонь виделся ему! Велели нам уходить. Катичка все за руку его держала. Сказала — «поправляйтесь, а завтра я на работу уезжаю». А это он во сне меня видал, из огня я его подняла,— молилась за него. Она еще у него была, без меня. Приехала, говорит: «на квартиру его перевезут, ты с ним побудь». Ее воля, а я рада родному человеку пособить. Только непривычна я при мужчине-то, засомневалась, угожу ли. Стали мы с ней прощаться, все ей и отчитала:

«Долго,— говорю,— у вас мытарничанье это будет? Чуть до смерти не довела... он мне сказал — кончить лучше».

Она на меня — что ты мелешь? А я, сердца не удержу, все ей и выложила:

«Заноза в тебе засела! В Москве сама ему отказала, а если чего было, его воля. А он тебя любит».

«Не ври! — она мне.— Не отказывала я... какая была, такая и осталась, романов не было... и хочу верности!»

«Сама,— говорю,— не знаешь, чего хочешь, сумасброд ты. Письмо смертное тебе давал, не пожелала читать, от гордости. Все он мне печалился — зачем письмо не распечатал! Весь свет за занозу свою отдашь, а не покоришься. Все вы гордые, самодоволы, образованные... И папочка с мамочкой всю жизнь себя и других терзали... все мы да мы, все переделаем по нас! Вот и переделали, мызгаемся... от гордости навертели. И ты, от гордости, человека не проникаешь. Уж у меня с тобой сил не хватает, уеду я от тебя! — заплакала я, барыня, уж у меня жилочки здоровой не осталось.— Все вы ненастоящие,— говорю,— под людей только притворяются, на себя радуются только. Самодоволка ты, уеду от тебя, не могу!..»

Сердце тут у меня схватило. За доктором она, а я и себя не помню, по полу ерзаю. Доктор-мальчишка прибежал, дал каплев, а мне хуже от каплев. Повезла она меня в клиники, к ихнему первому професору, а там за неделю прописаться надо. Дала секлетарше сто рублей, нас и допустили. Четверо меня глядели, хорошего не сказали. Строгие капли велел, лежать в постели. Сиделку мне взяла. Абраше велела в телефоны ей звонить, а сама улетела.

В голову тогда мне: уехать надо! — дума такая одолела. Подумала — соскучится, приедет ко мне скорей, а то будут канитель плесть, да и Шалаш пристает, в кабалу ее заберет. И страшно стало: ну, помру я тут, в страшной земле! Спать не сплю — надо ехать, лучше будет. А сиделка, сидит — зевает, а деньги ей плати, и разговору от нее нет. Абраша прибежит — хоть в дурачки с ним сыграем, поговорим. Полегчало маленько с каплев, я и велела сиделке уходить: плати ей два-дцать пять рублей на день, да еще харчи наши. А она не желает уходить, присосалась: не вы меня нанимали! — Абраша мне рассказал ее разговор. Он тогда за нее взялся, уломал, слава Богу, дали ей сто рублей — только отступись. И стал меня утешать.

«И чего вам одной расходоваться тут, мамаша дорогая...— все он меня так: мамаша дорогая... мать-то у него померла,— к нам перебирайтесь, у нас и воздух легкой, и

в садике посидите, и папаша с вами поговорить может... а тут с барышни дерьмя-дерут, а мы бы и щи варили вам...»

А тут Васеньку на квартиру перевезли. Абраша сундуки наши куда-то свез, а меня к Васеньке перевез. Да недолго я пожила при нем.

LIX

Приехала я, в креслах уж он сидит. «Вот,— говорю,— доктор наказывал за вами походить...— Катичка так сказать учила,— все-таки свой человек, повеселей вам будет». Обрадовался: «спасибо доктору... очень рад, милая няня, погостите у меня». Хорошую комнату мне дали, теплую, и постель раскладную, из шкапа могла делаться. Главный анженер зашел, на меня поантересовался, за руку поздоровался. Недельку пожила — в синаторию Васеньку послали, на поправку. Много-то мы с ним не говорили, он больше свое думал. Рассказала ему про Гарта, как нас возил. Он и сказал:

«Катерине Костинтиновне не скучно теперь, много возле нее народу».

«Да крутится народ,— говорю,— а какая была, такая и осталась, как хрусталек чистый... ягодка свеженькая, без поминки».

Поулыбался даже, пощурился.

«Люблю,— говорит,— вас слушать, няня... говорите, говорите...»

Говорю — «надо бы уж как-нибудь разобраться вам, порешить, а то что хорошего, чисто вы журавь с цаплей». А он мне как надысь, сказал:

«Нет, заноза засела, все она будет мучиться. Не захотела тогда прочитать, а теперь поздно».

С языка у меня и сорвалось: «она и у той католички-змеи была, ничего только не добилась». Он словно и не поверил: «не может этого быть, гордая она таки, и пошла к такой..!» Да, говорю, больная была, в жару. Так он расстроился, и я-то расстроилась — обеспокоила его. Ну, увезли его в синаторию. Абраша к себе перевез меня, и осталась я сиротой. Дали мне комнатку-уголок, и старик мне пондравился, заветный такой, борода по грудь, Соломон Григорьич. Такой развлекательный, все разговаривали мы с ним. Кой-чего я ему сказала, доверилась. Все разобрал, по ниточке...— у-мный старик: «По всему вижу — лучше вам уехать в Париж отсюда, Дарья Сте-

пановна». Подумала и про вас — совета попрошу... вы эти дела лучше кого другого знаете, про романы. Старик только беспокойный, к старшему сыну рвался, Абрашу все корил: «закону не соблюдаете, глядеть на вас — глаза слепнут». А он старинного завету, правильный. По-новому у них все,— старик и скучал. Четверо детей, их к машинке сажали, бумагу совать; пакеты они клеили. И невестка подпихивала, и старик помогал, и меня для скуки обучили. И порошок потный сыпали мы в коробки, а Абраша все по делам, тыщи делов у него. Да какую-то бумагу стал покупать... биржи, что ли. Старик все ему: «пролетишь, Абрашка, с этими биржами!» А Абрашка все Катичку просил: «дознайте у мистера Шалаша, какую вам биржу купить, а про меня не поминайте». Шалаш ей и говорил, доставить удовольствие. Он и стал в деньги играть, шевровые полсапожки мне подарил! «Вы для меня золотое дно, мамаша дорогая!» — так все. Ничего, спокойно жила. Машинка только стучала, да клей они разводили, вонючий очень. В садике сидела, снежок потаял. А старик начнет поминать — жаловаться: «нет лучше нашей Тулы, я там на офицерей шил, спокойно жил». А как Пресню из пушек били, и в Туле у них шум был, он и напугался, к сыну в Америку уехал. А там женина родня в палестины свои сына-то сманила, он и звал старика к себе, а Абрашка еще на ноги не встал, старик при нем и жил. А старший правильно закон соблюдал, старик и рвался к нему. Весной собирался ехать. И у него карточка висела, любил глядеть: Тула наша, и солдаты с барабанами стоят. Все говорил: «на Московской улице магазин у меня был, вывеска золотая,— «портной Соломон»... а что я тут? селедкин хвост я тут». И мне все, бывало, говорил:

«Вы по колоколу — звону, Дарья Степановна, скучаете, я знаю. Вы к порядку привыкли, вам тут не годится, тут жизнь другого покрою, беспардонная».

И в собор меня провожал. Доведет, а сам в свою пойдет, а то так погуляет, подождет. Вот, думаю, и попутчик мне, в Париж ехать, на что лучше. Спать вовсе перестала, надумываю всего: ну, помру,— меня и сожгут! А там покойников все жгут, земля дорогая, за место цельный капитал отдать надо, да на сро-ок, ведь... а не будешь платить — и выкинут. Это не как у нас, на вечное владение, а будто за квартиру платишь. Думаю — сожгут, и крестика надо мной не будет, чисто собака я. А и зароют — забудет Катичка заплатить, косточки мои и выки-

нут, а то на завод отправят, пуговки точить...— Абраша меня пугал все. И апетиту нет. А они хорошо кушали. Старик и щи уважал, и поклеванный доставал, анисовый... и селедку копченую, и ки-льки... И хлеб они подавали вкусный, шафрановый, а в душу не идет. Стали сумлеваться: брезгую, может, ими. Все говорили: «не брезговайте нами, у нас чище кого другого».

LX

Приехала Катичка отдохнуть, увидала меня...— «что с тобой, няничка, похудела как?!» Да что со мной... жизнь такая, веселая. Опять мы в дом переехали, на высоту. И все не сплю, все думки мои — надо мне в Париж ехать. Не вытерпела, сказала: «сердись — не сердись, а отправь ты меня в Париж, не хочу в земле в этой страшной помирать, сожгут тут меня». Она даже испугалась:

«Да ты что, с ума ты сошла? Лучше я тебя в сумашедчий дом отвезу».

«Чего меня отвозить,— говорю,— тут и так сумашедчий дом».

Стала кричать на меня: «что ты своеволка какая стала, скандальщица? чем ты, чумовая, недовольна?» — «Спокою у меня нету,— говорю,— весь свет наскрозь прошли, а все мало... довольно с меня, и чугун когда-нибудь лопается».

«Нет, ты больна, чушь городишь, в Париж тебе захотелось! ишь, какая парижская... по трясучке своей соскучилась, по Марфе Петровне? косточки не с кем перемывать? Нет, ты больная».

«Надо же когда-нибудь и заболеть,— говорю,— не железная я, жилки во мне здоровой не осталось. Отпусти меня в Париж, и знакомые у меня там, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю...» — много я ей сказала.

Нет и нет мне покою, думы одолели: ну-ка, наш дом завалится! И сердце заливает, не продохну,— капли все пила. Катичка ночью, бывало, встанет, считать их надо, строгие очень капли. И с тела спала, юбка не держится,— она и затревожилась: «ты страшно, нянь, похудела... уж не сурьезное ли что? — глазками заморгала-заморгала,— поедем, одевайся». К первому доктору повезла, от всех болезней. Он меня всеми машинками смотрел — пытал, и пальцы свои топырил, в глаза мне тыкал, все спраши-

вал — сколько пальцев? Будто я ему дурочка, двух его пальцев не усчитаю. И хребет становой давил, и под коленки стучал, и молоточком по косточкам пробирал, а Катичка меня выспрашивала, чего я чую... докладывалась ему. Две еще докторицы его со мной старались, раздеться велели, повели на ступеньку встать и каку-то доску приставили к животу, и выпить приказали, такую вот банку, сметана, будто...— такое лечение, американское. Изжога, говорю, бывает,— они и стали меня томить, в огромадные очки на меня глядели, на доску на ту, а через нее будто все видать. И те-мно, и гудит чего-то... ну, иликтричество, уж известно. Больше часу меня томили. Главный руки помыл и все Катичке и доложил про меня: и сердце, говорит, хорошее, нельзя лучше, и мозги ничего, хорошие, и все суставы мои хорошие, а самое главное хорошее, нутро мое... как у молодой, все равно, даже и невидано никогда, истинный Бог... а ни одной-то жилки здоровой нет! Ей, говорит, долгой спокой требуется, а то обязательно с ума сойдет. Так и сказал — подписал. Она ему и скажи: да вот, заладила в Париж ехать... нет ли чего в голове у ней. Стро-го так поглядел, помычал...

«Отправьте ее в нашу синаторию, на цельный год, она спокою хочет!»

Сказала мне Катичка — «вот, требуют в синаторию отправить к ним, на цельный год»,— я и заплакала. Ну, он как узнал, не хочу-то я...— хошь на месяц ее отдайте, мы ее всю рассмотрим, развлекем. Повезла она меня домой, я плачу-разливаюсь: вот, заслужила... в сумашедчий дом хотят засадить. Ну, она меня успокоила,— не отдаст, мол. А тут Соломон Григорьич проведать меня зашел. Узнал про синаторию, и говорит:

«Они вам на синаторию насчита-ют! Лечили так вот банкира одного, он и лопнул. Дарья Степановна мне известна... пустите ее в Париж, а то ее тоска убьет тут».

Умней не скажешь. А Катичка свое: «с ума надо сойти, ехать ей... она и на улицу-то боится выйти!» Артист пришел, про пиявку-то все... тоже заступился, напугал. «Она,— говорит,— на моих глазах, как спичка стала. Тут все старушки, как мухи, помирают, воздух вредный!» Ну, поняли мы — насмех он, балахвост, невзлюбил меня. Досматривала за ним, никогда одного в покоях не оставляла, без Катички как зайдет, он и фыркал. Ну, правда, барыня, что артист... да нонче он артист, а завтра в остроге от него отмахиваются. Вон бес-то тоже такой артист, а сразу жуликом стал, дачи чужие

грабил... а этому колечко беспризорное приглядеть — и не воздохнет. Да ведь совести-то у них нет, барыня... под человека притворяются. Стала она тревожиться: «что ты в голову забрала... еще погибнешь, заблудишься!» Повезла в синаторию меня. Да нет... Васеньку проведать: будто соскучилась я об Васеньке. Поправился он, узнать нельзя. На горе место, снег... на санках они катаются, от болезни. Хорошо говорили, ни спору, ни... И говорит ему:

«Новости у нас, няничка наша с ума сходит, в Париж собирается».

Он даже не поверил, призадумался...— «что ж,— говорит,— значит, по ней так лучше». И он будто за меня вступился.

LXI

Уж она меня уговаривала, а я свое: «я,— говорю,— всегда покорная была, а тут ты меня послушай: каяться век будешь, ну-ка я тут помру! а там я с людями посоветуюсь».— «О чем тебе советоваться, какие у тебя дела такие?» — «У меня душевные дела, и поговею там... а ты по мне соскучишься, скорей из этого ада вырвешься». Билась-билась со мной...— «Ну, что мне с тобой, с чумовой, делать! в больницу тебя отправить, а мне жалко тебя...» — заплакала. И я заплакала. «Катюньчик,— говорю,— сделай ты хошь разок по мне, сама скоро ко мне приедешь, сердце мое говорит...» Прижалась ко мне, как рыбка затрепыхалась, деткой вот как была. «До зимы я пробуду тут, бумага меня связала...» — «А ты, говорю, возьми и выпиши меня, как соскучишься!» — весело ей сказала, сердце так заиграло, с чего — не знаю. Так она заглянула мне в глаза... «Ня-ничка!.. как же я тебя измучила! — будто тут только увидала,— прости меня за все, ня-ничка... прости!..» И заплакала-захлюпала, как маленькая когда была. Не могу, барыня, говорить. Вспомню, как на меня глядела... не могу.

Отпустила она меня. Всего-то мне накупила... и белья, и платье новое, синелевое, и часики мне на руку, непривышно так, а время все при мне будет, от скуки погляжу,— ну, всего-всего, будто она меня замуж отдает. И сласти всякие, винны-ягоды я уважаю... и монпасе любимой, банбарисовой, кисленькой. А она новые мне зубы поставила...— глядите, барыня, какие у меня зубы-то, бе-лые, хорошие... все теперь есть могу,— орешков

мне в дорогу. Абраша бумаги мне выправил, и ви-зу, и сундучок отправил,— садись только, поезжай. Да, забыла сказать... Анна Ивановна, милосердая сестрица, святая душа, письмо Катичке прислала, разыскала. Уезжать мне, а утром письмо нам подали, из Филь... вот-вот, из Фильляндии, убежала от большевиков. По газетам узнала про Катичку и написала на Америку. Такая нам радость... хороший это мне знак был. Помнит меня: жива ли нянична наша милая,— спросила. А я жива.

И Соломон Григорьич со мной поехал. Старики ихние пришли проводить, и Абраша... и со мной хорошо простился, даже и не думала, какой душевный. «Скушно будет без вас, мамаша дорогая, привыкли к вам... такой уж не будет больше у нас, в Америке»,— вон как, будто родные мы. Да ведь с одной стороны-то... А супруга его меня поцеловала, связочку на дорожку сунула, шафрановые булочки. На корабль все взошли, прощались. А мы с Катичкой только друг дружке в глаза глядели, говорить не могли. Загуде-ел свисток — велели им уходить, платочком все Катичка махала, и все махали... и не видать уж стало, дым только. А скоро я и тошниться стала, Соломон Григорьич заботился, все меня развлекал... даже нас за супругов принимали.

Вот вам все и сказала, барыня. Напишете, может, ей поласковей как, присоветуете чего... не мне вам говорить, сами лучше другого кого сумеете. Два денька у вас нагостила, уж так довольна. И барину от меня низкий поклон скажите, дай ему Бог здоровья, в делах успеха. Покорно благодарю, уж беспременно вас навещу, хорошего чего узнаю.

Здравствуйте, барыня-голубушка... опять к вам в гости, Господь привел. В ваших краях была, у генеральши Ширинкиной,— слыхали, может. Вот-вот, хорошая такая дача... только она комнатку сымает, у знакомых. Просвирку поручили мне передать, другой месяц она лежит. А я слободная теперь, все делишки поделала, по знакомым вот и хожу, дома не усижу. Ну, что вы шутите — помолодела! Помолодеть не помолодела, а как-то я растряслась, в Америку бы сейчас поехала... ездить уж обучилась, народу не боюсь. Есть, голубушка-барыня, как не быть новостям... у меня новостей со всех волостей, полон короб, в себе не удержу. Да уж такие, давно таких не было, на-люди просятся. А вот, уж по череду все, а вы и

рассудите... а я-то уж не знаю, как и думать. Да, похоже, хорошо все.

Покорно благодарю, у генеральши пила, и закусила, а от чаю не откажусь. Палка на палку плохо, а чай на чай — пресенская качай, в Москве у нас говорили, бауточка такая. Да вот, расскажу. Кому и рассказать-то, как не... Генеральше я уж не стала рассказывать всего, она наших делов не знает, так кой-чего порассказала, порадоваться. А вы уж про все знаете, и рассказывать антересней вам. Спать не могу, чем-свет вскочу — куда-нибудь и надумаю пойти, на месте не усижу... сама с собой разговариваю, на бульваре посижу, воробушки слушают.

Ну, вот... маленько задохнулась... как и начать, не знаю. А ведь я к вам каяться пришла, истинная правда, барыня... ведь я всего вам не сказывала, всей-то правды, про себя держала... примета у меня такая, расскажешь чего заранее — спугнешь наладку. Задумал чего — на-люди не кажи, про себя сторожи. Грех на душу взяла, утаила от вас маленько... самого-то главного и не сказала, уж простите. А теперь, дело прошлое, все скажу. Я ведь не попусту сюда приехала, в дорогу такую пустилась, не из капризу... оставила бы я Катичку! Ни в жись бы не покинула, а вот, рыскнула. А скажи ей всю правду, нипочем бы не отпустила. А вот, расскажу... Узнай она — веревкой бы меня привязала, я ведь ее как знаю... гордая она, нипочем бы не согласилась. А уж так мне Господь, на мысли послал — поехать. Я уж как сумашедчая тогда стала, не ела — не пила, ночей не спала... на страсти какие еду! Да не то что дороги я боялась... смерти я не боюсь, потопну ли, воры ли меня оберут-зарежут,— это мне ничего не страшно. Другое страшно...— к человеку идти такому... а он и насмеется, все на-пустоту и выйдет, сердце не выдержит, на страшный суд словно бы иду. А вот тут самое и есть главное.

Вот я все и скрывала, от Катички, а она меня к докторам все. Ну, болеть — болела, да болезнь-то моя не телом, а сказывается, понятно. А он меня как напугал, в синаторию хотел запереть! Ах, забыла вас поблагодарить-то, барыня... Да нет, я самое главное по череду вам, а тут чтобы не забыть я... Дай вам Господь здоровья, каждый день поминала вас. Авдоть-Васильевна-то... сыска-лась! Как вы тогда в газету напечатали, через два дни сыскалась. Сыскалась, милая барыня... знакомые показали ей, печатали-то вы...— тут она оказалась! Не

в Париже, а... как это место... заводы там, забываю их слова? Мортаны, что ли... ржи..? Вот-вот, Мотаржи, самое это, верст сто за Париж наш. Как же, была у меня, две ночи ночевала. Комнатка ослобонилась под Марфой Петровной, взяла я комнатку, по-барски живу, и гости все у меня... и батюшка святой водой кропил, а то там агамит жил... лицо желтое-желтое, глаза косые...— он мне и освятил. Желанную мою приласкала, душу отвели с ней, наговорились. А супруг у ней в Белграде помер. А сын без ноги, офицер, новую ему сербы приделали, на пружинке. Лавочку там держали, от сердца супруг и помер, замаялся. Они сюда и перебрались к нам, место сынку за сторожа знакомые схлопотали. А она белошвейка, золотые руки. Два платья ей подарила, сколько сама от нее видала... а она стеснительная такая — не надо и не надо! Катичка вот приедет — на ноги их поставит, попрошу. А она по курочкам с ума сходит. И сынку бы способней, при доме-то, при хозяйстве. На курочек и копят. Да что еще... ро-ман-то какой выходит...— француз-лавочник в Авдотью Васильевну мою влюбился! Роман и роман страшный. Сынку двадцать семь уж, а ей сорок пять вот стукнет, да ей, правда, и сорока не дашь,— белая, глазастая, важеватая такая, и пополнела она, рассыпчатая такая стала,— а в поезде тогда встретила, она худая совсем была, не узнать,— и ростом вышла, и ротик форменный, не размякся, и морщинок ни одной нет... он в нее и влюбись! Вдовец, и богатую ему сватают, а он и слышать не хочет, все добивается. Хоть в лавочку, говорит, не ходи. Хотят уж перебираться оттуда,— проходу не дает, обмирает. Да что еще-то..! Казак увязывается, тридцати лет нет, чумовой дурак, полторы тыщи в месяц выгоняет... ходит к ним каждый вечер, образованные книжки все читает, придет и сидит — глядит. Да чего сказал-то: не выйдете за меня — застрелюсь! Не знает, что и делать. По секрету она мне, каялась: ндравится ей казак, да сынка стыдится. А казак ей — «успокою вас и сынка вашего, будете курочек водить, а я за вами буду ходить... красавица ты моя, выйди замуж за меня!» Два креста геройских, собой красавец, все французские девки с ума сходят. Хочет в Париж от него спасаться, ее в ресторан зовут, к закусочному столу, апетитная она такая, и с каждым обойтись может, расположить. Триста поклонов каждую ночь кладет, мысли гонит...— а все не худею, говорит.

И что это я разговорилась, ненужное все болтаю. Ну,

рассказала ей про все, она меня и укрепила в заботе-то моей. Разложила-разобрала... а она умная-разумная, умней нет...

«Идите,— говорит,— Дарья Степановна, с Господом, не бойтесь. А наперед молебен отслужите Купине Неопалимой, гнев вас и не опалит...— а вот, послушайте, какой гнев...— и владычице Страстной отслужите, страха вам и не будет».

И погадала она мне. Хорошо выходило, только не скоро... в постели она лежит, больная. Да нет, не Катичка, слава Богу, а эта... самая католичка-монашка. Уж теперь скажу, барыня... правду я дознавать приехала, узел наш развязать, графыня-то нам запутала, а горбатенькая, кузина, накрепко затянула. Да, барыня, поняли теперь... вот зачем я сюда попала. Все уж вы знаете, как истерзались мы... думы меня и одолели. Не выйдет у них, так и будут друг дружку мучить, заноза ее замучает... с горя бо-знать чего и выкинет, только себя погубит. Ведь она надрывная, в мамочку, и пистолетик вон завела. И молилась я, а дума меня точит, страсти все представляются. И надумала — надо до католички дойти.

Вы уж не торопите, милая барыня... сладко мне говорить, сразу-то неутешно будет. Чисто я кошка вот. А как же — не повалявши, куска не съест. Радуюсь-то..? А терзалась я сколько, не помню — когда смеялась. Сколько у меня новостей... Анна Ивановна приезжает, Господь устроил, и Авдотья Васильевна со мной... и думаю так я, барыня,— все хорошее повернется к нам, сердце вот достучит ли только. Ну, что уж Господь даст.

Адреска я ее не знала, а спросить у Катички не могу,— ну-ка, поймет она! А фамилие у ней с графыней одинакая. Подумала — найдутся в Париже люди, граф Комаров всех князей знает, а то в адресном столе справочку наведут. Приехала к Марфе Петровне, говорю фамилию... Галочкина-графыня,— и граф Комаров не знает: такой, говорит, у нас нет. Ну, разобрался он... Галицкая она, как вы вот говорите. Стал справки наводить, да старый, забывал все...— и очень она забилась-то далеко, а под Парижем. А адресного стола, говорит, здесь нету, здесь только каждый свой адрест знает. И я терзалась все, и у вас-то была намедни,— не знала адреска-то. Авдотья Васильевна счастье и принесла: только сыскалась, вскорости Марфа Петровна адресок от графа Комарова и принесла: узнала я католичкин дом, монашки ихние живут где. А ей не сказала, а так — занадобилось,

говорю, родные из Америки поклон прислали, снести надо. Единой Авдотье Васильевне сказала,— как себе верю. Она меня и поехала проводить, а то запутаюсь, без языка-то.

Ну, приехали мы с ней,— высоченный забор кругом, и ворота глухие, а в них калиточка, а в ней окошечко открывается. Богатое-разбогатое именье, сады все, старые дерева, уж распускаться стали, апрель месяц. На монастырь непохоже, а вроде как богадельня, колоколов не слыхать. Позвонились. Подошла монашка, окошечко открыла, оглядела нас...— видит, хорошие мы люди, калиточку приоткрыла. Чисто так одета, в синем платье, белый кораблик на голове, трахмальный,— наряд ихний, мне ндравится. Спрашивает нас, по-своему, а я не знаю, как говорить, и Авдотья Васильевна тоже немного подучилась, все-таки поздоровалась. А она скромная такая, краснеет все, у ней слова-то и не находятся. Мы и подали бумажку: прописано звание ее, католички,— сестра Бетриса. Авдотья Васильевна хорошо ей сказала — «мамзель рюсь»! Она закачала корабликом, махнула за нас,— ничего мы не поняли. Поехали назад. Позвала я шофера, под нами жил, Николай Петрович, офицер... он хорошо понимать умеет. Поехали. Побеспокоили опять монашку, он с ней и поговорил, дознал. Она зимой еще заболела, католичка-то, ее в синатории послали, обещались в маймесяце вернуться. Больше месяца ждать. Погоревали — поехали.

Такая незадача. А тут письмецо от Катички, прочитали. Идола того пистолетом прогнала,— пишет,— очень наглый, и даже ей трюму разбил трубкой, очень горяч. Она его и выгнала пистолетом. А про Васеньку хоть бы слово. А тут и от Васеньки открыточку получила, с «Христос Воскресе», в Париж скоро обещается, с дилехтором. Не знала и не знала, что уж будет. Ну, поговела, встретила Светлый День, а Праздника нет и нет. Истревожилась, заслабела. Три раза мы ездили к монашкам,— все лечится. Просили монашку — письмецо прислать, приедет когда, и на марку оставила. Пасха у нас девятнадцатого числа была, по-ихнему считать, а я как раз на Вознесенье Господне открыточку получила, французскую...— у меня руки затряслись. Прочитали знающие,— приехала католичка. Только я от обедни, не ела, не пила — поехала. Повез меня Николай Петрович. Как я доехала, не помню. Вылезла из автомобиля, ноги отказываются, чуть иду. Николай Петрович мне: «на вас

лица нет, Дарья Степановна, что с вами?» Дыхнуть не могу, сердце вот подкатилось. Как я пойду... не дойду до нее, пожалуй? Позвонился он, слышу — стучит монашка по камушкам. Смотрит на меня — признала. Сказала шоферу — спрошу сестру Бетрису, примет ли она. А у ней была записочка моя, кто такая сестрицу спрашивает. Посадил меня Николай Петрович на лавочку у ворот, а у меня губы дергаются-дрожат, плакать я принялась. Он мне — что с вами, что с вами?..— а я выговорить не могу. А он знал, что я сюда езжу: сказала ему — монашка тут католичка, наша русская, проведать мне наказали. Он еще сказал: «от веры отказалась! это все алистократы мудруют... она не из алистрократов?» — сразу угадал. А тут та пришла — позвала меня. Насилу я поднялась. Они меня оба подымали. А у них сук рубили над воротами, чуть меня не убило, упал сук... монашка на рабочего закричала. Думаю — не к добру, сук упал, за платок меня зацепил. Прямая дорога, плиты все, через сад, к большому дому... много там домов, старинные, серые. Ле-стницы..! Буду я помнить лестницы эти ихние, ступеньки каменные... пудовики в ногах. Меня уж монашка под руку подымала. И все-то лестницы, темные, старинные... холодок, а с меня пот льет. Вверх, а там вниз, а там через другой сад, напута-но... и опять лестница, по колидорам шли, посадила она меня дух перевесть... а навстречу монашки, тишь такая, только одеяния шуршат. А в колидоре канареечки пели. Повела опять, наверх... будто меня замотать хотят. А я все Богородицу читала. Дверь высокая, черная, старинная... крест на ней белый-костяной, врезано так. Постучалась она, ти-хо... слышу — антре!

Открыла она дверь — дерева я увидала, сад... окна огромадные, раскрыты, и кусты там, на солнышке, жасмин, пожалуй,— белые все цветочки. И воздух легкой такой, духовный, дорогими цветами пахнет. Осталась я одна, ушла монашка моя. Комната большая, высокая, синяя вся... чисто-та!.. полы паркетные, коврики... белая постелька, ангельская, а над ней большой черный крест, в терновом венце Спаситель, налепленый, и лампадочка теплится... и столик, кружевцами накрыт, у изголовья... убрано хорошо так, и статуички на нем, святые... и картинки все по стене ихние, святые-мученицы. И еще столик у окна, раскрышной, а у столика на креслах она, книжку святую держит, вся белая, будто в сарафане полотняном, голова платочком белым повязана... же-о-

лтая-желтая лицом, личико длинное, востренькое... волос не видать, а болондиночка словно, годов за тридцать. Уж потом разобрала я: маленькая-горбатенькая, и похрамывает. А собой миловидная, ничего, тонкая-то-растонкая, сушеная прямо... ручка иссохла, восковая, глядеть страшно, и губы серые, поблеклые. Сразу мне бросилось, минутки не прошло...— она на меня глядит! Глаза черные, вострые, так в меня и впились. Я ей с порожка ни-зко так поклонилась, на пол чуть не упала, ноги не слушают. Посмотрела на меня...

«Что вам угодно?» — по-нашему меня спросила,— голос осиплый, слабый.

А я просто одета, как мы все ходим, русские настоящие,— а праздник был, Вознесение Господне,— на мне серенькое платье было, шерстяное, московское, и легкая у меня накидочка, черная, шелковая... не со стеклярусом, барыня, а другая, попарадней. Ну... что, мол, вам угодно. А я слова не выговорю, только — «барышня... милая барышня...» — больше не подберу, и слезы у меня. Поняла она — плохо мне,— подошла ко мне, за локоток взяла-поддержала...

«Вы такая слабая... садитесь,— говорит,— вот тут». На стульчик мне показала, у дверей. Ничего, ласково так глядит, ждет, чего скажу. Усадила меня, а сама на свое место села, четки стала перебирать... длинные у ней такие, чуть не до полу. Сидит и считает-перебирает.

«Я, говорю, Дарья Степановна, Синицына, из Москвы... к вашей милости...»

Она молчит, ждет. А я не могу дальше-то, подкатило.

«Ну, госпожа Синицына, чего же вы от меня желаете? — спрашивает меня.— Может, вы нуждаетесь?»

Сдавило мне, у глотки, головой покачала, сама плачу.

«Простите, барышня... ваше сиятельство...— говорю,— ослабла я, дух не переведу. По делу к вашей милости...»

Пошла она к камину, водицы налить. А на камине крестики на горочках стоят, и статуички, и большое сердце висит, матерчатое, тугое, будто огонь красный из него, шелками сделано по камину, очень искусственно. Налила водички, дала выпить, а вода словно мяткой пахнет. Поперхнулась я, забил меня кашель. А она глядит — ждет. А я все кашляю, сердце вот выскочит, дыхнуть не могу, в глазах мушки. Пошла она на свое место. И слышу, в тумане будто...

«Да вы кто такая, по какому делу?» — чисто так говорит, маленько только с запиночкой.

«А я няня из Москвы...» — говорю. Она будто удивилась:

«Чья няня, какая няня?.. от наших родных вы?..»

А я заладила, слов не подберу:

«Няня из Москвы я... ваше сиятельство...»

«Так я и думала,— говорит,— что вы няня. У нас такая же няня была, очень похожа, только она давно померла».

Ласково так сказала, прояснилась... вспомнила, может, как она тоже русская была, а теперь католичка стала.

«Вам, пожалуй,— говорит,— много лет... и больны вы, милая няня».

Даже я подивилась, как она меня пожалела. И все Богородице молюсь, Страстной: умягчи сердце, утоли страх.

«Как же, барышня, ваше сиятельство...— говорю,— семьдесят пятый мне, и сердце у меня неправильное, боюсь всего...»

Ни с чего ей — боюсь-то. А она вострепенулась так...

«Да чего же вам бояться, тут ворогов нет... тут у нас добрые люди живут, успокойтесь, милая няня...» — ласково так, заплакала я с ласки.

«Знаю,— говорю,— добрые тут люди, святой жизни... к ним и пришла, Господь меня наставил... к вам, милая барышня... не к кому мне больше...»

Хорошо так сказала, Господь навел. А самое страшное и подходит. А сказать не умею, как... поскладней бы, ее бы не обидеть, в гнев не ввести.

«Видите,— говорит,— сами знаете, какие люди тут...— чисто с малым ребенком.— Ну, что я для вас могу сделать, чего вам нужно? или у вас поручение какое, послали вас ко мне?..»

«Ни одна душа,— говорю,— меня не посылала... ни одна душа не знает, зачем и до вас дошла, я два месяца вас ждала, с тем и из Америки приехала...» — складно так ей сказала. Так она удивилась!

«Как, вы из Америки?!. нарочно, ко мне?!. Вы же сказали — няня из Москвы, а говорите теперь — из Америки приехали??.»

А я и говорю, язык развязался...

«Это меня судьба носит, и я везде была... места такого нет, где бы я не была. Я, говорю, и в Эн-дии была, судьба моя такая, бродяжная-горевая... беспричальная... а сама я ту-льская, Тульской губерни, Кра-

пивенского уезду... коли слыхали. Река Упа у нас там, с той реки я и буду».

«Как же,— говорит,— мы соседи с вами, именье наше было...— место одно сказала... погодите, барыня, вспомню..? — Соседи мы, Орловской губерни, Болховского уезду, и у нас река Ока...— сказала-улыбнулась.— Ока у нас...»

«Как не знать,— говорю,— большая река, а у нас махонькая, Упа. Я про ваше место очень хорошо слыхала».

А не могу сразу-то сказать. А она ждет.

«Ну, вы меня ждали. Что же вам нужно?»

«Милости вашей, ваше сиятельство... правды божией нужно, душевной милости. Ослобоните мою душу, милая барышня!..» — сказала, из себя вырвала.

«Ми-лости.?! — так это, на меня, удивилась словно.— Я не понимаю, что вы говорите, какой милости?..»

«Душевной,— говорю,— вся истомилась-истерзалась, не сплю, не ем, на свет бы не глядела... с вашей милости подымусь, к одному бы уж концу, по правде только. В себе утаю, в случае чего... ни единая душа не узнает, по правде только... может, Господь по мысли вам даст..?»

Вытаращилась на меня, не понимает, опасается меня словно. И правда, барыня, после-то я подумала, небось она меня за сумашедчую приняла.

«Успокойтесь, няня,— говорит,— скажите просто, не плачьте. Какой вам от меня правды надо, какой милости? Скажите, что я могу — я сделаю».

Тут самое это и подошло: всю правду надо сказать. И говорю:

«Я,— говорю,— Катичкина няня, и Васеньку вот какого еще знала, и вашу сестрицу знала... они меня обласкали, царство небесное, вечный покой...» — грех на душу взяла. Ну, какое ей царство небесное, мучается там, такой грех...

Она так это... с креслов поднялась, к окошку оборотилась. Тут я и увидала — горбатенькая она. И вижу — глазом все дергает, и губами так,— на щечке у ней жевлачки играют. Оборотилась ко мне:

«Вы где же мою Велентину видали?»

«А в Крыму видала... она меня,— говорю,— поцеловала, в самый тот день, как кончилась... оступилась нечаянно в овраг...»

Грех на душу взяла, неправду сказала, ее бы не тревожить. А она затревожилась, к окошку отворотилась, четками зашумела. А я молчу, себя не чую. Она и говорит, на сад:

«Такое несчастье...— по-ихнему стала говорить, не разобрала я... может, молиться стала, четки задергала, а я молчу, затаилась.— Такое несчастье... А как она вас видала, где видала... у кого вы жили?»

Я тут и предалась ей, раскрылась...— ну, что уж будет, один конец.

«Барышня,— говорю,— ваше сиятельство... помилуйте, окажите божецкую милость... и вас няня жалела, при вас бы была, коли бы жива была. И я всю жизнь при барышне своей, при Катичке моей...»

Так и настражилась! цветочки на окне стала теребить...

«Вы у кого служили, при какой барышне?..» — строго так.

Стала ей говорить, слезы потекли, не вижу ничего... сползла на половичок, не помню как... она меня подымает, слышу...

«Что вы, зачем... не надо, успокойтесь...»

«Не серчайте,— говорю,— милая барышня, ваше сиятельство... простите меня, глупую... не к слову чего скажу, душу ослобоню...»

Посадила меня на стул, по плечу так, милостиво...

«Ничего, ничего... все говорите, не бойтесь».

Пошла от меня, на кресла села, книжечку открыла... и опять закрыла.

«Я,— говорю,— не сказалась им... измучилась на их терзанья глядеть, собралась — к вам поехала, уж один конец. Скажете чего — так и поверю, вечно Бога буду за вас молить... все вы знаете про сестрицу...»

Все и выложила, как Господь навел. Как каменная сидела. Откинулась на спинку, ручки так, крест-накрест, ножки вытянула, гру-устная-разгрустная. Ничего меня не перебивала, ни словечка. Всего где же сказать, а сказала — все она поняла. У-мная, по глазам сразу видно,— в себя глядится.

«Я поняла,— говорит, спокойно так, не ждала я.— И вы хотите всю правду... всю?»

«Как вашей милости угодно, что Господь вам на душеньку положит,— говорю,— мне помирать скоро, правду вам говорю — самовольством я все, надумала к вам... ни одна живая душа не знает».

Она, может, минуток пять молчала, четки перебирала. А я по стенам оглядываю... увидала Господень Крест, а на Кресте Спаситель; а на главке терновый венец, настоящий колючий... и Спаситель не написан, а настоя-

щее Тело Христово, и колючки-шипы, и по главке кровь течет, от колючек! И она туда оборотилась, на Спасителя. Потом встала, подошла ко мне, положила ручку на голову мне, на платок...

«Няня... вы за правдой ко мне пришли...» — в глаза мне поглядела, в слезы мои поглядела... и вздохнула,— жалко даже мне ее стало.

А я ей про то письмо помянула, говорила когда...— правды, мол, мы не знаем, чего в письме, и она его не печатала, и мучается, а волю покойной не нарушала... а сумление в ней... они и мучаются. А горячее слово сказано, заноза и засела, му-ка... И про письмо не просила, правды только просила.

Ну, все она поняла, будто в душу мою глядела. Пошла к столу, открыла ящичек. Старинный стол, все-то в нем ящички. И вынимает... самое то письмо, с печатями, как власти припечатали, пять печатев! Признала я его, трепаное оно. Вспомнила, как трепали, и по полу-то валяли, и под тюфяк его прятала, руки оно мне жгло.

«Вот,— говорит,— вся тут правда. Дозволяю вам, прочитайте».

А я неграмотная. Сказала ей — заплакала. Подумала она, в окно поглядела:

«Хорошо, возьмите... пусть мне возворотят. Ничего больше не надо?»

«Ничего, ваше сиятельство,— говорю,— покорно благодарю за милость вашу».

Не помню всего, закачалась я, упала со стульчика... Она меня подняла, в колокольчик позвонила. Гляжу — монашки мне чашечку дают, тепленького питья, липового чайку. Две чашечки выпила, отдышалась. Она, милая, и говорит:

«Желаю вам, няня, спокой душе. А как успокоитесь, навестите меня, рада буду».

Ангельской доброты она. Ручку поцеловать хотела, она не далась.

«До свиданья, няня...» — сказала, ласково.

Вывели меня монашки, довели до ворот,— меня Николай Петрович ждет. Солнышко такое, птички поют,— ну, самое Вознесение на небеса! Довел он меня на шестой этаж, обезножела я совсем, дрожу вся...— не знаю, в письме-то чего написано. Марфа Петровна прибежала,— «что с вами, Дарья Степановна, на себя не похожи!» Лихорадка, говорю, треплет. К Авдотье Васильевне сил нет ехать, а письмо меня жгет, правда со мной вся тут.

Попросила оказать божецкую милость, телеграмму Авдотье Васильевне послать,— приехала бы, плохо мне. А не сказываю Марфе Петровне, чисто краденое храню. Она на язык невоздержная, пойдет трясти по городу, сказать-то ей про письмо...— вот я и притворилась будто. Да и правда, больная вовсе.

Думаю про письмо, дрожу. Ночь не спала, письмо под подушкой, спокою не дает. Подумать, чего слово человеческое может! письмо-то. И не говорить, а... Поутру Авдотья Васильевна прилетела, напугалась. А тут Марфа Петровна вертится, чего-то чует, хочется ей узнать. Шепнула я желанной моей, она сразу поняла,— к доктору едем! Мы и поехали, на бульварчик. Сели на лавочку, стала она мне письмо читать... а письмо-то француз-ское! Она и не понимает, буковки только может прочитать. Ну, что нам делать? К вам, барыня... да близкий ли конец, к вам! А у меня сердце горит, правду узнать. Надумала я: к графу Комарову, все может прочитать. А я у них бывала, помнила место хорошо, неподалечку живет. А он уж блаженный стал, всем услужить рад. Купила ему гостинчику — халвы четверку, халву он любит... осьмушечку чайку, лимончик... наняли таксю, в две минутки нас подкатил. Денег уж не жалела. Застали мы графа Комарова, куколки сидит-красит. Поклонились ему гостинчиком. Усадил нас на ящики,— бе-дно живет,— на Авдотью Васильевну мою залюбовался. А она так графов уважала... в Москве все книжки про графов прочитала, антересовалась так,— а тут живой граф, в гости к нему пришли. А она засте-нчивая такая, сидит — разгорелась, розанчик живой стала, графыне не уступит... и шляпка у ней горшочком,— ну, парижская красавица прямо стала. Подали ему письмо — так и так, сделайте такое ваше одолжение, ваше сиятельство. Он и посмеялся Авдотье Васильевне моей: «А еще в Париже живете, как же так! Француз какой-нибудь вам приятное написал, про чувства, а вы не можете прочитать. Давайте, в месяц вас обучу, сами будете приятные письма писать».

Любовался все на нее, шутил. А нам уж не до шуток, едва сижу. Ну, стал он читать прямо по-нашему,— ничего я не поняла. Авдотья Васильевна уж растолковала... а я и смеюсь, и плачу, хорошее письмо-то очень. Не выпустил нас без чаю, Авдотье Васильевне куколку подарил — русского молодца, пошутил: «лучше француза будет, как раз по вас!» Она прямо со стыда сгорела: казака ведь ей подарил! блаженный-то он... прочуял! Ну, попро-

сили мы его сиятельство, графа Комарова,— уж будьте так добры, никому не сказывайте, это секрет наш тайный. А он смеется: «Как можно, я действительно тайный генерал,— вот-вот, так и сказал, вы-то как говорите,— советчик я тайный,— я,— говорит,— все тайны держу-храню и советы подаю... вы в самое место попали, приехали ко мне».

Ножкой даже Авдотье Васильевне пошаркал, такой любезник. Она так и законфузилась. Ну, думалось ли когда, в Москве-то жили... вот и довелось, за ручку с графом поздоровалась, чайку попила. Ну, хорошо. Все она мне растолковала, все я поняла,— камень с души свалился. А письмо-то вовсе коротенькое было, вот такое, вершочка три буковок. А вот чего написала, какая была правда... Значит, так: она, графыня та, не посмела сестре-кузине неправду написать... католичка-монашка она, да смертное ведь письмо... самый последний человек не может неправду в смертной написи допустить... ведь правда, барыня? — она и не осмелилась солгать. Она всю правду истинную написала, горькую правду всю. Значит, так...— я, говорит, самая несчастная, и любовь моя была безответная, а я все на жертву принесла... Она, может, и думала, женится на ней Васенька, а он и разговору не начинал. Узнала она,— Катичка его невеста старинная, и опять у них дело сладилось, она и поняла: не на что ей рассчитывать теперь, и жить надоело ей, и вот она самовольно и кончает жить. И все, и больше ничего. Так и написала: «прощай, сестрица-кузина, сил моих нет».

Свет мне тут и открылся. На почту мы с ней на таксе покатили, уж она командовала. Стойком там написала письмо Катичке, я ей говорила, что надо. А она начитана хорошо, складно очень написала, как в книжках пишут. А вот чего писала: «посылаю тебе смертное письмо... была я у католички, выпытала письмо, и вот тебе посылаю... ругай не ругай, а не повернешь... измучилась я, мне Господь навел мысли, с тем и поехала, все муки приняла, всю правду нашла... и ни один человек про то не знает, и Василь Никандрыч не знает, и теперь будешь знать, какой он верный тебе жених был...» Все ей сказала. Толстый пакет купили, и то письмо, католичкино, туда положили, послали штраховым, не пропадет. И чтобы беспременно католичке возвратить, она очень благородно поступила, подалась на правду.

И смотрите, барыня... подалась ведь на правду! И слов

у меня... ну, какие у меня слова,— а подалась. Тоже и у ней няня своя была, и с одной стороны мы с ней... Господь ее и наставил. Не пожалуюсь, барыня, все-таки ко мне люди снисходили. Всякого человека ласка берет.

Сколько-то ден прошло — телеграмма мне! От Катички. Так руки и затряслись. А никого дома нет. Ночью уж,— а я сколько без памяти лежала, сердце совсем зашлось...— ночью уж, Марфа Петровна воротилась с дачи, позвала соседскую барыню, она мне и прочитала. А то — лежу на полу, сил нет подняться...— думаю: помру — не узнаю! Ну, барыня каплев давала, положила меня на постелю, она и прочитала. А вот чего написано, на телеграмме... Ох... что-то, барыня, мне... ох... в глазах темно... мухи все... ох, Господи... Вот, покорно благодарю... водички... выпью...— Да не могу не... успокоиться-то... какое дело-то! Маленько отдышалась, лучше... Написала она, Катичка моя...— «милая моя ня-ничка... целую твои ручки... и глазки... старенькие ручки... скоро приедем оба... пишу тебе письмо... все хорошо». Больше ничего. Все...

Ничего это, барыня... отплачусь — легче будет. Не горевые слезы... все дни плачу... зарадуюсь — и заплачу. Ну, вот и все. На скатерку пролила, простите... руки какие, трясутся все. Покорно благодарю, не надо капелек, ничего. Вот и хорошо стало, чисто вижу.

С неделю тому — письмо. Сладилось у них. И слава Богу. И Васенька написал мне, и... рядушком написали, дружки. Ну, и слава Богу. А вчера телеграмма пришла... перепугала...— на корабль садятся! Сегодня у нас что... четверг?.. Значит, вчера... в среду, на корабль садятся. Ну, и слава Богу.

Вот и хожу, расхаживаю себе... сил нет сидеть-ждать. Другую ночь не засну, сердце подкатывает, вот сюда вот... как ком стоит. Смотрю на часики на ее, вон какие хорошие... минуточки считаю, как тикают, стрелочка ползет. И все мне куда-то надо... все куда-то спешу-спешу... Ну, что уж Господь даст. Поминать вот все стала, лежу ночью... как она, Катичка моя... что ей, двенадцатый никак годок шел..? говорила она мне все, разумная такая, умильная...

«Вот, няничка, погоди... выйду я замуж... я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам... сама глазки тебе закрою... похороню тебя честь-честью... как Иван-Царевич... серого волка хоронил...»

Март, 1932 — март, 1933

РАССКАЗЫ

СМЕШНОЕ ДЕЛО

Рассказ встречного человека

— Да вы-с — и в Липецке, и в Ельце бывали! А станцию «Патриаршую» не припомните... а то «Рождество-Лесное»? И «Тарбуны» наши совсем неподалеку. Там стык вроде пять губерний подходят — Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и Воронежская... так я на мысочке, на тамбовском. Очень приятно-с... и в чужестранном вагоне встретились! А я в город Лион, сын там чертежником на заводе, а прежде в артиллерии был, штабс-капитан. На крестины вот вызвали, внучка Бог дал, и на билет выслали. А я-то во время оно псаломщиком был, а теперь в лавочке обретаюсь, у земляка. Ему дарования к языку Бог не дал, только бонжур умеет, а я про все объяснить могу, и с французским покупателем обойдусь. И не думалось никогда, что по-французски заговорю. Да как попал-то?.. Такое уж злое обстояние,— и смех, и горе. Кому ни скажу — покатываются со смеху. А уж какой смех, ежели в суть-то вникнуть. И не думал с Россией-матушкой расставаться; отсижусь, думаю, в незаметном месте от своего зловреда и опять на пепелище вернусь. У племянника-дьякона беду перебыть рассчитывал, при станции «Касторной». Только с машины слез — хвать меня кто-то за руку. Гляжу — Вася, сын, только в солдатском облачении, не узнать. А он ко мне пробивался попрощаться, на Ростов-Дон спешил. Узнал, мыкаюсь я чего, втиснул с собой в теплушку и не пустил. Так и не расставались. Один он у меня, сам я вдовый, ну, скарбишка остался... а хорьковую шубу я надел, очень она меня спасала. И тифом отболели, и под пулями я был... и вот, очутились за границей. Господня воля. И вот будто все сон мне снится: ворона каркает — ну прямо наша, тамбовская... так вот сердце и вывернет!

Смешного-то что было, чего покатываются? И сами засмеетесь, как вот скажу: через обезьяну вышло. Вот и вы смеетесь. И через сущую обезьяну, а не в обинячном там

смысле. Откуда взялась-то? А вот, взялась... Не без человека, конечно, тут, потому... ну, что такое обезьяна, жалкое существо! А вот в чем это смешное дело будет. А там и рассудите, смешное или несмешное.

Где дьячил-то я, при «Тарбунах», большое имение было Бабарыкиных,— известные коннозаводчики. Барина Бабарыкина дочка теперь в Америке в синемах играет, портрет я в газетах видел. И она тут прикосновенна. Она за неделю до того в Москву уехала, а то бы печальное последствие для нее. А сам Бабарыкин, как получил от одного человека знак, в Данков ускакал, и что с ним сталось — до точности неизвестно. Дочка, может, и знает, а я постеснялся письмецом их обеспокоить: подумают — вот, помышления у дьячка своекорыстные, напомнить про себя хочет. Может, Павел Сергеич и сам в Америке теперь с ней. А уж как зловред скрежетал, что Жар-Птица-то улетела!..

Господин Бабарыкин высокого был образования, но чудной: против властей был и даже против своего звания. Из древнего рода, царей даже ставили на царство, и, будто,— любили посмеяться,— права на престол имели. Но желали республику. Это они от графа Толстого заразились. С год даже в армячке ходили. А к нам, к духовному званию, всегда относились с подковыркой. Хотели землю мужикам раздарить, да после 905-го, как сожгли им конский завод,— раздумали. Вот калили их мужики! А вот — зачем раздумали. Школы строили, и у себя в доме волшебный фонарь поставили, как вот заграницей сладко живут, а у нас горе мыкают. Мужики для угощения ходили, подакивали. А дочка у них была красавица, как ангел, в золотых локонах, и великая насмешница. По крещенью-то она Елена, а они ее называли... Ро-... Ло-ре-лей,— батюшка объяснил, что это языческая была богиня. И училась она на актрису в Москве, по студии. Летом с бабушкой заграницу ездили,— мамаша-то у них померла. И вот, перед войной, привезли они из Африки, что ли, обезьянку,— побольше, чем вот чумазые-то с какими ходят. Я ихней породы хорошо не знаю, а вроде как мартышка. Ее так и звали «Марточка», женского пола. Особая комната ей была, белая постелька, и качалка для их гимнастики, и даже на лисьем меху шубка, и сапожки меховые, и шапочка. Барышня ее, как дитю, в губы целовала, и шоколадными конфектами кормила, и фрухт ей покупали деликатных, а мыли в какой-то муке миндальной, от насекомых чтобы, и пахло

от нее одеколоном Раллэ. А то оденут крестьянской девушкой и поведут гулять. И она даже в платочек могла сморкаться. Тут и есть начало всему делу.

И смешно, и удручительно-неприятно было видеть: будто за человека ее воображали. И деревенские обижались, что мразь такую почитают,— и доктора к ней кличут, и Варька всегда при ней... вежливо сказать — посуду за ней выносит... И пошел разговор, что обезьянка эта из древнего какого-то роду, от которого люди повелись. А это наш учитель слух-то пустил, занозу посадил. И смеялись, что баринова родня эта обезьянка, «баушкой» стали величать. И Панфилка, учитель, ехидно мне говорит, что это «господский выродок». Но надо вам объяснить про этого Панфилку.

Был он ужасно непривлекателен, волосом огнен, лицо — мордой, косолапый и страсть потнющий — от внутреннего ожесточения. И конфузливый, смотреть прямо в глаза не мог. Как заожесточится, чего затаит в себе, так весь и взмокнет, и дух от него невыносимо едкий, как от хоря. И худящий, от ожесточения, а кожа в красных пупырышках, как у гуся. И всегда руки под столом тер, будто завинчивал, и плечи ежил,— а все от ожесточения. Почему-с? Обидчивый был на все. Даже на свое имя обижался, что вот Панфил. А главное, что происхождения такого — сын тюремного надзирателя, из Орла. И было это ему занозой. Набрался в тюрьме всего. Но там были сидельцы и политического ранга, и от них некоторого набрался, и стало в голове у него такое, как, простите — скажу, в помойной яме. Порол его отец прежестоко, из гимназии его выгнали, и с того он совсем ожесточился. Устроился он у нас учителем,— барин схлопотал по письму от единомысленного приятеля, пожалел. Словом, и по физическому, и по духовному уровню, человек очень неприятный. И завистливый, не дай Бог. Эта самая обезьянка ему, как нож в горло, видеть не мог, до судороги. Но к барину подольстился как-то, сверхунизительно, и тот дозволил за книжками к нему приходить, во имя самообразования. Книжек у них была полна галерея, красного дерева шкапы. И с праздником заявлялся, для поздравления. А то, зимой, от скуки, пошлет за ним барин,— любил пошутить по некоторому научному предмету,— и, говорили, так и покатывался над ним, как рассуждать пускался. Но Панфилка чувствовал, будто в шуты зачислен. И все-таки разглагольствовал. И, конечно, невер был полный, и даже кощун. Когда батюшке недо-

суг, я Закон Божий объяснял ребяткам. Начнешь про сотворение мира, а Панфилка и вставит спицу: «теперь это наука ниспровергла, а человек произошел от обезьяны!» А то и так: «а как же Ной мог всех зверей один изловить и в ковчег посадить? и слона поймал, и носорога, или они дрессированные были?» Батюшка уж грозил, что донесет по начальству, если будет соблазнять малых сих. И уж готовился ему репримаид, а тут и грохнула революция. Тут он начинку-то всю и показал.

А ожесточение сам господин Бабарыкин в нем распалял. Но, как и в румяном яблочке бывает червоточинка, так и в благородном даже человеке. Тоже был кощун, хоть и с тонкостью, и даже издеватель. Мамаша их еще наблюдала наружно благочестие, хотя и глядела на нас через лорнетку и наказывала прыскать лесной водой после нашего посещения,— что, дескать, «от них замогильный дух»: очень боялась смерти. Но в праздники принимала и даже приглашала присесть к столу. Закусываем стеснительно, а она — тучная была дама — сидит в креслах и смотрит на нас в лорнетку. А Павел Сергеич никогда ко кресту не выйдут, а таятся в гостиной с «Марточкой». А как присядем к столу, они и явятся из приличия и начнут угощать «Марточку» с тарелок... И непременно затронут про церковные порядки, и всегда с раздражительностью и подковыркой. И образованный человек, а тут — ну мальчишка будто. И чем батюшка смиренней отвечает, чтобы не раздражать, он так и закипает! Словно бы дух нечистый сие раздражение мыслей распалял. И в таком распалении однажды до скорби оскорбил нас и ревнование наше.

Поем «Дево днесь», и вижу в зеркале, как стоит он в дверях с обезьянкой и сотрясается, красный весь. А он — в матушку, тоже чрезмерно тучный и полнокровный. А «Марточка», в позументовой ермолке... крестится и, как уж полагается, гримасничает. Это он ее обучил, для смеха. Шепнул я батюшке, но он что-то усумнился. А за столом Бабарыкин и заявляет с усмешечкой, что как влияние-то действует... и «Марточка» у нас тоже в религиозное ударяется». Ну, не кощун ли?! Батюшка восскорбел и с сердцем, правда, сказал: «с четвероногого скота не спросится, а с двуногого, образа-подобия божия, взыщется строго за кощунство!» И перестал вкушать, от огорчения. Я заробел: взрыв будет! А мы в зависимости от них, искони пользовались земелькой. Мамаша ихняя так это обвела всех в лорнетку и задышала часто,

но Павел Сергеич и не обиделся, только чуть глаз прищурил: «А что тут взыскивать? разве не сказано там у вас — «всякое дыхание да хвалит Господа»?» Повздыхали мы и стали подыматься. А тут Панфилка на уголку сидел, только что заявился для поздравления, в сюртуке и в воротничках, весь красный, и руками под столом сучит, от ожесточения. И заскрипел,— голос у него был скипучий-деревянный,— и в скрипе злость, но прикрытая некой благопристойностью: «а почему, батюшка, это существо скот, и еще «четвероногий», когда наука считает, что это четверорукое животное существо причисляется к человекообразным?» И стал молоть и потеть от ожесточения, что нечего нам превозноситься, и что мы должны с почтением как бы взирать на нашего «прародителя»... и стоит, дескать, лопнуть одному только волоску-нерву в мозгу, как «вся душа, разумная и свободная»,— ехидственно так про душу,— из человека испарится, и человек обращается в скота. Где же «божеское» в человеке, и что такое, собственно, ду-ша? Да испугался батюшки и замямлил: «я это так, испытываю сомнения... как на духу...» А Павел Сергеич сотрясается. Батюшка и приличия забыл, крикнул: «у тебя волосок, значит, лопнул, и выходишь ты скот!» И встал в страшном волнении. А тут и Елена Павловна сидела. Панфилка, может, это нарочно, дерзание показать при ней и образование. А она взяла «Марточку», посадила рядом с Панфилкой и смеется: «ах, прекрасная пара из вас бы вышла! угости, «Марточка», своего дружка конфеткой!» Так мы все тут и покатились!.. А Панфилка весь потом изошел, руками заерзал, от срама и ожесточения, и дух от него пошел наижесточайше-едкий. А надо вам сказать, был он ужасно влюблен в насмешницу. И такой позор! И батюшка его тут пристукнул: «совершенно справедливо изволили сказать Елена Павловна, большое у тебя сходство с этим забавным существом, но только оно умеет себя держать, а ты и по внутреннему, и по наружному облику от подобного рода происходишь, но только более злейшего, как например, горилла или мандрилла!» Тут!.. Мамаша и лорнетку откинула, и вся заколыхалась, и застонала даже... и Павел Сергеич за кресла опрокинулся головой. А «Марточка» Панфилке сует конфетку, а мамаша платочком машет и стонет: «ах, лесной водой... ах-ах-ах..!» Павел Сергеич схватили пузырек с надувающимися шариками и давай на Панфилку прыскать... По-зор, и позор наинагляднейший!

И пошло с того дня за Панфилкой прозвание — «Марточкин жених». Все «Тарбуны» так его и завеличали, и мальчищенки за углом кричали: «волосок лопнул! волосок лопнул!» Варька их подучила, что ли.

Вскорости заходит ко мне Панфилка, скрипит, потеет и руками винтит, от ожесточения: «а-а-... нас и за людей не признают, измываются..! уж ко-нчится это, ко-нчится... отольются кошке мышьи слезки!» Я и говорю: «ты рангом повыше мыши будешь, ты древнего рода, от обезьяны себя считаешь!» — «А, и ты, говорит, кислая кутья, с ними? и ты, лизоблюд господский, над нами измываешься!» — «Над кем это, над «вами»? — «А над обиженными трудящимися людьми!» Тут я ему и примочил: «да ты из людей-то отчислился, а обезьяна не может обижаться по малоумию своему!» Выругался и отошел со скрипом. А тут, вот она, и революция.

Стали беспутные дезертиры подходить — Панфилка с ними в компанию. Заявляется ко мне... — «держись, кутья, всем вам скоро разборка будет!» И уж страшная стала жизнь. Говорю я ему, для утишения: «ах, Панфил, неужто ты не забыл обиды-шутки!» — «Я, говорит, ничего не забываю, круговую обиду таю... и докажу, у кого «волосок лопнул»!» — «Ну, и черепок ты, Панфил, колючий... обрежешься об тебя, злости-то в тебе..!» — «Это, говорит не злость, а мщение! И скоро увидят черепки». И про Елену Павловну непристойно выразился.

А господин Бабарыкин с революции-то совсем раскис. И республика его стала, а раскис. Пришли мужики с дезертирами, грозят: отпиши половину земли, а там комитет решит, а то сами поделим. Он со страху и подписал бумагу. А они пуще! — «Вы, говорят, на нас не обижайтесь, потому мы... — смеются! — нам учитель все рассказал, и вы то ему признали, что как древнего корня, из обезьяны вышли, и сами вы нас за скотов считали, то для скотов закон не писан». Он им: «как я вас за скотов...?» А они свое: «нет, уж мы теперь все-о знаем! И пожалуйста нам конский завод в раздел». Он туда, сюда... телеграмму, пришлите охранить... А ни откуда ничего. Всех лошадей и разобрали. Он к Панфилке, мадерой угощал. А тот пуще только потеет и распаляется. «Такой, говорит, дух народный, лучше сидите смирно». Наглеть начал.

Лето пришло, Елена Павловна прикатила, веселая. Пошла с «Марточкой» в сад гулять, к вечеру было дело, а дезертиры пьяные и пристали, стали ее тащить... Тут Панфилка явился — нарочно и подстроил-то! — велел отпустить, кавалером прикинулся. Довел до дому, и она его за руку поблагодарила, но тут же от потрясения заболела и слегла. И «Марточка» тоже заболела. Барин хотел мамашу забрать и дочку и уехать, а мужики караул приставил: «Жил нами, теперь поживи под нами!» А кругом грабежи пошли, осень подобралась. Как ночь — Панфилка ввалится к барину, словно уж он хозяин. Старого вина требует, ключами звенит в кармане,— доверили мужики ему. И вот спьяну и обнаглел: «все до вашей смерти при вас будет, отдайте за меня Леночку!» Барин вскинулся, было,— «то есть ка-ак» — да и перепугался: «она не товар, если вы культурный человек... спросите ее сами». Он прямо к ней в буду-ар, спьяну-то,— ка-ак она его по морде-то мокрой полотенцем хлястнет..! «вон отсюда, пьяная образина!» И выкатился. Прибежал ко мне, трясется, как пес на падали. «Ну, говорит, будет теперь сполна! завтра власть наша будет, и у меня уж бумага есть!» А уж по селу слух, что правительство кончилось, в Данкове новая власть взялась. Я Богу помолился, побежал на господский двор, к ночи было. Той же ночью Елена Павловна пробралась на «поповку» к нам, бабой оделась да в батюшкином тарантасе и отбыла с горничной в неизвестном направлении. А велено было сказывать, что опять заболела и слегла. А барин позадержался, с мамашей хотел отъехать, кой-чего пособрать. С неделю прошло,— ввалились к нам на «поповку» с ружьями. Вижу — новая власть пришла. Шепнул батюшке — бражкой пока молодцов бы позадержал, а сам задами да на господский сад. Уж темно было, в восьмом часу, ноябрь месяц. Барин, в чем был, куртку напялил, револювер сунул, бумажник...— вывел своего скакуна «Вольтера»,— только его и видели.

Мамаша-то ихняя перепугались, стала молить меня остаться, чайку хоть с ромом выпить, против простуды,— в люстриновом пиджачке я был, а холод,— стучат в ворота! Я, правду сказать, струхнул, и спрятала меня барыня в гардеробную. Вломились с ружьями, и дезертиры с ними, и Панфилка. Где хозяева? Крик, звяк... барыня — ах-ах-ах...— хлоп! Удар с ней, смертный. Они шарить по всему дому, в гардеробную не зашли, а я в большую корзину спрятался. А Панфилка, слышу, визжит,

как резаный: «где она? где она?..» Ищи ветра в поле. И вдруг такой-то ужасный визг,— прямо мороз по коже! А это «Марточку» разыскал и выволок. Пошел у них гогот..! А та верещит... ну, невозможно слушать.

Барыню на другой день похоронили, дом растащили, Панфилка только кабинет трогать не велел, облюбовал для своих занятий. А «Марточку» поместил в училище. Меня вызвал: «ты, кутья, способствовал бегству врагов народа?» Отперся я. Работа пошла, уж ему не до меня. Пошли собрания в училище. А «Марточка» там обретается, на окошке Панфилка ее пристроил, кашей велел кормить. Совсем больная она была, сидит-дрожит, синими лапками утирается, плачет, помаргивает, ну, как дите. Холодно ей, понятно, шубку у нее украли, от кофточки шерстяной один рукавок остался. Сидит, пригорюнясь, и все-то стонет: «о... ох... о... ох...» Сам слышал, видел, как слезы капали. А под окном народ, смеется, а кто и жалеет обезьянку, подсолнушков нанесли, морковки. А она ничего не хочет. И вот объявил Панфилка «научную беседу». Пришли послушать, а нас с батюшкой строгой повесткой вызвал. И стал Панфилка рассказывать...— совсем уж он одурел,— «все мы произошли от этой вот обезьянки!» И верно, что одурел: его потом водой отливали, и пена у него изо рта клубилась, будто припадочный! Крикнул — «вот вам будет наглядное учебное пособие!» — и поднял «Марточку» высоко за лапку. А она так и повисла, тряпкой. Глядят — мертвая обезьянка стала! Мужики кричать стали: «чего ты над нами насмехаешься, ай мы обезьяны? это тебе баушка родная... баушку уморил!..» Насмех стали кричать: «волосок лопнул!» Он по столу кулаком, опять обезьянку поднял... Тут я и не стерпел. Вышел к столику и кричу: «Православные, послушайте! Учитель чему вас учит... что вы теперь, как эта обезьянка, а не образ-подобие Божие. По его, это его плоть от плоти, а Апостол говорит: «никто же плоть свою возненавидит, а питает и греет ю»! А он свою плоть родную, баушку-то свою, глядите уж в гроб вогнал!» Так меня сразу осенило. Ка-ак загогочут, как начали кричать: «правильно, Степаныч... баушку уморил! волосок лопнул! А мы еще православные!..» Тут у учителя пена и пошла. А ко мне солдат, добрый парень, подходит и на ухо: «уноси ноги, Степаныч, куда до времени, а то прочухается — не сдобровать тебе». Ну, я тою же ночью и на «Касторную»...

Уж и не знаю, сколько там поплакало, после смеху-то: у Панфилки там бумага была,— за главного. А может, и убрали его, ничего не могу сказать. Так вот-с какое смешное дело. Много потом видал, и всех мне до крови жалко. И детей сколько помирало, замерзало, и воины, на глазах сколько помирало... Помню все и скорблю, и молюсь. И вот, и ту безвинную обезьянку до скорби жалко. И она плакала... И подумать — какой человек быть может!..

Февраль. 1932 г.

ПЕРСТЕНЬ

...Повеселей бы чего спели, ску-шно! По программе..? Надоели мне программы, граммы, кило-граммы. «Где ты, мой пуд, чугунный, тяжкий, пузатый, с ручкою — дугой..?» С успехом декламирую, на «бис». Этого нет в «Чтеце», нет и в «Живой Струне»,— здесь создано, Что это..? А. Глинка: «бурной жизнью утомленный, равнодушно бури жду...»! И жди. Какие тут бури...— жибу-лэ! Да наплевать мне, что «обращают внимание». Ах, как читал «Анчара»!—там. Сивалдаи даже понимали. Все-о понимали! Помню, пробирался я к границе... В городишке М. зацапали меня, к этому ихнему пред-рев-кому, тогда такие были звери. Хохол был, что ли. Идеалист: «прикончить всех буржуев — будет счастье всем». Есть и такие, прямолинейные. Узнал, что я артист...— не вырвусь, думал: с месяц не выпускал, щедротами осыпал, бери — что хочешь! Чем взял? Не поверят: «Сакья-Муни», Мережковского, очаровался и... «Анчаром». Кончу «Анчара», а он — «ду-рак... а гарно!» — «дурак»-то про раба, а «гарно» — про неведомого Пушкина. Все переслушал — и выдал пропускной билет, храню: «Дано свободному артисту для вольного хождения по свету», и печать с каракулями. Ах, что бы можно было с таким народом сделать!.. Пя-ткой чует.

Чем расстроен..? Виденья одолели, привиденья. Вчера зашел, на рю дэ Ляфайэт, в лавчонку — «Русские бижу». В этих лавочках — замечали? — со-лью пахнет..? — слезами: натекло совсюду. Купил, вот, полюбуйтесь... изумруд — дуплет. А, все теперь фальшиво. Там, в пу-до-вом царстве, тоже не без того бывало, да... умели и отмыться, каяться. Для чего купил? Да вот, привычка... как Нерон, сквозь изумруд разглядываю мир прекрасный. Не могу вот не скандировать, привык... и взирать сквозь изумруд! Играл Нерона в «Камо грядеши» — сжился, не могу. В Екатеринославле проходу не давали, как играл. Извощики, газетчики, мальчишки...— выйдешь из «Европей-

ской», вся улица кричит: «а, господин Нерон!» Очень понравилось, как я хрипел, с удушьем: у Момзена прочел — от ожиренья страдал Нерон удушьем. Перевоплощался, так и несло Нероном!

А когда-то на этом вот мизинце горел зеленым солнцем изумруд. На здешние прикинуть — тысяч двести. Не верите? Теперь и я не верю, а... бы-ло. Сам у Фаберже справлялся: пятнадцать тысяч чистоганом, золотых. В Москве: на Светлый День, подарок. Не верите? И я не верю. Сказка.

«Ах, сердце просится, и в даль уносится...» но — кррак, конец. Помните, чернь бывало, распевала:

Пер-сте-нек... зо-о...ло-о-той,
Та-ли-сман. ты вечно будешь дорогой!

И нет его. О, сладкие мечты, признанья, шелест платья, вздохи, поцелуй, измена!.. В страшные мгновенья, когда уход казался избавленьем от юдоли, от черрной доли... я всматривался в этот изумруд и...— «и верится, и плачется, и так легко, легко!» Где он? Увы, про-жрал. И с ним — всю красоту, что жизнь мне подарила...— первую любовь, улыбки, слезы, грезы... и Маргариту. Ну, она звалась... «Ее сестра звалась Татьяна»? Нет, не Татьяна, и не Джульетта, и не Офелия..., а проще, даже очень проще. Но... номина сунт одиоза. Мол-ча-ние.

Что там — улыбки, слезы, розы! Все повторялось и может повториться. Нет, в том изумруде, в камне-солнце, я потерял неповтори-мое... Здесь — многого не встретить. Женщины? Не только женщины. Да вот, видали ро-зовые яйца, в кабаках, в бистрах? У пьяного прилавка, на мокрой жести, в вазах, розовые яйца? Пьют ординэр, и — на закуску. Забыли — для чего. У нас... Да, пьяница у кабака облупливал, но по-мнил. Пяткой помнил, коли душа пропита. Можно докопаться в пя-тке! Нет, не прикрашиваю,— знаю. А тут...

Помните? Весна, российская весна, разливы, вербы, текут снега.

«Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега»..

И так далее, мутными ручьями... и — в луга! И колокола...

«Тот звон смиряющий всем в душу
просится ..»

«Во все окошки ласточки кричат — «Христос Воскресе!» Пасха. Гиацинты на столах, розы на куличах, пунцовое и голубое... и глаза! Гла-за какие! И васильки, и незабудки, и синь лугов, и синь небес! Сирень — глаза, сирень — дыханье, движенья — гибкая сирень... и речи плавной колыханье, и в смехе праздничная лень... А-а-а!.. И звон с зари и до зари. И...

«Песнь в душе моей трепещет,
И разливается, и плещет...»

Чье, не помните? И я не помню. «И я, как малое дитя, смеюсь и плачу... не шутя». Не помните? И я не помню. Все забыто, убито, вбито, перебито. Мол-ча-ние!

Когда его про-жрал, тот изумруд, тот камень-солнце...— все прожрал. Но, погодите, милый... надо знать. Винцо неважное. Ах, пил в Тифлисе... ка-хэ-тинку! Ка-хэ, ка-хэ... э-эх-хе-хе! Как прожрал? Сперва спросите: друг, расскажи, какая из богинь Олимпа тебе вручила талисман. Сперва поэ-зия, потом уж проза. Высокопарно? Привычка, душу подымаю на ходули, чтобы не ползала по грязи. Да знаю... мне, бывало, Зажимайлов Мишка, наш режиссер в Ростове-на-Дону, под Станиславского старался: «Проще тоном, проще, будто ты в бане на полке... Говоришь: «дождь пошел», в окошко, а выходит... будто Александра Македонский на триумфальной колеснице!» Знаю. И не хочу. Хочу, как Сумароков, величаво: «Теки, мой князь, во храм... яви себя в народе!» А я... пойду отдам... последний долг природе!» Привычка, с ибсенского Брандта: к небесам! Ползать очертело...

Ах, играл я «Брандта»! Где? Везде. И... в Москве, понятно. Сам Ленский слушал — плакал. Качалов? Широкая душа, вместила... все, до... «лобзанья пяток»...— есть тра-ги-комедия такая!.. От-ставить, к черту «качалку» эту! отставить! Играл я Брандта. В Питер звали, сам Аполлонский...— отклонил. Там Пи-тер, а со мной — Россия. До славы я не жаден. Тут начинается...

Великий пост, Москва, ангажементы. Стою в «Лоскутной». К Гришину, в Саратов, на мазу. Брожу... вдоль улиц шумных, набираюсь столичных впечатлений. В Кремле, говею... всегда говел. Карточку несут! Читаю: «Прогулов»! Знаете — Прогулов, миллионер? Он самый, ситчик-то его известный. В Нижнем на ярмарке встречались, уважал. Хорошо, просить. Входит, чуть мешковат, но джентельменом... розовый такой, приятный. Ладошки так вот, умывает.— «Помните-с?» — «Помню-с. Чем могу

служить?» О-казывается: свой театр, домашний. Ну, не совсем домашний — а для «фэнфлер», для избраннейших, так сказать, на полтораста кресел... сплошь э-лита! Кресло — сто целкачей, на раненых. Война была. Просит, умоляет даже: «Брандта! перешибить Качалова!» Не нравился ему Качалов, истеричен. Потом узнал я: что-то с супругой вышло, супруга закапризила... хотела в студию, да... стык случился. Тысяча за выход. Отклонил — «за выход»: жертвую! Даже попятился и руки поднял: «Шиллер вы, говорит, так благородно!» Причем тут Шиллер? Просто — для раненых я, русский человек.

Игра-ал...! — молчание. То есть не в смысле... а... подробности в афишах. Не буря, а тай-фун аплодисментов, стон. Ломали кресла. Ну, новые знакомства, письма, рандэ-ву, обеды, портреты... — разоренье. Цветов, венков, букетов...! Лиру поднесли из роз и лилий, — в автомобиль не влезла. Ну, в лоск замотан. В Саратов надо, ангажемент, билет в кармане, — не пускают. Вдруг — карточка. Серебряная, монограммы. Просить!

Входит дама. Не дама, а... симфо-ния, поэма. «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно». Больше ничего. Молчание.

Она. Сама, миллионерша. Прогулова. Таинственная маска, ребус, знак вопроса. «Да», «кажется», — и только. Ну, Галатея, сфинкс, манящий омут, «таящая в себе свой мир бездонный». Есть такие: в себя глядятся, вот. И королева, и — сильфида. Величие и нежность, гордость, простота и... тайна. Шатенка, синие глаза, темнеют в страсти. Голое — баккара и серебро. Движенья... — Греция, Пракситель. Ну, словом, — «все в ней гармония, все диво...». Сама богиня.

Сама богиня, умоляет. Один спектакль, последний! Склоняюсь, в трепете. Она играет Саломею, я — Иоанна. В пользу лазаретов. Но, слушайте: места по... три-ста целкачей! Ко-шмар?! На здешние прикинуть — тысячки четыре за местишко, дешевка... для сверх-элиты! Потрясен, раздавлен, покорен.

Что бы-ло! Сбор битковой. Бриллианты... — все померкло, такое ослепленье. Играла-а... — сам Уайльд бы умер от удара. Костюм..! — Невиданная обнаженность, ультра. Ахнул зал. Суфлер задохся, онемел, как рыба, — без суфлера! Страстность... — затлелись ткани. Больше ничего, молчание. Пляса-ла..! Нет, не могу... нет слов. Мужчины... как быки, ревели. Дамы... как полагается, шипели. Бывают перлы!..

«Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно». Да, я нашел зерно, хоть я и не петух.

Дальше...? Ну, дальше все понятно. «Она меня за муки полюбила, а я ее... за это вот зерно.

Потом... открылось небо. Бурная весна, текут снега... «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...» В Петровском парке рвем первые подснежники, синейшие, на бурых ножках. Засыпаны лужайки: все — глаза, ее, синейшие. Целую, в мыслях. Молюсь. На «Воробьевке» смотрим на Москву. Грачи в березах, золото заката, лесные воды, тишина-а... и вальдшнепы храпят, от страсти... и — Го-споди, помилуй! — пе-рвый поцелуй, в «подснежники» мои, в синейшие. Дрогнул небосвод, упали звезды... и — пропал Саратов! Натеков этих не было тогда, мешков для слез зажатых, невыплаканных в жизни. Все было юно, свеже, светло, сильно... «какой простор!» — помните Репина? Истина, Добро и Красота... какая вера! Кто мог бы думать, что впереди...? Неслись на «птице-тройке»...

А, «Вечерний звон... вечерний звон...» — тоскливо. Повеселей бы что-нибудь пустили. Да, программа...

И тогда тоже — вечерний звон, с Москвы: была Страстная. Березы в почках и колбасках, вербы — в вербешках золотистых... скворцы, грачи, дрозды... Нет, кукушки еще не было, не прилетела. Жаворонки звенели в высоте, ласточки свистели...— ну, «плен, постыдный пле-эн... и гибель всех моих»... проектов. В Саратов не попал, сорвал сезон.

Угарная неделя, одержимость... я — не я. И вижу... что же?! Облако нашло. «Синейшие»... тревожны, грустны. Не пойму... В чем дело? Нет ответа. Взгляд — далекий, рассеянный...— не постигаю!

Вот и Пасха. Умоляю, у ног прекрасной: в Кремле, в заутреню! Ужас на лице, в глазах: ни-как! Муж, понятно: вместе, Светлый День. Пошел один,— куда деваться?! На народе — легче.

Крестный ход, огни, ракеты, горит Иван-Великий, все ликуют... пылает сердце — Кремль, Россия. А я — как «демон мрачный и мятежный», взираю, только. Все для меня погасло, нет огней. И вдруг... о, чудо! — они, «подснежники» мои, синейшие! Я шатнулся: виденье? ангел?!

Миг счастья, только миг. В звоне-гуле взглянули на меня дале-ким взглядом, уходящим... И подарила мне последний поцелуй, пасхальный. Шепнула: «прощай, забудь». Миг один,— пропала, затерялась. А у меня в руке

осталось... красное яичко, простое, деревянное. Искал в толпе — напрасно. Кругом — восторги, ликованье, братство... «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» А я — как умер. Нет, пропал. Минутку улучила, от своих. Но это — «прощай, забудь»..? — что значит это?!.. Какая-то мистерия... фантом?! «О, романтизм! о, сумасбродная головка!..» — шептал я в небо, где золотисто реяли ракеты, плясали звоны. И разрывалось сердце.

Но... жизнь зовет... Уныло возвращаюсь в номер. Держу яичко... Оно дрожит, и блекнет, за слезами. «Прощай, забудь!» О, сумасбродная!.. А в голове... — подите вот, привычка — картины, сцены: как бы я сыграл! И в зеркале увидел... трагическую маску! И мысль: зачем такое, деревянное, простое? Потряс... — пустое. Что за...?! Открываю — ва-та! целый пук, как пена, ле-зет, — натуго набито. Что за...?! Вытряхиваю вату... и... блеск. Стрельнуло! Не-эт, какой там пистолет...! Перо Жар-Птицы, Феникс, ра-дий! пожар!! В комнату мою упало солнце, камень-солнце! Голконда — изумруд, апо-фе-оз. С лесной орех, волше-бный изумруд. Клондайк! Ну, думаю... а, сумасбродная головка, игра какая! Заинтриговала. «Прощай, забудь»... — о, ловкая игра!

Утро, спешу поздравить. В цветочный магазин, охапку ландышей и гиацинтов, в серебряной рогожке, натюрель. Лечу на лихаче... ворота, львы на воротах и... каша — рысаки, кареты, всякие ройльс-ройсы... Лакеи, кучера, снимают шапки. Звонюсь... Милашка-Груша, в бантиках, как фея, ямочки на щечках: «ах! не принимают-с... в Крым уехали-с, с утра, в Алупки-с... на дачу-с». Отшатнулся. — «Ка-ак?!.. А кареты эти, лакеи...?!» — «А это-с... мамашу поздравляют, Матрену Савишну». Мамаши мне не надо. Повернул. А эти, краснорожие, вдогонку: «вышло дышло!» Ну, хамы.

Возвращаюсь — бац! — письмо, с посыльным в красной шапке. Две строчки, только: «все забудьте... я мучаюсь... так надо... не старайтесь меня увидеть, это бесполезно». Без подписи. Ну подчинился. Раскаяние? Все возможно. Такие дни, говела, каялась... — возможно. Бывает, знаю. Сентиментальна, романтична, как... кажется, Кларисса, у Шекспира где-то. Ну, жертвоприношение, самоанализ, скепсис, смиренномудрие. А, может, испугалась мужа, все возможно. Участь Дездемоны не сладка. Не стал настаивать. Послал на карточке — «склоняюсь», все. Вышло вровень. Запер сердце и ключ забросил в море... жизни. Больше не встречались.

Но... чудо: взгляну на изумруд — и... «все воскреснет вновь живое — весна и юность, и любовь...» Приценился у Фаберже: может быть, думаю, дуплет? Не в деньгах дело, а... проверить чувство. Говорят: «у нас и куплен, вот-с, по книгам... пятнадцать тысяч триста». Вот так гоно-ра-ар! вот это чу-вство!..

В Саратове читаю в «Слове»: «Супруга коммерции советника г-жа X. пожертвовала двести тысяч на сирот». Жертва? Жажда очищенья? Возможно. Вскоре опять читаю: «сто тысяч на приют для девушек». Жажда искупленья? Все возможно. Преклонился. А я, беспутный? Я ждал: вот Светлый День настанет. И он настал... в голоде, в аду, во мраке.

На юге, в страшный год... Ходил в опорках, ел помои... но хранил я перстень, как святыню. Да, еще до этого, в Баку, читаю в «Слове»: «умерла от тифа... на фронте заразилась». Взглянул на перстень — и заплакал. Искупила, очистилась. А я?.. Мой день пришел. На юге, в страшный год, терзался. Все сгорело: Россия, прошлое, искусство... На двух ногах — костяк. И... изумруд на пальце. И в нем — ду-ша. Прожрал я душу..? Нет, осталась. Греку, за мешок муки... клянусь! Плут божился, что простой дуплет, дает за золото. К Фаберже тащить мерзавца? «Я дал ему злато и проклял его»! Кругом от голода валились. Собрал я ребятишек — жрите душу! Ух, как жрали... мои воспоминанья! Жрал и я. И легче стало. Будто очищался, отмывался... ото все-го. Воспоминанья сожраны, я — новый: ни «жизни мышьей беготни», ни... лжи. Порой разроешь душу, как сейчас,— и больно. Вот эти песни наши... разрывают. А вспомнишь, как ту муку сосали, чавкали...— а-а, пригодился перстень, грешный перстень мой — не мой! Лучшего не вспомню...

Апрель, 1932—1935
Париж

ГЛАС В НОЩИ

Рассказ помещика

До того я очень любил, как начнут про разное там, «потустороннее», а сам посмеивался. Самые верные люди сообщали о таинственном, что случилось с ними, и при всех ухищрениях трезвого ума никак нельзя было объяснить те случаи естественной причиной, но все-таки оставалась некая для ума лазейка: да, пока необъяснимо, но со временем наука все это объяснит, и так далее. Ну, если бы полвека тому сказали, что вот Петр Иваныч чихает в своей «Богдановке», и в ту ж секунду услышат его во всех пунктах земного шара... ну, кто бы мог поверить? А теперь проще чего нельзя, и даже надоело слушать про пудру-империал, из-за тысяч верст. Так вот, я всегда находил лазейку, чтобы укрыться от этого «потустороннего», и даже чувствовал оскорбление моему светлому уму и естеству, тем более что по образованию я естественник. Но с того случая в овраге приемлю радостно, и одного только понять не могу, почему такое благоволение — и не по адресу? избранники-то не очень достойные попались. Впрочем, там бухгалтерия особая.

А случилось со мной вот что.

Помните, господа, по нашему уезду Григория Афанасьевича Спирько, или, как его прозывали, Спирток. Человек отчаянный, промотал все имения,— из земских начальников Столыпин его убрал,— остряк и великий циник. О себе не распространяюсь, но... во святые не попаду, наверное. Во всем грешен, а самое слабое во мне — великий чревоугодник-эстет. Какие обеды закатывал, бывало. И фамилия наша знаменитая: Пра-едалов. Не «про», а «пра»: потомственное закрепление, как «пращур». И вот этот самый Спирток и аз грешный в один прекрасный день, или, вернее, ночь, испытали душевное сотрясение. Было это ровно четверть века тому назад,

до войны. Оба сравнительно еще молодые, с видом на будущее. У Спиртока назревала умирающая тетка с домами в Саратове и большим имением на Волге. Я собирался жениться на милой девушке с состоянием и всю ту зиму провел в Москве. Свадьба наша была назначена на красной горке, и в феврале, помню, приехал я в свое «Прибытково», в С... губернии, оформить дело с банком и привести дом в порядок. Все наладил и собирался завтра в Москву. И нанесла нелегкая Спиртока. Приехал денег перехватить до «тетки». Денег я не дал, угостил завтраком, сыграли с ним на биллиарде, и пришло мне с чего-то в голову... от гостя хотел избавиться? — «а не махнуть ли к Лихотиным, в «Копылевку»? А они всегда к великому посту приезжали из С... к себе в деревню, оздоровиться. Чудесный у них повар, отменная всегда рыба, свои промысла на Каспии, заветный погреб, запасы бургонских вин, от какого-то обедневшего маркиза... Ну, Спирток — с моим удовольствием, размечтался. И я о лихотинской кулебяке вспомнил, засосало под ложечкой,— айда. Хотел протелефонировать, а телефон молчит, столбы вчера бурей повалило. Ладно, на голову упадем — еще лучше, экстренные обеды иной раз и званые перекрывают. Заметьте: низменный, так сказать, мотив поездки,— пожрать.

В легких саночках, парой. До «Копылевки» пятнадцать верст, рядышком совсем. Погода приятная, с просветцем, после вчерашней метели прихватило, ветерок с востока, степной, кусается. Спирток был налегке, приехал на земских, в полудохе, в холостых ботиках,— ближайшие мы соседи. Я надел поддевку на барашке, тепло мне показалось, не забрал даже для ног тулупа, а всегда, бывало, клали, вот подите,— совсем вышло по-городскому, валенок даже не надел — час езды, дорога скатертью. За кучера взял Власку-кучеренка, совсем мальчишку. И о нем не подумалось, что в вытертом полушубке только. Стряпуха, его мать, крикнула ему, помню: «Власка, оделся бы, дурачок, потеплей, папенькин азям надел бы». Но Власка отмахнулся: «ну, далеко ли... путаться мне в нем!» Выехали часу в четвертом. Прямая дорога, на село Вздвиженки, по-шел. Яблочными садами, в отлогий спуск. В садах просвечивало солнцем, к закату уж. Спустились, стали на взлобок подниматься, и тут, представьте себе, что видим. Оттуда, из-за взлобка, навстречу... зайцы! целая стая, штук пятнадцать... невидано. Мчат под изволок, к нам, летят через

головы, будто за ними гонят. Что такое?! Спирток ахнул, — «эх, ружьеца-то нет...!» Сиганули, чуть не под ноги лошадям. И что-то в ихнем гоне показалось мне жуткое, зловещее... что-то их пугануло где-то. И надо вам сказать, что за тем взлобком у меня скирды были у риг, зайцы к ним стаились, под вечер, покормиться. И что-то их всполошило там. Что такое?.. Власка и говорит: «ах, барин... зайцы-то нам как нехорошо перестегнули, путя не будет». Набрался примет дурацких. Спирток ему стишок про зайца пропел, не очень скромный. И вдруг стемнело, как сумерки. Вытянулись на взлобок — и ахнули. Вон чего зайцы всполошились: буран. Прямо стеной туча, да ка-ка-я..! И так дохнуло... как в грудь колуном всадило. За садами, за взлобком-то, нам не видно было, а тут сразу и... представление, как в театре. И прямо в лицо, сечет. Померкло, заволокло... одним словом — «буря мглою небо кроет»... помните, у Толстого парень из Пульсена-христоматии. Самое то. Поземка пошла, побежали белые вьюнки-юрки, как пуганые зайцы... завертело, завыло, и в бок, и сверху, и... свету божьего не видать. Власка опять: «ба-рин... назад, может, лучше... юра какая взялась... вон они, зайцы-то!..» До Вздвиженок пять верст, прямая дорога, — шпарь! Такое легкомыслие. А я знавал бураны наши степные, но тут прямо какое-то непонятное легкомыслие. И Спирток руки потирает, крякает: вот, сейчас тряханем под кулебячку, согреемся, с девицами потанцуем. А тут своя пляска пошла, так хватило, как иглами по бокам, насквозь. Степные бураны наши и новый тулуп пронижут, а на нас будто кисейка только. Спирток уж плясать начал, в холостых ботинках. И доха-то у него по швам поролась. «А не вернуться ли, — говорит, — что-то меня цыганским потом прохватывать начало...» Запросишься. «Ворочай, Власка, — говорю, — Бог с ней и с кулебякой». Тот поворотил и... — «да где ж дорога-то?» — спрашивает. Нет дороги. За какие-нибудь двадцать минут попали мы в ад кромешный, в живую тьму. Как в театре: повернул кто-то ручку, трык!.. — кончилось освещение, тьма и тьма. Ночь — и грозящая музыка бурана. Ну, будто сон... Только-только садами ехали, солнышко золотилось в сучьях, вот-вот весенняя музыка начнется... — а тут..! куда-то движемся, в пустоту. Промоины, овражки, по тряске слышно. Думаю — дубовый косячок найти, оттуда можно определиться. «Прибытково» мое в трех верстах, под изволок, лошади бы учуяли... — нет никакого дубнячка-кустика.

Соображаю: промоины, трясет нас... это мы влево забираем, на Касогово — вправо надо. Велел правей. Власка мой тоже согласился: верно, на Касогово забрали. По ветру определиться? А ветер со всех концов, самая разъехидная крутень, вертит, несет, сечет, и мелко-мелко, едкой снеговой пылью, секущей, острой. И по-шло... будто совками в рыло, горстями, как из кулей... в груди как ножами роет, кончился воздух, дышать нечем, одна пустота ломучая. Ужасное это ощущение, когда кровь разламывает все ткани, кости,— кольями грудь ломает. Стало мне жутковато: в глазах зайцы, и такое, знаете, мистическое чувство, будто это не просто стихия разыгралась, а что-то живое, злое, сбивающее, гонящее. И как бы мне приоткрылся «таинственный лик вещей»: кто-то за ними кроется.

Сколько мы так вертелись... утерялся смысл времени. Минуты ли, часы ли,— будто выехали давно-давно. Вынимаю часы — не вижу. И пальцы закалели. Слышу — Власка мой что-то хлопочет, уши все потирает рукавицей. «Ба-рин, ми-ленький...— никогда так не говорил,— замерзаю, варежки не взял, голые рукавицы... и снутри не греет, тюрьки только похлебал с хлебушком». Парнишка — сразу и заслабел. Втащил я его в санки, сам сел править. А куда — не знаю. И догадало меня опять на часы взглянуть: как-нибудь спичку чиркну, увижу время. Снял замшевую теплую перчатку, полез за спичками... хвать! — обронил перчатку. Где найти, в миг замело сугробом. Не усидишь: стегает, пригибает. Засунул руку, повернулся лицом к саням. А там Спирток ботиками выплясывает, ругает Власку: все сено ногами затолок. А где там сено,— все снегом завалило. Насунул я Власкины рукавицы, а они как кора, смерзлись, тепла не держат. Руки онемели, вожжи у меня выпали, и думаю,— пропадем, вот она, гибель-то, совсем просто. И оттого, что казалось простым и непременным,— стало жутко. Говорю Спиртоку — а ведь пропадем мы! А он, циник, еще острит: «скверно, без подготовки приходится... а главное до кулебячки-то не доедем». И понял я, что — «без подготовки», прямо отсюда — туда. И тут, впервые в жизни, подумалось: «как же я так и не собрался все обдумать, столько еще надо разрешить, тех вопросов... о Боге, о бытии, о — будущем. Есть — или ничего? От этого и жутко стало, что «без подготовки», сразу, как на внезапном экзамене, и будет присутствовать «сам министр». И вдруг — кинуло к лошадям! Помню, ткнулся в

мокрую шерсть и полетел куда-то — ляпп! — как в приятный пух. Мелькнуло: «вот оно, самое то...?» А совсем нестрашно. И тут же понял, что это еще не то, а в овраг свалились, в пуховый снег. И лошади ничего, удачно. Спирток зовет: «жив, ямщик удалой..? черт тебя побери... глаз я выколол, с твоей правкой!.. приехали к кулебяке, лопай!» Циник. Сползлись, сидим, ничего не видим. А Спирток сучком веку разорвал, в куст попал. Говорю — снежком примачивай. «Да что снежком, теперь бы чинной или полынной...» И так вышло у него аппетитно, под всеми ложечками засосало. Но что же делать? Власка совсем заслаб, стонет только: «ба-рин... ми-ленький... голубчик... замерза-ю... ах, мамынька... папанькин азям навязывала...» Дул я ему в загривок: первое средство в сознание ввести, встряхнуть. Сразу подействовало: «я, говорит, ничего-с». Говорю: «в струне надо быть, выбираться, а не разводить панихиду». А куда выбираться тут!.. И лошади сбились к нам, одна меня мордой в темя стукнула — в сознание ввела. Велел я Власке в снег закапываться поглубже. Спирток уж сам себе нору роет, и острит, с... с...—«выроем себе по могилке, а метель отпоет, что полагается». Стали мы зарываться в снег, ничего уж не ожидая, кроме... неведомого. Власка рядом со мной улегся, охватил меня за ногу, прижался.— «Барин... миленький... боюсь помирать... не хотца...» А он знал, как легко замерзнуть: у него дядя замерз совсем около овина, из «монопольки» шел, чуть выпивши, в буран попал. И стал он молитвы шептать, про Богородицу что-то повторял. Тут и я попробовал вспомнить, как молятся. И, к стыду моему, не вспомнил. До половины только «Богородицу» знал,— забыл. Стал «Отче наш» вспоминать — до «хлеба насущного» дошептал, а дальше — как отшибло. А из Овидия отлично помнил, мог «Фаэтон» прочесть. И тут мы затихли... и затихли бы на веки веков, если бы не... Конечно, замерзли бы: выяснилось после,— под утро градусник упал до 23. Циклоном налетело. Это в степях бывает.

Как спаслись? Вот тут-то самое главное и есть — как. И почему к нам такое благоволение проявилось? Может быть, ради Власки, а может быть, ради простецкой веры нашего попика Семена. А может быть, для того, чтобы я рассказал вам здесь, для укрепления? Все усчитано там, прошлое не проходит там, времени нет там... все в одном миге там... все живет и есть, и нынешнее наше там уже и тогда было, и учтено,

и вот указано было, чтобы я сам познал и рассказал вам в трудные наши дни, для укрепления. И — для нынешней моей веры, в отпущение.

Сколько мы были в забытьи — не знаю. Время тогда пропало. Часы, пожалуй. Помню, что снилось мне. Барахтался я в великой горе, и гора была это не простая, а все восковые свечки, великие вороха свечек, холодных, белых, как чистый мрамор. Лезу, а подо мной свечки оползают, цапаюсь за них, а они ворохами на меня... и зайцы по ним, за ними, из-за бугра свечного глядят на меня стеклянными глазами, прижавши уши... и что-то за ними есть, куда я хочу вползти. Столько я перемучился на этих катучих свечках, столько в них утопал,— и вдруг прямо над головою — бо-оммм!..— церковный колокол, благовест. Пропали мои свечки-горы, вскинул я головой — метет! И опять будто вверху где-то колокольня,— бо-омм...— совсем-то близко. И слышу, Власка: «ба-рин... миленький... звонят нам!» Так и сказал не своим голосом, а жалким, детским: нам. И опять — бо-оммм..! — и глуше. Нет, не во сне,— звонят. И чувствую — нам звонят. Такое ощущение: нам. Спирток тоже отозвался: «слышишь..?» И все острит: «и услыша в поле колокола звон...» — И вдруг заорал дико: «Вздвиженки это наши, наш колокол, у меня слух тонкий! айда на звон!» И откуда у нас сила нашлась,— во тьме кромешной лошадей выволокли на край оврага, метели уж и не чувствуем...— только слышим: бо-омм... бо-оммм...— ровными промежутками, поглуше и порезче, словно округ нас ходит. Власка кричит: «близко совсем, теперь я наш овраг знаю»,— наш уж стал! — «по звону добегу!»

Словом, в каких-нибудь пять минут доплелись мы по звону за лошадьми до церкви нашего села Вздвиженки. Она на окраине стояла. И видим — ничего не видим, огонечек только. Это было батюшкино окошко, отца Семена. Вдовый старик, уж на покое жил. И странное дело: ночь глухая, а у него свет в окошко. И что же оказалось? Он — уже поджидал! Не предполагал, что будем, а был уверен, что будем, даже самовар поставил!

Подобрались мы к окошку, постучались. А он глядит из-за геранек, седая бородка, лысинка. Машет нам, и видно, как рот свой беззубый разевает, за рамами не слышно. Машет на дверь. Вошли — и слышим: «а я уж давно вас жду, самоварчик для вас согрел». Ну, будто во сне все это, как представление: все во мне перепута-

лось, гора из свечек, зайцы, буран и попик с самоварчиком, машет нам...— и ему все известно... И тут я почувствовал неопровержимо, всей глубиной душевной, что нет никаких этих там и здесь, а все — едино все связано, все в Одном.

Ввалились и видим: на часиках — без четверти 3. На столе скатерка, хлеб пшеничный, бу-ты-лочка... «Кагору», церковного,— какая предусмотрительность! — поднос со стаканами... и калечная старушенция, бессонная, тащит старенький самоварчик, из которого такими веселыми клубами пар, и из дырки на крышке хлюпает. Чудесная эта музыка для замерзшего путника, это всхлипыванье бурлящего самоварчика.

И стал нам попик Семен рассказывать... сказку-быль.

Лег он рано, в восьмом часу. С бурана разморило. И когда засыпал — подумал: «не дай Бог, ежели кого захватит такой метелью»... И еще подумал: «надо бы звонить, мужикам сказать... Василий сторож стар, трудно ему в такую бурю». И заснул. И вот слышит во сне «глас в нощи»: «батюшка Симеон, велел бы ты звонить, путники с дороги сбились». И тут проснулся попик. Послушал — шумит метель, не дай Бог. Обуваться надо, одеваться, в метель идти к сторожке, будить Василия... Тут его повалило, и он заснул. И слышит опять голос, настойчивый: «что же ты не звонишь? путники с пути сбились, замерзают! иди, вели сторожу, звонил чтобы!..» Проснулся попик, подумал: «это мысли мои шумят, вчера я думал... а надо бы звонить»... И опять будто в соблазн ему: «кто в такую погоду ездит, только народ взбулгачишь... не охота с постели подыматься. Василия будить надо, серчать будет...» И так разморило сном, что перекрестился попик, прочитал молитву о плавающих и путешествующих и пригрелся, уснул опять. И вот в третий раз «глас в нощи», строгий-строгий: «ты что же, поп? путники замерзают... звони сейчас же!» Тут попик Семен — с постели, валенки надел, шубенку накинул, разбудил старушку калечную, наказал ставить самовар, а сам побежал сторожа будить — звонить. Старушка спрашивает, чего ты, батюшка, ни свет ни заря чаю запросил, а попик ей: «гости сейчас будут, чайком отогреть надо!» И такая в нем вера возгорелась, что поставил на окошко восковую свечку и отворил ставню. И поджидал, молясь, у окна. И путники добрели,—«по гласу в нощи», во славу Господа.

Март, 1937
Париж

СВЕТ ВЕЧНЫЙ

Рассказ землемера

Ивану Александровичу Ильину

Подспудностью душевной знаю: вдруг постиг, прозрел.

Там я был землемером. На землемера у нас смотрели, как на зубного техника или телеграфиста. Мой кругозор не так уж узок. Я окончил институт, на инженера. Познал и Лобачевского, знаком и с логикой,— есть навык думать. С цепью и астролябией, в командировках, исколесил Россию. Всегда с народом. В понятые к нам не выбирают «желтоглазых». С отборными работал, опыт есть. Все это пригодилось. Осел губернским землемером в В. До тех двух «встреч» о «выводах» не думал. А кто их делал? Слишком мы были безоглядны. «Аршином общим не измерить»,— какие еще выводы! Оказалось...! От «октября», как и большинство, я впал в отчаянье и думал — все погибло! И вот та знаменательная встреча, последняя. Прозрел. И увидал не плоскость для обмера, а глубину... про-стран-ство. Россия...— «геометрия в пространстве». Всмотрелся, и...—

Первая «встреча» — как бы пролог. Случилось это года за четыре до войны.

В марте, в распутицу, пришлось мне выехать в уезд по экстреннему делу, для сверки планов. Требовал Сенат. С неделю провозился в земстве, распутал «неувязку», спешил к семье. А по дороге завернул в одно поместье — получил должок за обмежевку, пятьсот рублей. Получил, и парой земских, гусем, пустился к станции. Только что провели узкоколейку, и поезда ходили редко: опоздал — жди сутки. Оставалось времени в обрез, и я махнул проселком, выигрывал версты четыре. И дорога, думалось, не так разбита. Мой ямщик был пришлый новичок, я задремал и прозевал, где надо поворачивать на тракт. Пришлось крутиться, и вымахнули мы на тракт — на старый только, давно забытый. И оказались верст за пять дальше от нужного нам пункта. Вижу, что опоздал на поезд. А уж смеркалось. Попались мужи-

ки, из леса. Смеются: «а еще землемер! Ночевать в лесу, не миновать... а то валяй к «Упору», он пригреет!» Ямщик не знает, что за «Упор». Мужики смеются: «узнаешь, жарь прямо — и упрешься... на всем тракту, один верст на пятнадцать. Все перебрались на новый, один он тут бобылит, поджидает вас».

И тут я вспомнил. Про этот двор я слышал. Про Упорова ходили слухи. Мужик был поперечный и закрытый. Вдруг занялся лесом, завел с десяток лошадей. Но главное, что вызывало толки,— почему остался на «старинке», где проезжали редко. Говорили — печатает фальшивки, с конокрадами мухлюет,— лошадей-то он вдруг завел. Места глухие, лес на сотню верст. С первой смуты стало особенно неладно: почту ограбили, помещицу убили, года два орудовала шайка беглого Капцова. Говорили, что «и один справляется: четверо сынов, в него, все стоеросы, нелюдимы,— «живая шайка». Но было и другое: ревнитель к церкви! Евангелие пожертвовал, большое, в серебряном окладе, паникадило справил, образ соорудил Михал-Архангелу,— Михайлой его звали,— «сталоть, грехи замаливает». Было и еще, почему я вспомнил про «Упора»: «упоровское дело». Упоров подбил односельчан на тяжбу с помещиками, из-за «отрезков», десятин пять-шесть, где оказалась залежь глины, не хуже «гжельской». Предлагал взбодрить завод посудный. Дело тянулось долго. Упоров просудил тысячи полторы своих — и проиграл. Мужики валили на «Упора»: стакнулся с господами, с того и деньги. Еще до назначения меня губернским землемером много крови испортило чертежной нашей это «упоровское дело». После я разобрался в экспертизе, нашел ошибку на генеральном плане, но было поздно: Сенат решил не в пользу мужиков. И вот судьба меня столкнула с этим «темным».

Стемнело, когда мы добрались до постоялого двора у леса. Ни огонька, ворота на запоре. Стучим. Голос со двора, крутой: «кто?» Просим, не даст ли лошадей до пункта, а пока чайку напьемся. Я передумал: взять лошадей до пункта, а там, на земских, в В.— выгадаю полсуток, чем ждать до завтрашнего вечера на станции. «Не дам, весь день дрова возили». Вдвое предлагал,— «не дам, животину жаль, чай, мне». Самовар можно. Въехали.

Мужик серьезный, богатырь, глаза воловьи, с голубинкой. Напомнил Александра III — русой бородой, залысиной, всем обликом, спокойствием солидным. Проседь в

бороде. В доме чистота, образа с подзором, лампадка у Распятия. Двор просторный, забит санями. Парни — все рослые, здоровые все молодцы, заняты уборкой лошадей. Никто ни слова, будто в монастыре. Порядок, строгость,— хозяйственность. Хозяйка молчаливая, высокая, под стать Упору, в черном платке,— старообрядкой, властная такая. Я подумал: «Марфа-Посадница». Вносит самовар, все молча. Прошу яишенку-глазунью,— нет яичек, куры недавно занеслись, к Светлому Дню самим. Огурчиков, капустки можно. А я проголодался. Ни сметаны, ни творогу: самим. Мой возница чай дует с хлебушком, огурчика дала хозяйка. Ну, своим запасом обойдемся.

А я вез к празднику пять фунтов колбасы, «салями», в М. купил: славилось то место колбасой. Старуха немка, колбасница,— как она в М. попала! — приготовляла замечательную колбасу, на всю губернию гремела. Что она припускала... ну, необычайно была душистая, коньячный пряник! Бывало за один присест фунт съешь. Вынул я «салями» — и приступил. Колбасища была аршинная, в серебряной бумажке. Сразу — дух такой, заманный, с перцом...— завод колбасный! Ямщик мой, слышу, носом так, от раздражения. Зубровки выпил, закусываю с аппетитом...— хозяин входит, увидал. «Что ж ты это, барин, колбасу ешь, да еще под образами... так негоже». Вот неожиданность, на постоялом! Почему негоже? — «Нонче те и в трактире не подадут на людях, разве уж самые корыстолюбцы. Горница тут у нас, с постоем я покончил, знакомые когда заедут — принимаем, либо вот-во в неурочь, как ты». И строго так, с укором. Вспомнил тут я, что пост, Страстная. В шутку обернул: «в пути, мол, разрешается».— «Нонче и в пути не разрешается беспутье... какой день нонче? страшной! Великий Пяток, Христа распяли! иль ты не православный, Христа не знаешь?!» Пони-ма-ете..! Стало мне перед ним неловко. Говорю: «не то грех, что в уста, а что из уст». А он, с нажимом: «что в уста, то и из устов». Мудрец. «С того и все у нас, с поблажки, правилов не держим. С того и смута у нас была. Народ от страха отучают, от порядка,— пути не будет. У нас доктор земский, дурак, говорит... слыхали! — никакого Бога нету! Вот, в гласные члены буду выбираться, сор-то повыметем, наведем порядки. Есть у нас мужики. Ты вот земномер... какая же у вас там правда?! У нас от верного планту барину шесть десятин посудной глины оттягали! Не оставлю дела, до царя

дойду. Сенат-рассенат ихний — закон ломает! Ай и правду сгноили всю?» Осерчал и вышел.

Взяло меня раздумье. Кто он? Правильный или плутяга благочестием прикрылся? Слухи-то. И вот что еще приметил. Как говорил с хозяином, молодцы его все заходили. Зайдет один, глянет на меня быком таким,— будто ведро берет. Другой заглянет — узду повесит. Все побывали, поглядели. И все как на подбор, гвардейцы. Будто... разглядывают, глазами по пожиткам шарят. Тревожное меня кольнуло. Слухи-то...

Ямщик к лошадям ходил. Приходит, озабоченный, и шепотком мне: «Можно бы и ехать, да оглобля, гляжу, сломалась, а все жива была... разве об стояк воротный? Дорогой, правда, что скрипела. Надо оглоблю у хозяина просить». Толкнуло меня — ехать. Проси оглоблю! Приходит: «хозяин говорит — заночуйте лучше, с огнем не пойду в сарай выбирать, сыны легли, хотите — свяжите свою оглоблю, уезжайте с Богом, не жалко нам». Вот, думаю, попали в монастырь.

А еще такая вышла штука. И как раз, когда входили парни. Пятьсот рублей были у меня в боковом кармане, в тужурке, пачкой, сотняжками,— с деньгами я просто обращался. Забыл, вытаскиваю «Русское Слово» из кармана, пачка и выскочи на стол, а со стола под стол. Хозяин поднял и говорит: «какими деньгами-то швыряешься... ай легкие за планты дарят? — с ухмылочкой.— Не боишься с такими... нашими лесами ездить. И лошадей отымут и... А ты ночью еще хотел, лошадей требовал. Вон и гололедь пошла».

Постелила хозяйка мне на лавке, ямщика где-то в постоялке положили. Лег, не могу уснуть, полезли мысли. А еще мне ямщик, как про оглоблю говорил, шепнул: «поберегитесь, барин... что-то наши хозяева мне не ндравятся, волками смотрят... и парни давече чего-то все шептались, приметил я». Мысли и завозились: и оглобля, и... главное — деньги показал! Мужики-то смеялись — «он пригре-ет!» Слухи слухами, а что-то за ними есть. С праведником грех бывает, а тут за деньги, ох, как держатся, видно по всему. Погляжу на лампадку, на Распятие...— нет, быть не может. Петух пропел — не сплю. Лошадь переступит — так и вздрогну. Прислушиваюсь...— глухота-а... только крупой дерет, в оконце. Лес, жилья не видно. Вынул из шубы браунинг, сбоку положил. Всегда с 905-го возил в дорогу. Чуть забылся — вздрогнул, как пронзило: скрипнуло дверью из сеней. Вскипело,— и мо-

роз по коже, упало сердце. И вижу, при лампадке,— белая тень... высокий... вытянул голову в покой... и слышу шепот: «спит..?» Застыл я, слышу...— «спит... востро наточил?.. давай...» Так и провалился я в лед, а слышу — нервы-то как струна: «сразу ты..!» Вытянул ручищу, блеснуло при лампадке... нож! И, босиком, ко мне... пригнулся... Помню,— машинально, браунинг «на бой», веду к груди, перед собой... сейчас... К столу вильнуло, тенью! Как я не выстрелил, не крикнул...!? К столу, и — р-раз! — по колба-се-э!! Как треснула бумажка, слышал...— и, тенью, испарился? Тут уж я провалился в жар, в такое облегчающее, в раж какой-то, чуть не загоготал от счастья. Прямо бежать хотел за парнем, всю колбасу отдать и наградить. Все тут и разрешилось, все я понял: и самого «Упора», и — какую-то стихийность его правды. Так озарило меня «счастьем». Не мог заснуть, от встряски. Думал: славная семья...— в розовом для меня все стало,— есть еще «патриархи» на Руси, кряжи, живут «заветом». Все «слухи» испарились, все стало ясно, до грешка-соблазна колбасой. Привык к насиженному месту, вот и остался на «старинке», ребята молодцы, деньжонки сбереженные пустил в дело, лесными разработками занялся, самое родное дело, в промысла пошел, мужик резонный, умный. Нет, не прикрывается, а «правильный». Дал себе слово помочь «Упору» в тяжбе, намекнуть сторонкой насчет ошибки на генеральном плане, чтобы просил о пересмотре. Трудно это, но можно, по высочайшему указу.

На заре мы починились, простились с хозяином,— он был такой же строгий, хмурый,— и дернуло меня! не удержался. Корю и не корю себя за это. Не корю, потому что получил урок, хо-роший. Нет, сглупил, не надо было. Говорю, что вот чуть было не случилось страшного, из-за пустяка... чуть не убил кого-то из молодцов... «Упор» весь подтянулся, выкатил глаза воловьи...— «ш-шшто-о..?!..»— не сказал, а хрипнул, будто ошпарил этим шшшто-о..?! Я повернул на шутку, но «Упору» не до шуток было. Пальцем мне так — «постой...» Тут уж мне скверно стало. Хозяин крикнул в дверь: «Андрюшка..!» Оклик был железный, затаенный. Я подумал: почему — Андрюшка? Вошел Андрюшка, младший, но тоже рослый, розощекий, в пушку таком, как полупарни наши, чистые еще. Братья собирались за дровами, были на дворе у лошадей. Вошел, готовый, в полушубке, снял шапку. «Подь сюда...»— каким-то нутряным подзывом сказал «Упор». Тот пододвинулся. Юное его лицо сказало в с е. Стал

перед отцом, потупясь. Стыд, жгучий стыд, покорность, безответность, сознание неотвратимого и должного — было во всей его фигуре. Такое чистое и детское сознание вины и — искупления. Мне вдруг открылось, что это — за мою вину. Открылось в его глазах. Миг — и... удар! Не по лицу, а... по загривку, как выстрел, сухо. Андрюшка вдруг согнулся, как неживой, без звука, и метнулся вон. Все произошло в мгновенье. «Упор» блеснул зубами, на меня, с пронзающим, холодным взглядом. «Вот, барин...— сказал он задыхаясь, с дрожью,— твоя колбаска... чего стоит!.. кто всему причина?!..» И так, рукой будто ударил,— вышел. Я понял, что он меня ударил. Ударил крепче, чем Андрюшку,— все сказал.

Когда мы отъезжали, двор уже опустел. «Упор» не провожал. Я позвал хозяйку. Она пришла, расстроенная, денег не приняла: «не велел хозяин». Как же так..? «Не знаю, не велел». Даже не сказала: «счастливо ехать». Я был расстроен. Ехал по ухабам и повторял растерянно и, право, не без восхищенья: «ка-ков... у-пор!» Ямщик мой обернулся и подмигнул: «во какой, су-рьезный... го-ло-ва!»

Вторая «встреча» — через двенадцать лет,— как бы эпилог.

Весной 22-го года взяли меня большевики в подвал. Всю губернскую чертежную арестовали, за обман и ограбление трудящихся: обманными «плантами» мы грабили народ и продались помещикам. Нас опустили в подвалы бывшей «монопольки». Всякого сорта было,— «на все — про все». Было до полсотни мужиков. Их взяли за «вооруженное восстание при изъятии церковных ценностей». И тут я встретился с «Упором».

Что-то меня стесняло подойти к нему. Он поседел, но не подался: ходил все так же властно, как у себя. Одет был чисто, в новом беленом полушубке. С ним был солдат, лет 28, такой приятный. Я сразу узнал Андрюшку, по глазам. Рука его была обернута тряпицей. Они держались вместе.

Мне рассказали всю историю. Кстати: тяжбу он-таки выиграл. Глину мужикам вернули, «по царскому указу». Так и не узнал «Упор», как выплыла ошибочка: какой-то безымянный «благодетель» намекнул в письме.

На бунт подбил «Упор». Мужики хотели отступиться, говорили: «ладно, пущай их отбирают... наше придет — лучше еще укупим». Но пришел «Упор», «с картечью», и привел обоих сыновей-солдат, с винтовками. «Старшого

убили на войне, в Мазурах, в болотах. Середний с Врангелем уехал. А двое воротились живы. Привел, приставил к церкви. Стал кричать, сердито: «Как можно дозволять такое! за Божье дело, за правду Божию ду-шу свою надо положить! от Бога отступиться... чего ж тогда останется?!..» И заплакал. И мужики расстроились, разгорячились...— не дадим! Теперь вот свянули, а то кричали: «бей в набат, сбивай народ!» Ихнюю комиссию отшили, по шеям попало. Три дня дежурили у церкви. Были и еще солдаты, и охотники наши, с дробовиками: кто-что, «Упор» командовал с сынами, сам из гвардейцев, прежний, службу знает. Староста еще церковный, старичок, мед скупал по уездам... ох, шибко тоже горячился. Там его и убили, на паперти. Выбег из церкви с запрестольным образом, стращать — сразу и срезали из пулемета. Партию они своих пригнали, с пулеметом. Супротив пулемета — где ж! В церкви мужики засели, палили через окна. Энтих штук восемь повредили, двоих убили. Тогда и Сеню Упорова убили, отошел во храме. Их четыре дня томили без воды, и уж патронов не хватило. Взяли мужиков обманно, бумагу прочитали, что отнимать не будут, и всем прощенье. Мужики вышли, а «Упор» не вышел, не дал веры, и сын при нем. Так их и взяли. Старик сидел над убиенным своим Сеней, читал молитву, Андрюшке руку прострелили».

Мы встретились у крана, брали воду. Старик узнал меня: «а, земномер... вон где привелось столкнуться». Оживился: «а дельце-то, с глиной, на правду повернуло. Господь помог». Вспомнил и про «колбаску». И Андрюшка вспомнил — улыбнулся. Три дня мы были вместе, подружились. Сказал мне, шепотком, чтобы Андрюшка-то не слышал: «решат нас, чую... а правду не решат!» Он помягчел и посветлел. Все его очень почитали. Даже и те — считались. Комендант, свирепый, на перекличках вычитывал раздельно: «Михаил... Васильевич...— и делал передышку,— «гражда-нин У-поров!» И смотрел внимательно,— где он? — и как бы с любопытством, пытливым глазом. Было даже так. Солдатишка-страж улучил минуту и шепнул: «может домой чего сказать, отец... передам я, истинный Бог, все передам». Говорил старик: «тут меня уважают, сказки про меня мужики забыли, теперь доверились... и что подбил-то — не серчают, ничего, прониклись перед концом-то, что за правду». Внуки у него росли, семеро внуков и три внучки. Трое сынов женаты были. Говорил: «моя старуха воспитает их в

страхе Божием, в законе». Жалел Андрюшку: «следа-то не оставит, се-мя... ох, хо-роший». И прибодрялся: «нас, пятерых, не станет,— вдвое будет по нас... жив наш корень». Сказал еще: «есть по всей России... не извести». Все вспоминал про сыновей: «молодчики-то каки все были-и...— и слезы у него блестели, смаргивал,— правильные были... сколько моя старуха хлебнула горя!.. внуков поставить на ноги, жива коль будет... по совету у нас с ней все, и это... все по совету». Мягко говорил, поокивал. «Вот, барин, и расхлебываем, а не мы варили. Нам такого не выдумать: умные наварили, а нам расхлебывать. И умным тоже приходится, дохлебывать...— мотнул он в сторону, где были взятые из чистых.— К тому тянули. Ничего, пройдет. Котел наш крепкий, всех не изведешь, заварим. Смоем грех. Это, барин, уж за все расплата».

В беседы наши Андрей сидел понурый. О чем он думал? Мне вспомнилось утро, как кликнул его отец: «Андрюшка...!» — вспомнил глаза его. Все те же они были, светлые. Я видел в них покорность, безответственность, сознание неотвратимого,— но не вины, как прежде, а жертвы, искупления,— за что? Может быть, он об этом думал. В его глазах я видел затаенное, глубинное: тоску, которую нельзя измерить. Вот тогда я понял... не логикой, не плоско, а глубинно... таинственным, духовным зрением, что так, неискупимо,— не может быть. Подспудностью душевной понял, как закон. Увидал глаза — и понял: это — умереть не может. Свет его глаз, свет вечный, проник в меня и осветил потемки.

Их взяли ночью. Накануне старик шепнул мне: «нонче, чую». Был спокоен, грустен.

Я не спал. Семеро очередных пошли покорно, как во сне. Крестились, быстро. И мы крестились. В мутном свете узнал я высокую фигуру старика, в новом беленом полушубке. Шел он, обняв под спину своего Андрюшу, в солдатской все еще шинели, вел, поталкивая немой лаской. В дверях запнулся, повернул голову и крикнул: «простите, православные... останутся живые... Нас помянут... Господь...» — дверь хлопнула.

Останутся живые. И помянут. И выправят. Жив корень, выбивает поросль, шумит. Я слышу. Видите пространство..? Глубину? Я вижу. Ясно, без «интуиции» понятно — по чертежу.

Апрель, 1937
Париж

ТРАПЕЗОНДСКИЙ КОНЬЯК

Рассказ офицера

Представляете, что такое глухая осень в горах, на подступах к Анатолии? Возьмите прямую — Трапезонд-Эрзерум. От нее к западу — горные дебри, бездорожье, редкие поселения, девственные люди, как тысячу лет назад,— «анатолийские мужики». Встречаются красавцы. Девушки попадаются...— персидская миниатюра. Штабс-капитан Грач...— дед из хохлов, мать московка, убежала с кавказским офицером, отцом Грача, занявшимся под старость нефтью, и к тому времени богачка, дома в Тифлисе,— так вот этот Сережа, талантливый, все стенки мазанки нашей разукрасил этими «анатолийками»: головки, чадры, шальвары, туфельки, опояски...— сон из Шехерезады. Раньше мы с ним в Персии стояли, повидали. Так вот, глухая осень 1916 года. А где стояла наша полубатарея, так это и не глушь даже, а прямо орлиное гнездо. Только мы да турки — немцы еще, пожалуй,— знаем, что такое был этот «кавказский фронт». Западу это мало внятно. А там-то и шла истинная война, «боевая игра героев». Турки отличные вóяки, но наши туркестанцы, кавказские стрелки, пластуны..! Ахнул запад, как мы в морозы, по грудь в снегу, с налету взяли считавшийся неприступным Эрзерум. А Саракамыш, Эрзинджан... Трепали и Энвера, и Кемаля, Ахмет Изета и немецких генералов. И при каких же ничтожных средствах, полуголодные, полное бездорожье, отлично вооруженный противник, который в лоск раскатал союзников, в памятной «дарданелльской операции». А мы этого трепача и растрепали.— Суворов с Ермоловым не постыдились бы. А почему? Традиционный кавказский дух, решительные вожди, и... союзники не мешали. И вот к октябрю 16 года бои закончились, и мы стали на рубеже. Впереди — анатолийская горная пустыня. Завалили снега, глушь стала замогильной. Наша полубатарея, как я сказал, занимала позицию на горном тычке-обрыве, прямо — орлиное гнездо, вид верст на пятьдесят. Под нами, метров семьсот

в отвес, шумела речка, один из тамошних «чорохов»: летом курица перейдет, в дожди любые понтоны расшвыряет. На нашей стороне закрепился стрелковый батальон и сотня пластунов; за речкой турки в снегу зарылись. Путь к нам в гнездо был самый отчаянно-турецкий, печенки отобьешь, загогулинами верст двадцать, хоть и рукой подать, и жили мы, как анахореты афонские. Почта раз в две недели, душу отогревали спиртом, а при случае — трапезондский коньяк, «вывороти глаза». Доставлял его нам Аристопулос-мошенник, под собственной этикеткой. Чего он туда вертел, кукельван, что ли, подбавлял... так глушило..! А этикетка — живой магометов рай. Пьешь и любуешься, будто султан в гареме. Офицеров — командир Грач да я, команды человек семьдесят. Работы никакой, тощища. Спускались первое время к батальону, в двадцать одно стегали, но пошла погода, очертело,— полная неврастения. Лежим и плюем, кто дальше. А Грач с горьким зарядом был, два месяца ни звука от невесты. И вот в середине октября жданное, в розовом конвертике, и сразу Грача по голове: ошиблась в чувстве и уезжает в Питер. Кое-что от Грача я знал. Писала ему мать — был в Тифлисе поэтик питерский, головка лаковая, лик прыщавый, но привлекал поэтическим магнитом. А девица стишками баловалась и даже раз напечаталась в «Приазовском Крае». Самая современная, с болтайками на ушках, и всегда в истерической истоме: «ка-ак мне все надое-э-ло... хочу неправдоподобного!» Неправдоподобный ее и утянул. Не терплю этой бламанжи. Ну, Анна Каренина если бы, а то слюнява панихида под дурманцем.

Грач был в отца, горячка, а от матери — твердость и прямота. Два дня все лежал, определялся. Наконец, поднялся, снял со стенки «неправдоподобную» и — в печку. И пошел у нас «трапезонд». Метель, чикалки — катай под музыку. Вестовой барина разденет, укутает и сидит-зевает. Славный хохол, Канальчук, батумский... такая-то бестия-каналья, везде найдется. Грачу был предан... душу за него положит. Спас его Грач от сыпняка, коньяком поднял, не было камфоры у нас. Грицко и платил ему. Хватило и его Грачиным горем, и он помаленьку трапезондил.

Вот Грач и говорит, и розы на лике его молочном,— красавец, карие глаза, горячие, а белотельем в свою московку: «к черту! жениться буду — нетронутую возьму, без вывертов, чтобы душа, как родниковый ручей, чтобы все

ее небо было видно... только вот где такая!» А Канальчук глядит на барина умильно, и рот врастяжку. Я одобрил, сам о такой мечтал. А была на стенке у нас картинка, повторял ее Грач в этюдах: тонкое девичье лицо, головка каштановая, брови таким разлетцем, как удивление, будто ей мир открылся... а глаза сине-синие, восточное что-то в них, у персиянок встречается, и что-то родное, наше, сердце твое берет, и чувствуешь — всю себя отдаст, если уж накрепко полюбит, такая ясность и глубина. Так вот, глядит Грач на головку эту и кивает раздумчиво: «где я ее видал, как я ее писал... нет такой!» А надо сказать — в Персии, под Тавризом, мы в духане одном видали такую мельком, в арбе она проехала со старухой. Персы зацокали, а хозяин сказал: «дешево купил: кипа табаку да двести туманов», на наши рублей восемьсот. Соседний шейх в жены сговорил, в свой гарем, и шейху тому за семьдесят. Так мы вскипели, что хоть повесить шейха. Грач ее после зарисовал, по памяти: девчушка, годков четырнадцать. Вспомнили мы ту встречу, хватили трапезонда, да так, что я два дня без памяти лежал. И вот когда я «отсутствовал», и случилось...

Надо сказать, что пока мы с Грачом были в еще состоянии точного прицела, усмотрели мы в этикетке трапезонда, среди волшебных гурий, ту самую девчушку: ну, по-хожа...! «Вот такую бы взял,— сказал Грач,— само естество; эта уж ве-рная навеки». И впали мы с ним в анабиоз. Но тут мне придется рассказывать со слов Канальчука, до моего восчувствия. Грицко чертовски талантлив был на изобразительность, рассказывал так ярко, будто я сам присутствовал.

К вечеру потеплело, и хлынул ливень. Грач скок с тахты: «Канальчук!» Как лист перед травой. И велит ему Грач сейчас же скакать в деревню, что за нами, в нашу уж, как бы в Россию, и сейчас же доставить ему сюда красивую девушку, и не для баловства, потому что Грач был отменно скромный, стыдливец даже, и, притом, что бы там ни говорили, а наша армия свято блюла приказ — с населением занятых областей обходиться строго законно, беречь имя русское и славу Белого Падишаха,— а желает, мол, командир вступить в брак, как полагается по ихнему закону, и чтобы все по согласию, а командир закрепит по-своему — под венец. Приказал натвердо: «без невесты ко мне не возвращайся!» Что у него в голове варилось — неизвестно. Приказывал

твердо, «как у орудия, припечатали-приказали, вполне при себе»,— и лег на тахту, руки за голову, «будто о важном думка». Канальчук: «слушаю, ваше благородие!» — и началось его мифотворчество. Что в его голове варилось?..

До деревни было верст семь, дорога головоломная, развело снег и грязь, загремели потоки, пала темень. Канальчук взял электрический фонарик, винтовку, сигнальную трубу — «на случай», оседлал своего «Молодчика» и пустился. Дорога была знакома, таскался в духан туда. Была глубокая ночь, когда он добрался до деревни. Все спало, но поднялись собаки и начался тарарам. Ахнул в них из нагана, выскакал к минарету на площадку, «перекрестился» и затрубил тревогу. Поднялся переполох, кто-то завыл с мечети, набежали, глядят — солдат, урус! А он по-татарски балакал бойко. «Я, говорит, парламентер, немедленно старшину и муллу, важное приказание!» И фонариком в них — фук-фук. Заполошились, пришел старшина безрукий и мулла, зеленая чалма,— три раза, значит, в Мекку ходил. Что такое? А то, что главный начальник-ага, у него пушки на той горе, и чуть что, сейчас повернет, и все под косу, к шайтану! И велит начальник-ага: сию минуту жениться законным браком, под бумагу и под печать, потому здорово затосковал, и чтоб выбрать самую красивую невесту, какая только имеется, и чтоб сам старшина и мулла, и родители немедленно явились, «екстренно», и припечатали брак, как полагается, под расписку. А у аги мамаша самому Белому Царю известна, и половина Тифлиса у них домов, и караси-ну... двадцать пароходов ходит, а бани мраморные...— бани приплел с чего-то! — и горы лир золотых,— «золото на вас валится!» «А ежели заартачитесь, хоть на одну минуту, сейчас повернем все пушки, и все к чертовой бабушке, до горы ногами!» Его признали. И, представьте, эти простые люди все приняли за правду. Стали обдумывать, старшина с муллой и говорит: «начальник приказал, дело строгое, мы русских любим, обиды нам от них не было». Стали перебирать, какую девку везти к начальнику. Выбрали. Пошли к одному двору, а мулла остановил: у Мамута надо; пять девок у него, одна краше другой, хоть и бедный самый, а одеть оденет, а лучше всех Дзюльма, пятнадцатая зима пошла, только как бы не заупрямился, что меньшую». Канальчук им — «эту и давайте, полное вам от нас доверие». Повалили на край деревни, подошли, стучатся: «вставай, Мамут, счастье тебе от Аллаха привалило!» Отпер Мамут, на костыле,— с войны только воротился. Стали кричать —

«ага-урус требует твою Дзюльму в жены, выкуп богатый даст, и по закону, как полагается!» А мулла подмасливает: «пошлет тебе Аллах теплый ветер к сердцу». У Мамута и ноги подкосились: чудеса в решете! Вошли в мазанку, зажег Мамут сало в плошке и велел Дзюльме одеваться — смотрины будут. У них это не полагается, а Канальчук — никак: «вы нам кривую еще подсунете!» Долго спорились: «нет, кажи!» Ладно. Сели на корточки, курить стали. Канальчук свернул «ножку» и говорит: «всех показывай, будем выбирать!» Стали показывать — одна лучше другой. А бабушка плачет и бубнит,— матери-то у них не было,— «ярочки, звездочки... в Истамбуле не будут краше». А как показали меньшую, хлопнул Канальчук старшину,— «лучше не требуется, берем!» А Мамут ему: «пусть ага за жену в дом даст...» — почесал затылок, на потолочину поглядел,— «два ста лир». Крикнули старики: выходит полторы тысячи на наши. А Канальчук: «это нам плюнуть, дадим и триста!» Зацокали, ударили по рукам, готово. А та, кроткая, как овечка, к бабушке на грудь укрылась. Повела старуха обряжать, а Канальчук торопит: «Кончай до зари, делов по горло». Старшина пошептал,— нам с муллой магарыч. Ладно.

Обмыли, обрядили, фатой накрыли, розовый сарафан. шит серебром, пояс — серебряные рубли, наши, в ожерелье два полузолотых,— наше золото в Турции ценили, туфельки малиновые в золотых разводах, ногти хноей накрасили, бирюзовые сережки, бабушкины, навесили,— ахнул Канальчук: «и на каком огороде репка такая выросла!» Посадили на кривую ослицу, накрыли шалью и тронулись всем собором. Мулле старую мулицу дали, старшина пеш пошел. Канальчук впереди, фонариком постреливает, собаки проводы замыкают. Мимо духана не прошли, взбудили турка, а там Аристопулос-мошенник. Велел Канальчук всем кофию, записать за самим агой. А невеста ждала на улице. Вызвездило, морозец. В 3-м часу пришли, сторожевой окликнул, все обошлось. Вошли в офицерскую, на пол сели, невесту на табуретку посадили: «жди-сиди». А Грач — на тахте, камнем. А я за занавеской, в «трапезондском отсутствии». Канальчук доложил: «так что, ваше благородие, привез невесту, извольте глядеть!» — за ногу его. Грач поднялся, как был, во френче с золотыми погонами, с Георгием, высокий, красивый, с розами во все щеки, вид орлиный, глаз соколиный,— «ну, ни в одном глазу!» Только — «лицом

сумнительны, будто в себя глядятся». И всем понравилось, очень по виду строг. Канальчук Мамуту мигнул — показывай товар. Мамут фату откинул — извольте глядеть. У них это не полагается, до свадьбы, а тут старшина велел и мулла ничего, подакал. Ну, красота-а..! А Грач воззрился под потолок, не смотрит. Так всем понравилось, что закон хорошо блюдет. Грач мотнул головой — что у него варилось? — и руку всем протянул, будто благодарит. Канальчук им — пиши заручную, по закону,— «у нас по метрике». Мулла пошептался со старшиной, с Мамутом, поднял руки, полопотал... дескать, живите в согласии и любви, наставили на бумажке палочек, мулла каракули разыграл винтами, а Канальчук батарейной печаткой хлоп — все в порядке. А невеста сидит, как птичка на тычинке, перед ротиком только кисейка дышит — жива еще. А Грач ни слова, столбом, смотрит под потолок,— «ну, так-то чинно, лучше нельзя, прилично». А это на него так трапезонд оказывал — полное истуканство. Меня — в бесчувствие, а его в стоячий анабиоз. А теперь к расчету.

Мамут — триста за дочь! А у нас пять целковых, неделя до получки. Канальчук барину: «скажите, что опосля, по телефону мамаша вышлет». Грач промычал, а Грицко им: «четыреста, говорит, получишь за просрочку, расписку дадим с печатью». Нет, на руки давай. Спор. И мулла, и старшина со стариками — на руки! Канальчук грозит: «как так не верите командиру-аге? мы полцарства вашего завоевали, у нас карасину миллионы... а коли так, сейчас повернем все пушки — и все под косу, к шайтану!» Стали лопотать, уломали-таки Мамута: неделю погодить, только бумагу на руки. Начеркал Канальчук, что в голову попало, подал барину подмахнуть — приказ, мол,— тот подмахнул, не видя, печаткой хлоп батарейной — готово, получай. А та сидит — кисейка на ней дрожит, про пушки поняла, пожалуй. А Грач — каменно стояние, «и как будто стоя спит». А Мамут не пронялся: сыму с нее наряд, я человек бедный, кровью-потом все собирал, и нога перебита, и девок куча, после свое получит, как выкуп даст. Всех прогнал, давай разоблачать. Снял сарафан нарядный, и пояс, и ожерелье, и туфельки. Хотел и шитую шапочку с фатой, да стыдно, что ль, ему показалось, раскрыть-то ее совсем,— оставил. И подушки ее забрал, и два кувшина медных,— осталась она в халатике на ватке, широкие рукава, раструбом. А она, вся покорная, кроткая, как овечка, ножки поджала, сидит-помалкивает,

слезки сияют только: подумать — отец раздел! Канальчук туфельки вырвал у него, велел обуть: «невеста босая не бывает!» Ну, поворчал анатолийский мужик,— ладно, говорит. Взял Канальчук баринову бурку, прикрыл невесту,— стала она дрожать. А Грач рукой так, будто прощается. Вытолкал всех Грицко, а Грач — хлоп на тахту и — камнем. Канальчук «перекрестил молодых»,—«час вам добрый!» — и удалился на цыпочках. И остались молодые сам-друг с печуркой. Потрескивали дрова да ветром било о глиняную стенку.

Теперь начинается мое «присутствие».

Меня разбудило солнце. Поднялся, гляжу за занавеску...— что за чудеса?! На табуретке, у изголовья Грача, Шехерезада, с этикетки! Протер глаза, крикнул: «Сергей, во сне это мне, Шехерезада?» Жуть даже проняла — может, с ума сошел? Гляжу, а Шехерезада протягивает ручку — и... моего Грача не-жно так, по щеке проводит, ребенка ласкает словно! Я-то не знаю ничего, а она уж при исполнении обязанностей, супруга, это в крови у них, как инстинкт. Друг дружке и слова не сказали, и с места не сходили, как ее вчера на табуретку ткнули, а уж она будит его лаской, оклик-то услыхала мой. И черную его прядь на молочном лбу оправила, с глаз сняла. И все так нежно, как дуновение. Ножки — как младенца, ручка из голубого рукава-раструба, будто розовый стебелек,— и вся — как куколка. Протер я глаза: сидит, кисейка отпахнулась, личико видно стало...— и ахнул я! Бывает же такое...— ну, та, живая та, девушка из-под Тавриза, мечта-то наша, тот самый тип, с персидских миниатюр, самый живой «этюд»! Как-то хранится э т о, в тысячелетиях. Странное совпадение, но — факт. Грач, наконец, очнулся, всмотрелся, приподнимается, сел. Рукой так, на нее — «ты кто?» А та... Господи, что за жест! — по лицу его, не-жно так...— фантасмагория! без слов понятно: «я, мол, жена твоя». Так вот именно и сказала ручка. И, верите, ни страха, ни... ну, ничего, как надо. Это у них от века, как дыханье, как бы служение. Так вот у пчел: чуть из ячейки выбралась, чуть обсохла, расправилась,— уж пчела, знает свое призвание. Грач на кулаки откинулся, взирает очумело, и на лице удивление и... восторг. С глаз кулаком смахнул — нет, сидит! Поднялся, осторожно, кругом ее обошел, а она с него глаз не сводит, головкой за ним следит. Он тогда по-турецки: «ты кто... как ты сюда попала?» А она ему кротко-нежно, и голосок — серебро живое — буль-буль — соловей по-их-

нему: «жена твоя, господин». Грач шатнулся, а Канальчук, в дверях: «так что честь имею, ваше благородие, поздравить с законным браком!» Тут уж я упал на тахту и стал себя за волосы трепать: во сне или наяву мы все?!

Словом, история неописуема. Канальчук доложил, что было, «все по закону» и...— «теперь как прикажете». Грач был в великом замешательстве и... в восторге. Дзюльма была неотразима своей покорностью, нежностью, красотой глазами... «чистоты родникового ручья и неба», и это небо было — ее небо, ее душа. Вся она была настоящая, нетронутая, «без вывертов», такая, о какой тосковал Грач в мечтах. И эта мечта осуществилась, стала его женой. Или — «почти женой».

Он взял ее руку и гладил нежно, раздумывая, как же теперь все будет и что с ней делать. Она покорно ждала, как кроткая овечка. Глаза ее... Не детские были ее глаза, и то, что томилось в них, что было в их грустном взоре и наклоне ее головки, шеи,— все это было извечно-женское, созданное в тысячелетиях, влекущее и творящее неудержимо... и властно чувствовал это Грач. И сразу определил-решил. Тут же, своим инстинктом. И все, будто вот так и надо, решило с ним: да будет.

Как раз заявился Аристопулос-мошенник, Грач достал у него под вексель пятьсот лир. Канальчук отвез выкуп Мамуту, уплатил магарыч мулле, старшине и старикам, привез Дзюльме ее наряд и старуху — побыть при ней. К вечеру Дзюльма разубралась и, кажется, обошлась совсем. Грач ей сказал, что повезет ее далеко, сделает ее русской, и она будет жить у его матери и готовиться к настоящей свадьбе по нашему закону. Она радостно-удивленно закивала. Можно сказать, пожалуй, что она полюбила красивого уруса, если не устрашилась полюбить: она на него взирала с благоговением, как на живого бога. Грача смущало, как отнесутся к его «безумию». После всего не могло быть и мысли об отказе от посланного судьбой подарка. Но все разрешилось — нельзя лучше.

Мы перешли в общую казарму: команда живо очистила нам закуток, очень довольная происшествием. Канальчук сообщил, что «очень одобряют, молодчага наш командир». Дзюльму оставили в мазанке со старухой. Утром Грач поскакал в штаб дивизии и подал рапорт о происшедшем. Дивизионный, старый кавказец, крепко распек его, посадил на двое суток под арест, потом в частном порядке,— он знал старого Грача-полковника,— одобрил решение жениться и обещал перевод в Тифлис. Получив

отпуск, Грач вернулся с сестрой милосердия, которая привезла что нужно, Дзюльму одели и увезли в Тифлис, к матери Грача. В те дни я был в приподнятом настроении, по-новому опьяненный, и было как-то не по себе, что Дзюльма пропадет как беглый сон,— будто меня обидели. Жизнь наша круто изменилась. С Грачом мы простились грустно: оба творили сказку, и сказка кончилась для меня.

В феврале, перед самой революцией, Грач писал из Тифлиса, что Дзюльма учится, уже порядочно говорит по-русски, и батюшка готовит ее креститься. В апреле писал, что Дзюльма необыкновенная, все от нее в восторге, ее уже окрестили, и теперь она — Оленька, и скоро свадьба, мать не нарадуется: Оля — вся — грация, нежность, кротость, чуткость и чистота: сама природа дала ей все, чего не дадут никакие институты... что он безмерно счастлив, того же и мне желает. Да, того же... поди, поймай.

В июле, проезжая через Тифлис, я направлялся к ним. Идя городским садом, я вдруг услыхал — «Таш-Таш!» — интимное прозвище мое, и увидал прелестную девушку, шатенку, в розовом газе, в широкополой шляпке. Она шла под руку с красивым офицером, который радостно мне махал. Я, прямо, залюбовался ими. Ну да, это были они, счастливые. Дзюльма... Не было Дзюльмы: была прелестная, юная, изумительно-изящная европеянка,— вот никогда не думал, как легко ей далось, свободная эта грация светской девушки,— только в синих глазах ее оставалась знакомая мне кротость, отсвет какой-то обреченности, нежная грусть и д а л ь... то извечное, что привлекло нас в Персию, на миниатюрах, что так кольнуло на пыльной дороге у духана, что старался поймать на свои этюды Сережа Грач, что он, наконец, п о й м а л и сделал своим навеки. Это ч т о - т о... чем выражалось оно в глазах? Непостижимо это... что-то в разрезе глаз, в неуловимой искре, которая вдруг обожжет и обласкает... это слито с неизъяснимым «женским», «вечным женским», чего не могут схватить славнейшие даже мастера, что Грач называл «родниковым ручьем» и н е б о м. Это совсем неточно, этому нет названия.

Проведя с ними два дня в их роскошном доме, в полувосточном комфорте, где Оля-Дзюльма чувствовала себя привольно,— мы с Грачом валялись на шелковых подушках, в бухарских халатах и тюбетейках, расшитых золотом, и дымили кальянами, под взглядами сказочной

Шехерезады, а Канальчук сервировал нам обильные яства и пития,— я уехал влюбленным, обновленным, чуть оглушенным сказкой. Мечтал о недостижимом, а жизнь уже казала удушающую действительность...

Ходили слухи, что Грач с молодой женой оставался в Тифлисе до захвата города большевиками. Живы ли они — не знаю. Но чувствую: если нет Грача на земле, нет на земле и его Оли-Дзюльмы: такие не переживают любимого.

Декабрь, 1938
Париж

РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ

Рассказ делового человека

Наталии Николаевне
и Ивану Александровичу Ильиным

Я человек деловой, торговый, в политике плохо разбираюсь, больше прикидываю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теплой, укладливой Москве. Москва,— что такое Москва? Нашему всему пример и корень.

Эх, как разворошишь все...— и самому не верится, что так вот и было все. А совести-то не обойдешь: так вот оно и было.

Вот, о Рождестве мы заговорили... А невидавшие прежней России и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом-исполином в ночи морозной — Храм Христа Спасителя. Рождество-то Христово — его праздник. На копейку со всей России воздвигся Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни единого из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, совсюду видный, с какой бы ты стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его...— разве о нем расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!. Ну, почереду, будет и о нем словечко.

Рождество в Москве чувствовалось задолго,— веселой, деловой сутолкой. Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут,— «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите,— со-тни поездов! Шел гусь через Москву,— с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары... Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетерка... глухарь и рябчик, бекон-

грудинка, и...— чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло, «царское», с привкусом на-чуть-чуть грецкого ореха,— знатоки это о-чень понимают,— не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий и сладковатый, жирный, остро-душистый «русско-швейцарский» сыр, верещагинских знаменитых сыроварен, «одна ноздря». Чуть не в пятак ноздря. Никак не хуже швейцарского... и дешевле. На сыроварнях у Верещагина вписаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях. А с предкавказских, ставропольских, степей катился «голландский», липовая головка, розовато-лимонный под разрезом,— не настояще-голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну, и «мещерский» шел,— княжеское изделие! — мелко-зернисто-терпкий, с острецой натуральной выдержки,— требовался в пивных-биргаллях. Крепкие пивопивы раскусили-таки тараньку нашу: входила в славу, просилась за границу,— белорыбьего балычка не хуже, и — дешевка. Да как мне не знать, хоть я и по полотняной части, доверенным был известной фирмы «Г-ва С-вья»,— в Верхних Рядах розничная была торговля, небось слыхали? От полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, ежели все торговое колесо представить. Рассказать бы о нашем полотне, как мы с хозяином раз, в Берлине, самого лучшего полотна венчальную рубашку... нашли-таки! — почище сырного анекдота будет. Да уж, разгорелась душа,— извольте.

На пребойкой торговой улице, на Фридрихштрасе, зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил,— «давай получше!» Всякие марки видели, английские и голландские...— «а получше!» Развел руками. Выложил натуральную, свою,— «нет лучше!» Глядим...— знакомое. Перемигнулись. «Цена?» — «Фир хундерт.— Глазом не моргнул.— Выше этого сорта быть не может». Говорим —«правильно». И копию фактуры ему под нос: «Катина гофрировка, бисерная, экстра... Москва...» — иголочки белошвейной Катиной, шедевр! Ахнул малый с хозяином. А мы хозяину: «Выше этого сорта быть не может? покорнейше вас благодарим». 180 процентиков наварцу! Хохотал хозяин!.. Сосисками угощал и пивом.

Мало мы свое знали, мало себя ценили.

Гуси, сыры, дичина...— еще задолго до Рождества

начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца...— сотнями поездов. Волга и Дон, Гирла днепровские, Урал, Азовские отмели, далекий Каспий...— гнали рыбу ценнейшую, *красную*, в европах такой не водится. Бочками, буковыми ларцами, туеса́ми, в полотняной рубашечке-укутке...— икра катилась: «салфеточная-отборная», «троечная», кто понимает, «мешечная», «первого отгреба», про́литая тузлуко́м, «чуть-малосоль», и паюсная,— десятки ее сортов. По всему свету гремел русский «кавьяр». У нас из нее чудеснейший суп варили, на огуречном рассоле,— не знаете, понятно,— калью. Кетовая красная? Мало уважали. А простолюдин любил круто соленую, воблину-чистяковку, мелкозернисторозовую, из этаких окоренков скошенных,— 5—7 копеек фунт, на газетку лопаточкой, с походом. В похмелье — первейшая оттяжка, здорово холодит затылок.

Так вот-с, все это — *туда*. А *оттуда* — тоже товар по времени, веселый: галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая...— Наши троицкие руку набили на игрушке: овечку-коровку резали — скульптора́ дивились! — пробивали дорожку за-границу русской игрушке нашей. Ну, картиночки водяные, краски, перышки-карандашики, глобусы всякие учебные... все просветительно-полезное, для пытливого детского умишки. Словом, добрый обмен соседский. Эх, о ситчике бы порассказать, о всяких саратовских сарпинках... мно-го, не буду отклоняться.

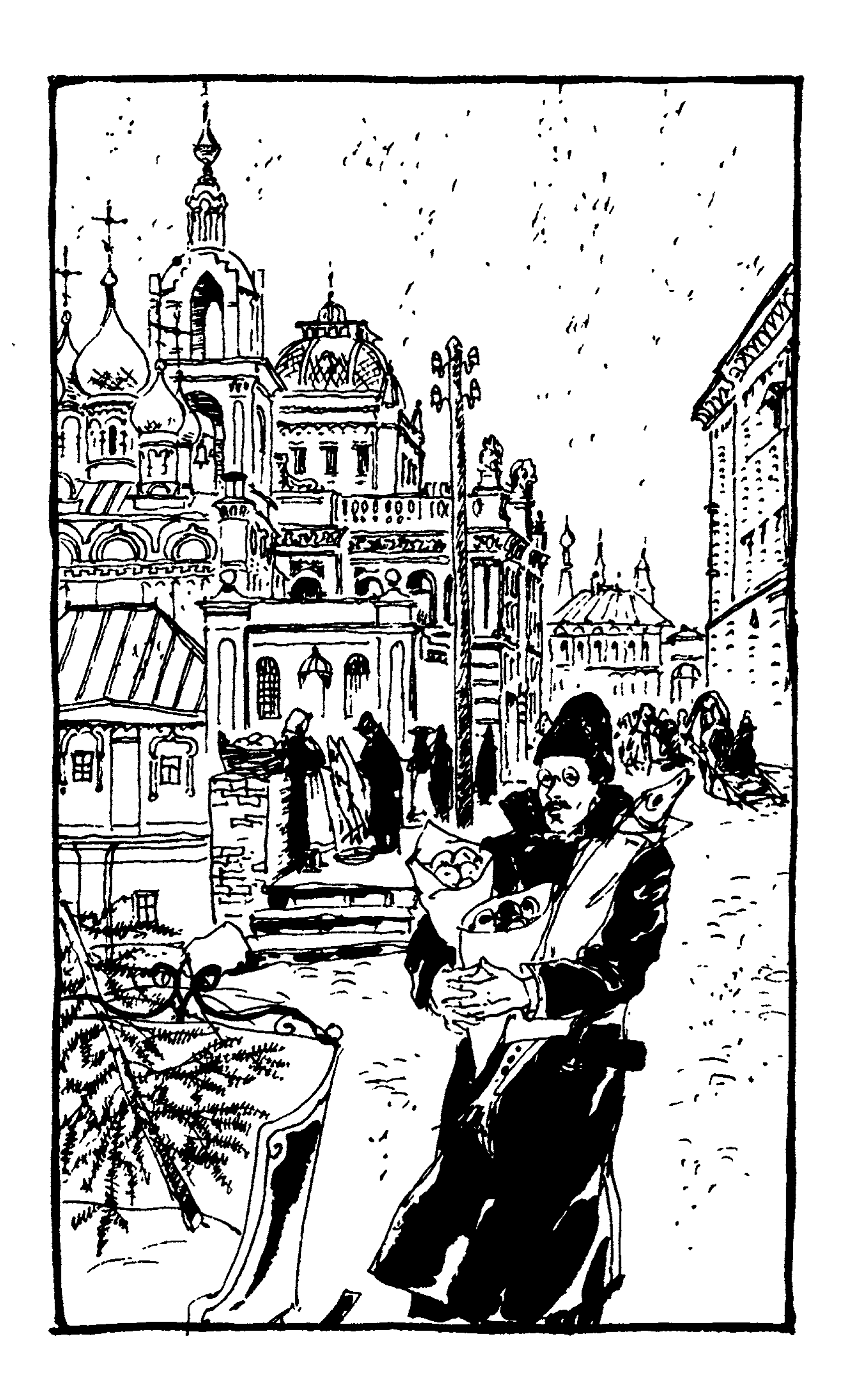
Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, поют за всенощной под Введенье, 20 ноября,— «Христос рождается — славите...» И с ним — суета веселая, всяких делов движенье. Я вам об обиходце все... ну, и душевного чуть коснусь, проходцем. А покуда — пост, ры-ба плывет совсюду.

Вы рыбу российскую не знаете, как и все прочее-другое. Ну где тут послужат тебе... на-важкой?! А она самая предрождественская рыбка, точно-сезонная: до Масленой еще играет, ежели мясоед короткий, а в великом посту — пропала. Про наважку можно бо-льшие страницы исписать. Есть такие, что бредят ею, так и зовут — «наважники». У ней в головке парочка перламутровых костянок, с виду — зернышки огуречные, девочки на ожерелья набирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекую, с Севера, наважку,— зима пришла! — в кулечке мочальном-духовитом, снежком чуть запорошенную, в сверканьях...— вкуса неописуемого!

Только в одной России ее найдете. Первые знатоки-едалы, от дедушки Крылова до купца Гурьева, наважку особо отличали. А что такое — снеточек белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш снеток — всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походя его ел, сырьем, так и носил в кармане. Хрустит на зубах, с песочку. Щи со снетком или картофельная похлебка...— ну, не сказать!

О нашей рыбе можно великие книги исписать...— сиги там розовые, маслистые, селедка переславльская, ряпушка, корюшка, копчушка, шемая, стерлядка, севрюжка, осетрина, белуга, семга, белорыбица, нельма — недотрога-шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов... А вязигу едали, нет? рыбья «струна» такая. В трактире Тестова, а лучше еще — у Судакова, на Варварке,— пирожки-растегаи с вязигой-осетринкой, к ухе ершовой из живорыбных садков на Балчуге!.. подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главная-то основа, самая всенародная,— сельдь-астраханка, «бешенка». Миллионы бочек катились с Астрахани — во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик, до последнего нищего, ел ее в посту, и мясоедом, особенно любили головку взасос вылущивать. Пятак штука, а штука-то чуть не в фунт, жирнеющая, сочнющая, остропахучая, но... ни-ни, чтобы «духовного звания», а ежели и отдает, это уж высшей марки, для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик, «морозовских», ездили специально в Астрахань, сотнями бочек на месте закупали для рабочих, на сотни тыщ, это вот кровь-то с народа-то сосали! — по себе-стоимости отпускали фабричные харчевые лавки, по оптовой! Вот и прикиньте задачку Евтушевского: ткач в месяц рублей 35—40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка — пятак, а ее за день и не съесть в закусочку. Ну, бросим эти прикидочки, это дело специалистов.

В Охотном Ряду перед Рождеством — бучило. Рыба помаленьку отплывает,— мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки... О судаках полный роман можно написать, в трех томах: о свежем-живом, солено-сушеном и о снежной невинности «пылкого мороза»...— чтение завлекающее. Мне рыбак Трохим на Белоозере такое про судака рассказывал... какие его пути, как его изловишь, покуда он к последней покупательнице в кулек попадет...— прямо в стихи пиши. Недаром вон про Ерша-Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено, а он



судаку только племянником придется...— по-эзия для господ поэтов! А Трохим-то тот с Пушкиным родной крови.

Крепко пахнет с низка, в Охотном. Там старенькая такая церковка, Пятницы-Прасковеи, редкостная была игрушечка, века светилась розовым огоньком лампадки из-за решетчатого окошечка, чуть не с Ивана Грозного. И ее, тихую, отнесли на... амортизацию. Так там, узенький-узенький проходец, и из самого этого проходца, аршина в два,— таким-то копченым тянет, с коптильни Бараковых, и днем и ночью. Там, в полутемной лавке, длинной и низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копченья. Идешь мимо, думаешь об эдаком высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится...— и вдруг пронзит тя до глубины утробы... и хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться, и уйдешь довольный, до самого сердца прокопченный, с кульком бараковского богатства. На что уж профессора,— университет-то вот он,— а и они забывали Гегеля там со Шпегелем, проваливались в коптильню...— такой уж магнит природный. Сам одного видал, высо-кого уважения мудрец-философ... всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сиг,— другое дело, а копчушек щепную коробчонку и бедняк покупал на Масленой.

В рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время — именины за именинами: Александр Невский, Катерина-Мученица, Варвара-Великомученица, Никола-Угодник, Спиридон-Поворот... да похороны еще ввернутся,— так, в пирогах-блинах, раковых супах-ушицах, в кальях-солянках, заливных да киселях-пломбирах... чистое утопание. Ну, и потянет на капусту. Так вот, в харчевнях, простой народ, и рабочий, и нищий-золоторотец,— истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, варено-теплый, сытно-густой и вязкий: щи стоялые с осетровой головизной, похлебка со снетками,— три монетки большая миска да хлеба еще ломтище, да на монетку ломоть киселя горохового, крутого... и вдруг, чистое удивление! Такой-то осетрины звенцо отвалят, с оранжевой прослойкой, чуть не за пятиалтынный, а сыт и на целый день, икай до утра. И всегда в эту пору появится первинка — народная пастила, яблошная и клюковная, в скошенных таких ящичках-корытцах, 5—7 копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней: сладенькая и острая,

крепкая пастила, родная, с лесных-полевых раздолий.

Движется к Рождеству, ярче сиянье Праздника.

Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром: подошел елочный товар. Первое — святочные маски, румяные, пусто-глазые, щекастые, подымают в вас радостное детство, пугают рыжими бакенбардами, «с покойника». Спешишь по делу, а остановишься и стоишь, стоишь и не оторвешься: веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим «сюрпризом»; малиновые, серебряные, зеркально-сверкающие шарики из стекла и воска, звезды — хвостатые кометы, струящиеся «солнца», рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки, церквушки-крошки, с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце, трепетный «дождь» рождественский, звездная пыль небесная — елочный брильянтин, радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими завитками, неописуемо-тонкий картонаж, с грошиками из шоколада, в осып сладкой крупки, с цветным драже, всякое подражание природ...— до изумления. Помните «детские закусочки»? И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики-зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и грудка икры зернистой, сочной, в лачку пахучем...— все точной лепки, до искушения, весело пахнет красочкой...— ласковым детством пахнет. Смотришь — и что-то такое постигаешь, о-чень глубокое! — всякие мысли, высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен, с образовательной стороны: Императорское коммерческое кончил! Да и почитывал, даже за прилавком, про всякие комбинации ума, слабость моя такая, про философию. И вот, смотришь все это самое, елочное-веселое, и... будто это живая сущность! души земной неодушевленности! как бы — и-де-и вещей. И чудится,— тут-то и есть смысл елки, ее заманность, детская радость от нее, ро-ждес-ствен-ская радость... как бы рожденье живых вещей! Радует почему, и старых, и младенцев?.. Вот оно, чудо Рождества-то! Всегда мелькало... чуть намекающая тайна, вот-вот раскрылась!.. Вот бы философы занялись, составили назидающую книгу — «Чего говорит рождественская елка?» — и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки возжигаю и всякое электричество гашу. Сижу и думаю... в созерцании ума и духа.

Но главный знак Рождества — обозы: ползет свинина.

Гужом подвигается к Москве, с благостных мест Поволжья, с Тамбова, Пензы, Саратова, Самары... тянет, скриня, в Замоскворечье, на великую площадь Конную. Она — не видно конца ее — вся уставится, ряд за рядом, широкими санями, полными всякой снеди: груды черных и белых поросят...— белые — заливать, черные — с кашей жарить, опытом дознано, хрусткую корочку дает с поджаром! — уток, гусей, индюшек... груды, будто перье обмерзлое, гусиных-куриных потрохов, обвязанных мочалкой, пятак за штуку! — все пылкого мороза, завеяно снежком, свалено на санях и на рогожах, вздернуто на оглоблях, манит-кричит — купи! Прорва саней и ящиков, корзин, кулей, сотневедерных чанов, все полно птицей и поросятиной, окаменевшей бараниной, розоватой замерзшей солониной... каков мороз-то! — в желто-кровавых льдышках. Свиные туши сложены в штабеля,— живые стены мясных задов паленых, розово-черных «пятаков»...— свиная сила, неисчислимая.

За два-три дня до Праздника на Конную тянется вся Москва — закупить посходней на Святки, на мясоед, до Масленой. Исстари так ведется. И так, поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться-освежиться, поесть на морозе, на народе, горячих пышек, плотных, вязких, постных блинков с лучком, политых конопляным маслом до черной зелени, пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, укрывшихся от мороза под перины; попить из пузырчатых стаканов, весело обжигая пальцы, чудесного сбитню русского, из имбиря и меда, божественного «вина морозного», согрева, с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках,—сладкой какой-то радостью, Рождеством?

Верите ли... в рождественско-деловом бучиле,— в нашем деле самая жгучая пора, отправка приданого на всю Россию, на мясоед, до масленой, дела на большие сотни тысяч,— всегда урывал часок, брал лихача,— «на Конную!». И я, и лихач — сияли, мчали, как очумелые...— вот оно, Рождество! Неоглядная Конная черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь этим морозным треском, звенящим гудом, пьешь эту сыть веселую розлитую по всем-то лицам, личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, окоренком, чанам, по глыбам мороженого мяса, по желтобрюхим курам, индюшкам, пупырчато-розовым гусям, запорошенным, по подтянутым

пустобрюхим поросятам, звенящим на морозе, их стукнешь... слушаешь хряпы топоров по тушкам, смотришь радостными на все глазами: летят из-под топора мерзлые куски,— плевать, нищие подберут, поминай щедрого хозяина! — швыряются поросятами, гусями, рябчиками, тетерками,— берут поштучно, нечего канителиться с весами. Вся тут предпраздничная Москва, крепко-ядреная с мороза, какая-то ошалелая...— и богач, кому не нужна дешевка, и последний нищий.

— А ну, нацеди стаканчик!..

Бородатый мужик, приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, в вязке мерзлых калачиков на брюхе,— копейка штука! — всегда краснорожий и веселый, всегда белозубый и пахучий,— имбирь и мед! — цедит из самовара-шара янтарный, божественный напиток — сбитень, все в тот же пупырчатый стаканчик, тяжелый с детства. Пышит горячим паром, не обжигает пальцы. Мочишь калачик мерзлый...— вкуснее нет!

— Эй, земляки... задавим!..

Фабричные гуляют, впряглись в сани за битюгов, артелью закупили, полным-полно: свиные тушки, сальные, мерзлые бараны, солонина окаменевшей глыбой, а на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем — мотается, баюкает пару поросят. Волочат мерзлую живность по снегу на веревке, несут, на санках везут мешками,— растаскивают великий торг. Все к Рождеству готовятся. Душа душой, а и мамона требует своего.

В «городе» и не протолкаться. Театральной площади не видно: вырос еловый лес. Бродят в лесу собаки — волки, на полянках дымятся сбитеньщики, недвижно, в морозе-тиши, радуют глаза праздничным сияньем воздушные шары — колдовской «зимний виноград»; качаются, стряхивая снег, елки, валятся на извозчиков, едут во всю Москву, радуют белыми крестами, терпкой, морозной смолкой, просятся под наряд.

Булочные завалены. И где они столько выпекают?!.. Пышит теплом, печеным, сдобой от куличей, от слоек, от пирожков,— в праздничной суете булочным пробавляются товаром, некогда дома стряпать. Каждые полчаса ошалелые от народа сдобные молодцы мучнистые вносят и вносят скрипучие корзины и гремучие противни жареных пирожков, дымящихся,— жжет через тонкую бумажку: с солеными груздями, с рисом, с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черносмородинной

остротцой...— никак не прошибутся,— кому чего,— знают по тайным меткам. Подрумяненным сыплются потоком, в теплом и сытном шорохе, сайки и калачи, подковки и всякие баранки, и так, и с маком, с сольцой, с анисом... валятся сухари и кренделечки, булочки, подковки, завитушки...— на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих, весело обжигают глотки, трясут головами от ожогов, облизывают пальцы... летят пятаки куда попало,— нечего тут считать, скорей, не время. Фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты — московские калачи и сайки, белый слоистый ситный, пышней пуха. На все достанет,— на ситчик и на платки, на сладкие баранки, на розовое мыльце, на карамель — «гадалку», на пряники.

Тула и Тверь, Дорогобуж и Вязьма завалили своим товаром — сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревший с краю: вязьма. Мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки и человечки, круто-крутые, сладкие...— самая елочная радость. Сухое варенье, «киевское», от Балабухи, белевская пастила перинкой, розово-палевой, мучнистой,— мягко увязнет зуб в мягко-упругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. «Калужское тесто» мазкое, каменная «резань» промерзлая, сладкий товар персидский — изюм, шептала, фисташки, винная ягода, мушмула, кунжутка в горелом сахаре, всяческая халва-нуга, сахарные цукаты, рахат-лукумы, сжатые абрикосы с листиком... грецкие и «мериканскии» орехи, зажареный в сахаре миндаль, свои-лесные — кедровый и каленый, и мягкий-шпанский, святочных вечеров забава. Помадка и «постный сахар», сухой чернослив французский, поседевший от сладости, сочный-моченый русский, сахарный мармелад Абрикосова С-вей в Москве, радужная «соломка» Яни, стружки-буравчики на елку, из монпансье, золоченые шишки и орешки, крымские яблочки-малютки... сочные, в крепком хрусте... леденцовые петушки, сахарные подвески-бусы...— валится на Москву горами.

Темнеет рано. Кондитерские горят огнями, медью и красным лаком зеркально-сверкающих простенков. Окна завалены доверху: атласные голубые бонбоньерки,— на Пасху алые! — в мелко воздушных буфчиках, с золотыми застежками,— с деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от Абрикосова, от Сиу... пуншевая, Бормана, карамель-бочонки, россыпи монпансье Ландрина, шашечки-сливки

Флея, ромовые буше от Фельца, пирожные от Трамбле... Барышни-продавщицы замотались: заказы и заказы, на суп-англез, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры.

Дымят трубы конфетных фабрик: сотни вагонов тонкой муки, «конфетной», высыпят на Москву в бисквитах, в ящиках чайного печенья. «Соленые рыбки»,— дутики,— отличнейшая заедка к пиву, новость,— попали в точку: Эйнем побивает Абрикосова,— будет с тебя и мармаладу! Старая фирма, русская, вековая, не сдается, бьет марципанной славой, мастерским художеством натюр-морт: блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами в стопке,— политыми икрой зернистой...— все из тертого миндаля на сахаре, из «марципана», в ярко-живой окраске, чудный обман глазам,— лопнет витрина от народа. Мало? Так вот, добавлю: «звездная карамель» — святочная-рождественская новость! Эйнем — святочно-радостный подарок: высокую крем-брюле, с вифлеемской звездой под серпиком. Нет, постойте... вдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии: празднует Рождество победно, редко-чудесным шоколадом. Движется-богатеет жизнь...

Гремят гастрономии оркестры, Андреев, Генералов, Елисеев, Белов, Егоров...— слепят огнями, блеском высокой кулинарии, по всему свету знаменитой; пулярды, поросята, осыпанные золотою крошкой прозрачно-янтарного желе. Фаршированные индейки, сыры из дичи, гусиные паштеты, салями на коньяке и вишне, пылкие волованы в провансале и о-гратен, пожарские котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры-кремы с пылающими оконцами из карамели, сиги-гиганты, в розово-сочном желе... клубника, вишни, персики с ноевских теплиц под Воробьевкой, вина победоносной марки, «удельные», высокое русское шампанское Абрау-Дюрсо...— начинает валить французское.

«Мамоны», пожалуй, и довольно? Но она лишь земное выраженье радости Рождества. А самое Рождество — в душе, тихим сияет светом. Это оно повелевает: со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно-низкому тарифу, чуть ли не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню, на все Святки, везут «гостинцы» в тугих мешках, у кого не пропита получка, купленное за русскую дешевку, за труд немалый.

Млеком и медом течет великая русская река...

Вот и канун Рождества — Сочельник. В палево-дымном небе, зеленовато-бледно, проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских: они п о ю т. Сердцем можно услышать, только: поют — и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем — звездный, хрустальный свет. Где же ты, Вифлеемская?.. Вот она: над Храмом Христа Спасителя. Золотой купол Исполина мерцает смутно. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его плавает над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный... можно ль забыть его?!.. Звон-чудо, звон-виденье. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса Собора, ликуя, Всепобедно.

«С на-ми... Бог!..»

Священной радостью, гордостью ликованья, переполнятся все сердца,

«Разумейте язы-и-и-цы-ы...
И по-ко-ряй---теся...
Я-ко... с на-а-а-а---ми Бог!..»

Боже мой, плакать хочется...— нет, не с нами. Нет Исполина-Храма...— и Бог не с нами. Бог отошел от нас.

Не спорьте! Бог отошел. Мы каемся.

Звезды поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному. Где оно, счастье наше?.. Бог поругаем не бывает. Не спорьте: я видел, знаю. Кротость и покаяние — да будут.

И срок придет:

Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный Храм — Храм Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу... и на светлых стенах его, возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии... о русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы...— святую правду. И снова тогда услышат пение звезд и благовест. И, вскриком души свободной в вере и уповании, воскричат:

«С нами Бог!..»

Декабрь, 1942—1945
Париж

СВЕТ

Из разорванной рукописи

...Все...? — спросил Антонов душившую его тьму.

«Все» — это была жизнь, земное, что остается за чертой смерти.

Возвращение к жизни случилось так.

Он услыхал знакомые, радостно озарившие слова — ...«и сущим во гро-бех жи-во-от да-ро-вав!..» Будто из-под земли дошел до него тяжелый вздох: «о, Го-споди...» Он крикнул в душившую тьму: «спасите!..» — и потерял сознание.

Снова его вернуло к жизни свежее дуновение. Он открыл глаза. Солнечный благодатный дождь — во сне ли, мыслью ли видел он этот дождь? — вызвал в нем чувство легкости. Но не было ни дождя ни солнца: был темный свод, какая-то странная машина,— отопления? — коптившая лампочка без стекла. Возле сидел на ящике седой, изможденный человек и тревожно всматривался в него. Антонову бросилось в глаза, что этот человек — безрукий: висел пустой рукав старого пиджака.

— Что это?.. где я?..— с трудом прошептал Антонов и почувствовал, как бьет в голову, будто молот.

— Слава Богу, очнулся! — сказал безрукий.

— Что это, где я?..

— У меня, в подвале. Подыми ногу... так. Другую... Рукой пошевели... Нигде не больно?

— Голова гудит... больно.

— Ясно, контузило, оглушило. Как-никак,— бомба!

Словом — «бомба» прорвало тьму. Хлынули мысли, но Антонов не мог разобраться в них.

— Кажется, все в порядке...— сказал безрукий и отошел куда-то.

Антонов закрыл глаза и опять почувствовалось что-то освежающее, приятное: где-то лилась живая вода,— будто солнечный дождь, весенний...

— Ну-ка, хвати моего гро-га...— услыхал Антонов сквозь этот чудесный дождь и открыл глаза.

Мягко, прищуря глаз, смотрел на него человек без руки, держа консервную жестянку с выписанным на ней совсем живым горошком. Это было красное и крепкое вино с горячей водой, но этот «грог» без сахару показался Антонову необыкновенным. Он почувствовал радость, что жив, что видит этот живой горошек, слышит сладкий, необыкновенно резкий запах вина.

— Чуточку бы еще,— попросил он.

— До-сада!.. Это красное — последнее, что было,— сказал безрукий.— Ну, это мы наладим.

Антонов увидал на себе грязные лохмотья. А где же костюм, в котором он только что шел куда-то,— обновка, купленная по случаю за шесть тысяч?.. Шли завтракать, «с нагрузкой», потом — на скачки... всплывало в мыслях.

— Вы спасли меня?..— спросил Антонов, стараясь вспомнить что-то, очень притом важное: но оно, это «что-то», мучило мысли (и) не давалось.

И увидал, что лежит на ящике, на войлочной подстилке.

— Бог тебя спас,— сказал безрукий.— Есть хочешь?

При слове — «есть» Антонов почувствовал, как он хочет есть.

— И с продовольствием у меня тоже слабо,— опять с досадой сказал безрукий,— есть две картошки, соль, сварю... А пока вот, сухарики.

Он поставил железную коробку с кусочками; но эти кусочки были слаще кулебяки известного ресторана, где недавно обедали с приятелями.

Который же теперь час?.. Он взглянул на руку: золотые часы, купленные недавно за двенадцать тысяч, сплющило, и мозжила багровая ссадина, до локтя. Неловко что-то было глазу. Он потрогал: над глазом вспухло, на пальце осталась кровь. Мысли вертелись вокруг чего-то, «самого главного», но оно ускользало. В этом «главном» пряталось страшное, бывшее где-то тут.

— А меня...— улавливая что-то в мыслях, спросил Антонов,— изуродовало... шибко?

— Благодари Бога, что пустяками отделался. Другие!..— мотнул безрукий головой за стены.

От горячего вина вернулись силы. Он поднялся на локте, чувствуя боль в спине, спустил ноги на земляной пол и оглянулся.

Это был подвал — кочегарка, Антонов узнал, что без-

рукий живет тут, помогая истопнику,— зимой подбрасывает уголь к топке; узнал еще о хозяине: инвалид,— он приметил затертую георгиевскую ленточку,— капитан, был на войне и в Белой Армии, получает что-то от Союза, собирает окурки на продажу. И узнал самое главное: как вырвал его из тьмы безрукий. Мотыгой продолбил стену, где была трещина. Как раз в этом месте была ниша, а стена в два кирпича всего. По звуку определил пустоту, выволок из черной дыры заживо-погребенного, втащил на ящик, смыл с лица грязь,— обливал голову, оттирал, хотел уже бежать за помощью...

— А ты и очнулся. А теперь, объясни, как тебя угораздило застрять там, промеж двух домов? Соседний, шесть этажей, рухнул, и все в подвале,— человек тридцать, говорят,— погибли...

— Погибли?

— Все. Третий день откапывают, и стуку не стало слышно.

— Погибли...— прошептал Антонов.— Третий день... А сегодня, какой же день сегодня?.. Странно... вторник?!

Третьего дня, в воскресенье, с тремя приятелями...— большие дела вертели они вместе, комиссионные разные, и здорово разбогатели, а раньше работали на «Рено»,— шли завтракать в ресторан, а потом, думали, на скачки. Вдруг, сирены,— и сразу же бомбы... Одна упала совсем рядом, домов за пять. Они кинулись в первый абри, в закоулках темного подвала он потерял приятелей, ткнулся в тупик куда-то, и тут его взвило и задушило тьмой. Больше ничего не помнил. Потом услыхал пение?..

— Это вы пели, господин капитан?

— Я. Пою иногда, молитвы. Тяжело... рядом ведь «сущие во гробех»...— мотнул капитан за стены,— и Пасха скоро... вот и запелось.

«Сущие во гробех!..» — прошептал Антонов и перекрестился, в страхе.

И увидел т е х, троих, с которыми дружил и вертел дела, еще больше его разбогатевших, строивших всякие планы...— и двое были женаты, и дети были. Все в полной силе, совсем молодыми столкнулись в Галлиполи,— да так и не расставались. И теперь — «сущие во гробех»?..

— Ты все говоришь — «господин капитан»...— солдат был?

— Так точно, унтер-офицер, господин капитан. Чудо Господне, один я спасся!..

Он не постигал, как спасся, как очутился в тесной дыре, за этой стеной, треснувшей от удара. Швырнуло его вверх,— в пробоину, что ль, в стене того подвала? Бывает. Бывают в стенах пустоты, архитектора арочки применяют, для экономии... Эта стена понизу вся в таких арочках, в два кирпича меж устоями. Бывают и чудеса.

«Бывают и чудеса»...— повторилось сонливо в мыслях...

— Поешь картошки,— услыхал Антонов и открыл глаза.

Дымилась и вкусно пахла чудесная картошка. Радость, что жив, жив, жив...— переполняла душу. Короткие, тупые стуки, показалось ему, он слышит, Верно, это, стуки?.. это там — стуки?

— Там... откапывают,— сказал капитан.— Да, чудо. Пока ты спал, обследовал я твой «гроб». Истинно — гроб. Стена, та — глухая. Только — вверху прошибло ее с метр... и швырнуло тебя, как по заказу, вкатило наглухо клином глыбу симан-арме! Наглухо!!.. Через эту вот трещину, здесь, в стене, подавало воздух...— особенным, внушительным голосом сказал капитан.— Заправься, надо дать знать властям, в Комиссариат.

— Наглухо...— повторил Антонов.

— Да. Бывает. И чу-де-са бывают.

Не только наружное — видимая жизнь — прояснилось теперь Антонову. Он чувствовал, как в нем проясняется и внутри,— и не думалось раньше, что есть такое, внутри. Случилось... чудо? Но чем он лучше других, тех троих, всех? Он теперь ясно видел темное свое, греховное. Он томительно сознавал, до озноба в груди, боли в сердце, что не заслужил милости. И хоть и радовался счастью, что жив, живет, слышит этот не слыханный никогда как будто запах дымящейся картошки, до того радовался, что хотелось вскочить и прыгать, обнять милого капитана, схватить в охапку и бежать с ним куда-то из этого страшного подвала; но мешала какая-то «зацепка»... было что-то неловкое... был стыд, что вот уцелел, один... радуется, жи-вой... что у него квартира, новая мебель, невеста... все есть и будет... и эта чудесная картошка, какая же вкусная она!..— А те все... там!..

Он не мог удержать в себе этого «неловко что-то»,

этого «стыда!». И стал говорить от переполненного сердца, от чего-то чудесно-нового в нем, что открылось в его душе здесь, угнездилось в душе здесь, в подвальном, жутком углу калеки-капитана, такого ласкового, такого заботливого к нему, чужому, незнакомому. Он высказывал сбивчиво, сумбурно, как из души просилось.

— Значит, так надо было,— сказал капитан.— Кто достоин, кто недостоин... это не нам судить.

От этих слов пропала в Антонове «зацепка» — неловкости ли, стыда ли,— и он заплакал. Плакала в нем радость его, что жив, и облегчение, что теперь нет «зацепки», и нывшее болью тело. Так легко никогда еще он не плакал.

— Ах, господин капитан!.. Не знаете вы меня, какой я... Я, может, последний из подлецов... нажрался этих проклятых франчков, загордел, заскорузнул... забыл, когда и нуждался... все я забыл, господин капитан... Только о себе и о себе. А вы последним куском жалуете, последним глотком поите... а живете, как самый последний нищий!.. и с Георгием!.. Ноги мне ваши целовать надо!

Путались слова в слезах и всхлипах.

— Здорово тебе нервы потрепало...— сказал капитан,— брось разбираться... Жив? — значит, так надо было. А почему... этого знать нельзя. Для дезинфекции, может?.. Что вот теперь творится... для чего это?.. Все, значит, брат, как-то заслужено.

Антонов затаился. Слышались за стенами, оттуда, стуки тупые, раздумчивые, усталые.

Страшное что-то увидел Антонов: очнулся, привстал на ложе и стал креститься.

— Господи, спаси... Господи... Здесь вы, господин капитан?..— испуганно и облегченно,— видя, что капитан здесь,— крикнул Антонов.

— Успокойся... все в порядке...— сказал капитан и положил ему на голову руку.— Такое бывало на войне... пройдет.

— Так точно, господин капитан, пройдет. Бывало такое... раз было под Лежанкой... под Екатеринодаром еще,— как от красных нас вырвали. А только, господин капитан, теперь мне все страшно... Я уж теперь не смогу без вас... теперь я без вас никак не могу... как я теперь без вас?!..— и он растерянно смотрел на капитана.

— Хорошо, хорошо, голубчик, постарайся не думать...— сказал капитан.

— Так точно, господин капитан.

Взглядом, в котором были облегчающие душу слезы, сказал Антонов капитану все, что могла сказать раскрывшаяся душа его. И сказали они один другому все, что могут сказать люди, которым непостижимой Волей во тьме кромешной открылся свет.

Август, 1943
Париж

ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Все сильней мучила бессонница. Профессор понимал, что это от переутомления, главное — от жгучей потребности «подвести все итоги». Давно это началось, но в последние месяцы обострилось, в связи с напряженной работой над «главным трудом всей жизни» — «Почему так случилось», а именно — революция и все, что произошло, как ее следствие. Он писал и раньше на тему «философия прогресса», а на склоне дней,— было ему к семидесяти,— явилась неодолимая потребность: «все уяснить», даже «судить себя». Работа увлекала, раздвигалась, терзала. Отсюда, понятно, и бессонница.

Он посоветовался с знаменитым невропатологом. После тщательного исследования — расспросами о жизни и применением точнейших аппаратов, бесспорно определяющих уклоны и поражения нервной системы, невропатолог успокоил профессора: «все поправимо рациональным лечением... у вас самая типическая острая неврастения...» — и дал указания и средства. Профессор подтянулся, поободрился, стал перед сном прогуливаться — «без мыслей», ел ягурт, принимал назначенные лекарства, ложился в 10, брал Пушкина, чтобы привести себя в душевное равновесие, и, потушив свет, начинал механически считать. На этом невропатолог особенно настаивал, дав маленькую поблажку, выпрошенную пациентом: «ну, раз уж не можете не думать... думайте, но только о легком и приятном». Сон становился покойней, а главное, прекратились эти ужасные пробуждения «от толчка» ровно в 2, после чего — бессонница и «мысли».

Но вот, в одну «дикую» ночь, прежнее вернулось: не только прежнее, а с обострением, до бреда.

Профессор лег в 10, приняв успокоительного, взял Пушкина, открыл, как всегда,— что выйдет. Вышло «Воспоминание», где лежала спичка. Он знал это наизусть, но стал вчитываться, выискивая новые оттенки. Вспомнилось, как ценил это стихотворение В. В. Розанов,— на-

звал «50-м псалмом для всего человечества». «Правда»,— раздумывал профессор,— «воистину, покаянный, но человечество не почувствует изумительной глубины всего: это — наш покаянный псалом, русского духа-гения». Нашел новые оттенки, томительные три «т»: «...В уме, подавленном т-оской, т-еснится т-яжких дум избыток». Нашел еще три «и»: «Воспоминание безмолвно предо мной свой дл-и-инный разв-и-вает св-и-ток». В этих «и» чувствовалось ему бесконечно-томящая мука «угрызений». Усмотрел и другие «и», еще больше усиливающие томленье: «И...— с отвращением читая жизнь мою...» И...— горько жалуюсь, и... горько слезы лью...» И это двой-ное —«горько»!

«Но строк печальных не смываю».

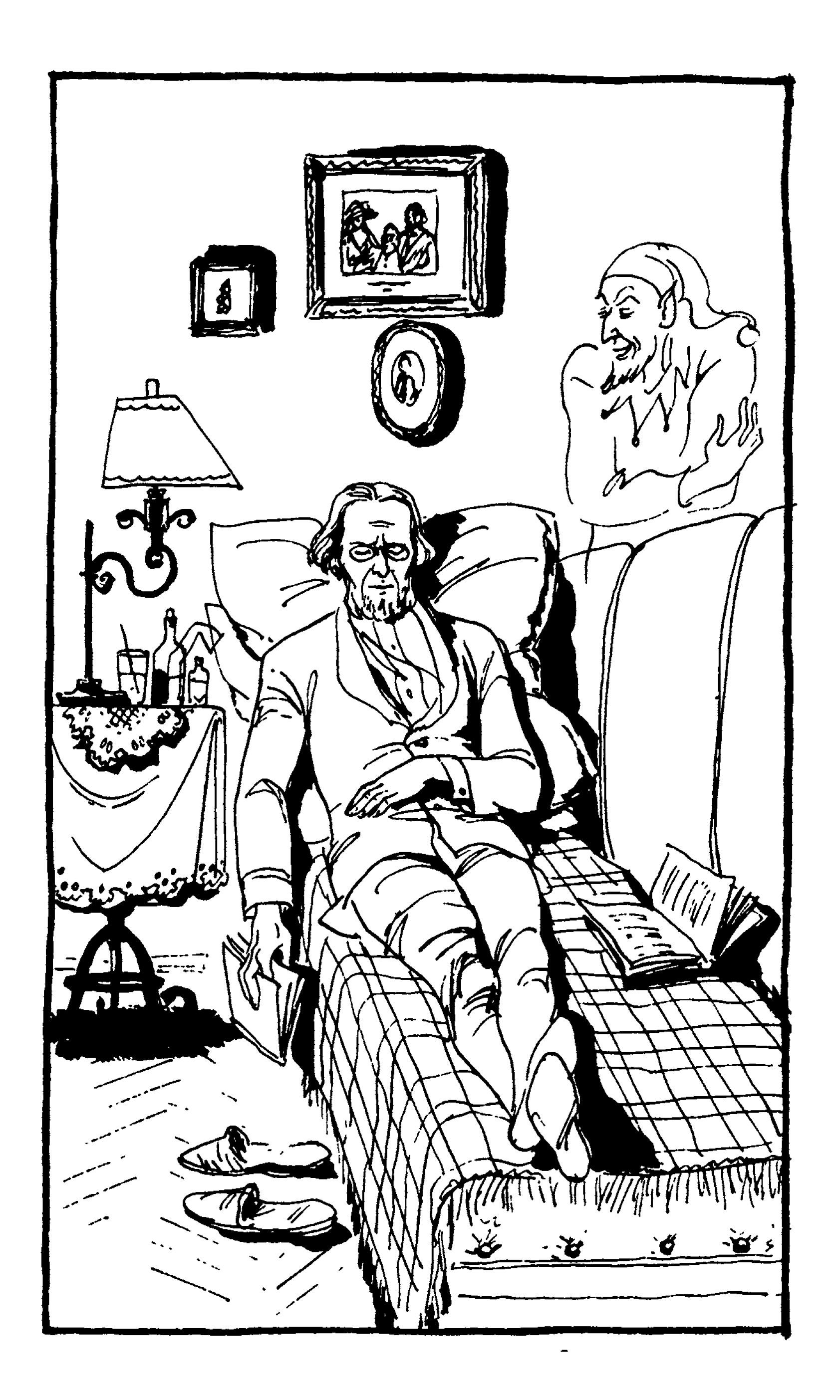
Этот стих он называл «приговором», наступающим неизбежно, неумолимо,— уйти от него нельзя доводами рассудка, а надо принять и... что? — выстрадать?... И опять, в какой уже раз подумал: «да, счастливы верующие крепко... находят исход томленью в пафосе покаяния... и не просто один-на-один с собой, а при уполномоченном для сего свидетеле... и, кажется, это верно... психологически...» Томительно признавая, что «смыть» нельзя, он закрыл книгу и, вопреки советам невропатолога, невольно стал развивать свой «свиток»... но тут же спохватился, что не заснет, и принялся механически считать. Перевалив за 500, испугался, принял еще снотворного и заставил себя думать о «легком и приятном». Как же чудесно было, когда, гимназистом, простаивал, бывало, ночи у Большого театра, в морозы даже, предвкушая, что вот достанет на галерку за 35 копеек, снова увидит «Фауста», с Бутенко в роли Мефистофеля. Ну, и басище был! И как же чудесно просто давал «черта» без всяких выкрутней. И правильно: раз тот в такую «розовенькую» втюрился, к чему с ним тонкости! Именно такой «черт» и в немецкой легенде, и в наших сказках,— простой, без «демонического». Вспомнил, как ярким морозным утром сторож вывешивал, наконец, долгожданную раму в проволочной сетке, с заманчивой розовой афишей, на которой стояло чернейше крупно, радуя праздничным,—

ФАУСТ

Мефистофель —

г. Бутенко

«Бутенко поет! бра-во!!... пятым в очереди, галерка в кармане!...» На этом профессор заснул.



...Снег и снег. Сугробы — гора-горой. И — ночь. Крепкая, морозная, глухая. Он стоит на расчищенном от снега месте, будто сцена в Большом, последний акт «жизни за Царя», без леса только. И вот — сугроб начинает шевелиться, показывается темный гребешок...— изба, должно быть? Уж и солому видно, вот и карнизик, с «петушками»...— старая изба, такая милая, родная. Так и возликовало сердце: родная, ми-лая! А снег все осыпается, уж и оконце видно — красным пятном, все пламенней. Топится печь, должно быть... пылает, прямо. Может, щи варят, со свининой,— дух такой, томный, родной, чудесный?.. Да, щи... и со свининкой! Рождество, вот и со свининкой. И — пирогами, будто?... с кашей, лучком припахивает... И так захотелось огневых щей... ложкой, шершавой-крашеной. Постучаться — войти?.. побалакать с празднично-краснорожим мужиком, с ребятками пошутить... да подарить-то нечего?.. Порассказать, как там томились по родному... порасспросить, как здесь мытарились...— слава Богу, все кончилось. Такая безумная радость охватила... и — такая тоска!.. и стыд,— так и пронзили сердце. А мужик вдруг и спросит... непременно спросит!..— «ба-рин... а почему... так... случилось?! ты вон в книгу пишешь, а все не то! ты по со-вести пиши... кто довел нашу Расею-матушку до такой ямищи?! до такого смертоубивства?!.. а?!.. нет, ты сказывай, не виляй... кака притчи-на, кто додумался до такого? кто научил?.. а?!!» Непременно спросит. Нет, стыдно войти, нельзя.

И все пропало: ни оконца, ни жаркой печи,— высокий опять сугроб. И глухая ночь. И — тоска. А дух от огневых щей и пирогов с кашей так и остался во рту. Но тут другой сугроб, как стена, тоже зашевелился...— черное что-то там, будто большая собака возится, хочет на волю выскочить. И вот выскочила... но не собака!..— профессор шатнулся от удивления и страха,— выскочил на «сцену»... Мефистофель! Совсем тот самый, как представлял Бутенко. И грохнул потрясающе-низким басом:

— «Я — зде-сь!..

Но чего ж ты бо-ишься?

Смотри сме-лей — и пригляди-шься!..»

Страх вдруг пропал, и стало тепло-приятно, как в театре. Крикнуть даже хотелось — «брра-во Бутенко! би-ис!!..» Но тут пошло другое, уже не как в театре.

Мефистофель заговорил... Но не бутенковским басом, а скрипуче, с едким таким подтреском, козлиным словно, или вот если бы заговорила ехидная кощенка:

«Бравов-то уж ты по-сле... а «биса» у меня не полагается. Ну, по-нюхал?... как щами-то со свининкой, пирогами с кашей? мужицким духом, таким дорогим и милым... таким родным?! А ведь в Париже-то ароматы тоньше, нежней... нэ-с-па?.. А-а... ре-ми-ни-сцен-ции, понятно! — «И дым отечества нам сладок и приятен»..? Брось, ста-ро. Ты поумней же Чацкого, хоть чуть и поглупей моего приятеля... до его дурости, понятно. Влип в конфетку!.. самую-то па-тошную!.. сорвал «маргариточку», и... сорвался! Ты *все* постиг, и да поможет тебе Сатана свершить твой труд мироточивый «Почему так случилось». Для кой-каких поправок я и принял сию прохладительную ванну. Не слишком тут комфортно... хоть и с руки мне, наскучила высокая температура, приятно освежиться. Да и оскомину набила последняя работка, уж слишком ки-сло! да и запашок!..» «фантасмагория», понятно, разумею. Дешевка! дешевое вранье, дешевенький обман безглазый... и — на готовеньком! легко и просто, под аплодисменты! Не говоря уж об... «апофеозе ли-чности»! По-думай... ли-чности! Такая чудотворная икона, должны бы истекать ка-ки-е чудеса... а истекло!...— не стоит шевелить, нанюхался. С тебе подобными преподобными — ку-да полюбопытней. Есть — некая головоломка все-таки... игра ума! ведь как трудились, подпарывая *ткань-то*! Как се-яли... «разумное, доброе, вечное...» и... «спасибо вам скажет сердечное...» — но *кто*?! *Почему так случилось*..?! Навязчивая темка. Ответик у тебя готов... неполный только. Плохо ты знаешь Пушкина! Проглядел пустяк, но... важный. *Тогда-то*... Да без заглавия, ведь... проглядеть не хитро. Да и — «в скобках»! Теперь-то знаешь, спохватился...— «Два чувства дивно близки нам...» хе-хе-хе-хе-хе-э...— теперь и бли-зки да... далеки! Так вот, хочу направить... не из любви к тебе, а так, по долгу... массажиста. Черт возьми, и я ведь то-же... почитываю Пушкина! Ну, что-то в нем... це-пляет. У нас, понятно, под запретом... для зеленцы,— «да не смутятся»,— ну, под партой, как, помнишь, Чернышевского, ошибки молодости? Что теперь сей «дум властитель»! Солома. В Пушкине — остротца «сияньице»... Не думай, по привычке глупой, что размяк, и... «дар невольный умиленья впервые...» — и так далее... ну, поросячьи песенки. Да, стран-но... поросята чертовски

падки жалеть черта! петь «демоническое» и поклоняться. Впрочем, мерси-с на лестном слове. Все вы ужасные жалетели... с прохладцей. А, бай-ронизм! Перешагнули? Ну, что такое «ангел нежный» «в дверях Эдэма»? Ну, сиял... да еще «главой поникшею»! хе-хе-хе, как ми-ло! А что ему делать, как не сиять? Ведь сам же хохотал... не помнишь? я только твои словечки вспомнил, не корежься. Подумать... что я могу к пятнадцатилетке-невинности, с душком просвирки! Нет-с, я люблю с горчичкой. Но Пушкина почитываем — у-мен! Для тренировки. Надо же знать противника, быть начеку. Так вот-с, ты все-таки полюбопытней «бесов»... в извивах мысли. Факт, не комплимент. Логика твоя! редкая головоломка, увлекаюсь. Строишь дворец, а выйдет... и черт не разберет, что выйдет... прорва?.. А труд мироточивый! Судишь себя, а... гимн.

Это задело. Профессор попытался возражать: «моя дедукция, если читают не предвзято, совершенно объективна... все предпосылки...» — но «Мефистофель», в смехе, перебил:

— А, брось, старо. Я предложу тебе ин-дукцию! Не очень-то комфортно, негде и присесть. Холодок люблю, но несколько повышена температура, сядешь — выйдет грязь. Ми-лая, родная... но грязь. А я ведь чистоту люблю, на дню три раза зубы чищу... ка-кие! в мои-то лета!... А ведь первая моя встреча с же-нщиной восходит... А была ка-кая!.. Приятно вспомнить, но, увы, не-по-вто-ри-мо. А знаешь, не махнуть ли нам в... — ты ведь античник! в Грецию? В Каноссу не желаешь?.. Так поведем ин-дукцию в ан-тичном месте.

Профессор увидал пустую комнатушку, обшарпанную, заплеванную, угарное ведро на глине. Да, Греция... та самая, в которую вступил он, «свободный», с корабля, тогда... признал ведро — мангал.

— Комфорт! — мяукнул черт, болтая руки над мангалом, — античность.

Это был уже не «Мефистофель», а волосатый, желчный, в жидкой бороденке, со скверными зубами, с помятой папироской, в пиджачишке, в бахромчатых манжетах, серых, в размятых туфлях... — «вечный студент». Напоминал кого-то... кто же он?.. Такое отвратительное что-то... — что же?.. Томило, вспоминалось... нет, не мог. Воняло затхлым... бельем бессменным, прелыми носками?.. Но голос тот же, со снеговой поляны.

— Ки-сло? не ндравится? — скрипнул «студент»,

мерзкий от внешней грязи, и от другой... иной.— Комфорт в сво-бо-де! Скоро ж ты забыл. А когда-то,— вспомнил? — прилег у этого ан-тичного треножника, в тот неуютный вечер, как же был детски счастлив, как лепетал... правда, коверкая,— «Отче наш»..! — налегая особенно на «хлеб насущный»! Теперь бормочешь и — не веришь! Логика: не веришь, а... прибегаешь. И в меня не очень, а ожидаешь «чертовой ин-дукции»! А ведь недурственно, меня-то, Федор-то Михайлыч, представил, а? И анекдотики мои про нос, исповедальню, бретоночку-красотку... Повеселились наши. Да-а, Иван-то Федорыч его... у нас! чиновником особых поручений, сверх штата... масса кандидатов. Как ни вертелся, тогда-то... а признал: аз есмь! И ты... Впрочем,— в твоей манере: и призна-ешь, а не сознаешься. Да, вопросик любопытный есмь? не есмь?.. Так и не решил? Пора бы... Просил... «явлений»? Получи сполна. Не в силах? понатужься, ну же... Нет в тебе этой русской широты, а то бы..! Правда, и дерзости особой, а так, «логически осмыслив», как тот, «чиновник»... Тепловатый, замешан на водичке. Да, вспо-мнил!... хи-хи-хи-и... ну, не могу... без смеха... хе-хе-хе-э... ну, обмираю, прямо... хи-хи-хи-и... за... зака... зака-шлялся... ха-ха-а... Недавно... ка-ка... картинку... картинку видел, одного ико... иконо-писца-старовера... хи-хи хи-и... «Стра... тот... «Страшный... Суд...» — хе-хе... ты, вылитый!.. Некуда тебя ему девать-пристроить... все определились: один — по-одесную, где там... «сияние» и гимны, другие — в квартирку с отоплением, хе-хе... а у тебя, мой друг, профессор всех наук, такая... хи-хи-хи-хи-и... лико... графия...: — в-тупик! И что же, хитроум, придумал!..— по-се-ред-ке! хе-хе... ни в тех, ни в сих, а... дерево писнул... о-сину! осину... и тебя-то, дедуктора-то знаменитого, и... привязал!.. хи-хи-хи-хи-и... веревкой!.. не повесил, а привязал... хи-хи-и... как вот кобелька мужик... драть сподручней... хи-хи-хи-иии... До чего же остроумно-едко! Я прямо зарукоплескал! за... ло-гику! Что? у Трубецкого вычитал? Но и Трубецкой рукоплескал! за ло-гику. Да как же не очароваться?! Читал твой труд мироточивый — «Почему...» ну, ло-пнул! Приспел в «бессмертные»! Науку обессмертил!!! создал... сверх-силлогизм!!!..— «Все люди смертны: Кай — человек: следовательно... «я тут ни-при-чем»! До-стиг, завоевал бессмертие, ура-а!..

— Откуда ты, мерзейший, взял?!..— вспылил профессор,— так извратить! все муки... все муки мысли... признаний, совести... все извратить...

— Все муки... с оговорочками?.. То-то и оно-то... и муки совести, а... песнопенья... «вечному порыву»?! а... постановка, все та же... «вечного вопроса», открывши клапан, предохранительный: «логически осмыслив»?! Хе-хе... Что, нервы?.. закурить..? Прошу...— протянул мерзейший золотой портсигар с инициалами под чернь, знакомыми: в тоске, узнал профессор портсигар брата-инженера, погибшего.— Его любимые кручонки... помнишь? Без колебаний, не смущайся, как... привет, для укрепленья нервов и... Табак отличный, крымский! Нарочно для тебя украл из «склада», попотчевать. Странно: поместили в отделение «вещей священных»! это портсигар-то, с чертовым зельем, а?! в штанах болтался, и — в «вещах священных» оказался! Ка-ких... Мягко выражаясь, краденых... поснятых с... окропленных этой... жидкостью такой... свя-щен-ной! Тот, «нежный», в дверях-то, созерцанием, что ль, умилился... ну я, для милого дружка... и щегольнуть приятно. А ты сейчас — дедукцию: «раз даже портсигар его — в «вещах священных» эрго: мой Костя в... непостижимом! Первый точный вывод.

Профессор машинально закурил...— и острая тоска сдавила сердце. И — радость, вдруг: есть «там»! «если даже вещи живут...»

— ...И если ты со мною дискутируешь...— закончил его мысль мерзейший.— А, ло-гика... Нет, ты сверх логики понюхай! Ну, начнем.

Это внизу дерут, Новый Год справляют Капулари, гречура... дерут псаломчик. Помнишь, как плакал ты... тогда... у этого антик! Хоть разноголосо, дико, пьяно... но ты знаешь древне-греческий, аттический... напевный, э-ти!.. Но раз все прожито, одна паршивая коринка да горклая маслинка! Ты мысленно переводил... и — плакал. Узнаешь мотивчик?..

Профессор узнал псалом, тот самый, как когда-то, на островке, зимой. То был 103-й, псалом «Творения». В душе профессора он преображался в хваление всей твари: безднами, горами пелся, звездами, пустынями, морями... всею тварью, чистой и нечистой... и левиафаном-змием, играющим в пучинах,— всем, что «премудростию сотворил еси».

— Размяк? надолго?..— хихикнул черт-студент.— Да ты эстэт! Ты понимаешь и величие, хотя бы эстэ-ти-чески... ну, на три с плюсом. На меня, признаюсь откровенно, тоже действует маленько... такое. Не знал,

хе-хе-э..? Слабость, братец, слабость... ре-ми-ни-сцен-ции! порой — всплакну. Знавал я мужика Микиту, рязанского... ну, и заводил он сей псаломчик! Живот, бывало, надорвешь, ежели эстэ-ти-ческий подходец... а ежели по существу... ого-го-го-го-о!.. дале-ко, братец, до Микиты и тебе, и... Он... сему левиафану-змию молился! гимн свой пел! чтил, как священное. Так умилялся, что и его, поганца, создал Бог — в великих водах игратися и безобразничать радостями левиафансткими. Нет, каков?! Так твое-то эстэтство перед таким рязанским всеумилением... ну, что?! Ноль круглый. Пробовал я того Микиту на-зуб, так и эдак...— плюнул. Как же он все коверкал, и — как же понимал... все! Нутром, сверх-логикой! Ведет своей культяпкой по строке — вспотеет: «на-сл-дять... ф-фу... наследять!..» — на «я» надавит! — «землю...» — и сокрушается, солящими слезами орошает затертые странички... сокрушается, что... земельку-то, священную... всю-то наследили, запакостили... во-как! И за загаженную молится. Он «аще» и «абие» за тайно-священное принимал: заслышит — осеняется. А как — «паки и паки»...— об пол лбищем, от умиления! По-нял, дурак? Это — мой комплимент, не корчись. Ну, пошли к черту, да тут останусь, по ло-гике. Так вот, постиг теперь, что есть — сверхлогика?.. Теперь — к «симфониям»...

Профессор закрыл лицо руками, постигая что-то, сокрушаясь?.. Как же он не понимал такого... раньше... тогда, тогда?.. И вдруг во сне...— он сознавал, что это с ним — во сне...— все понял! И как же просто — все!..

— Что, очертело? хочется скорей уразуметь — «почему так случилось»? Понятно, что теперь... «так просто»! А вот, в «симфониях»... совсем осмыслишь... ну, мо-жет быть, осмыслишь, не утверждаю. Ин-дукцией, на-водкой.

Ах, концерты..! как ты любил их Благородное Собрание, этот «колонный зал», ан-тик! и — «величаво-царственная», как выражался, будучи еще студентом.— «Симфони Эроик», Бетховена... всякие квартеты... эс-моли эти... Моцарт, вдруг всеми завладевший Вагнер... даже и Бах, «хвалитель»! Ну, Шопенчик... мечтами умягчавший, манивший недосказанной грустью... особенно его «вальс — 3»...— стремления, исканья... нахожденье! Чайковского — смотря по настроению... но «Патетическая» уносила. Та, ну... этот, «12-й Год»... не очень, так — «жужжанье»... помнишь свое «словечко»? И понятно:

хоть там и есть заветное, «марсельское»...— «ах, если б!..» — не мыло, а «взмыв» такой, влекущий... но!..— там это, ладанное это... из панихиды и молебна, что ли... и это... ну, «на славу»... ну коронное... ну, некий запашок, квасной... Я тоже посещал концерты. Музыка... она, брат... почитай Толстого,— будит страсть. Старого Льва мутило. Попотел я с ним, а сбил-таки, на «Крейцера»! — переперчил он... сам не сознавая, а... подтолкнул, у многих слюньки накипали... да что поделать, темперамент! С каким зарядом ты выходил под звезды, под тот горох пылающий, январский! как вскипал приливно — «се-ять, се-ять... разумное, доброе, вечное...» — и призывал извозчика... и чем-то троглодитным, опосля «симфонией»-то, был для тебя тот «ванька»... но как же без него, хоть и с «зарядом»? Я провожал тебя, и, тоже подогретый, я шептал тебе, я умолял тебя: «сей, сей, голубчик... больше, гуще... что вырастет!!!...» И... выросло: Ты напевал под визг полозьев —...

«Белин-ского... и Го-голя
С база-ра по-несут!»

И все, базары провалились и мужики, и симфонисты... все разбазарилось. Кричи «ура»,— взо-шло. Хе-хехохо-э... взошло, взошло, взошло-о-о-о!..

«Споем, споем куплетик:
Мерси — не ожидал!»

И что же... мужик-то тоже... любил «симфонии»! Что пучишь глазки? Не вихляйся, о-тлично понимаешь. Понятно, не Бетховена... Но были у него свои «симфонии». Не ухом — всем нутром вбирал и даже брюхом,— распирало. Не портсигар, а... умилился. Коль на-чистоту, так вот, поведую: ему во тьме и грязи, его-то... с загаженной землишки, открывалось... ну... да, открывалось!... небо! приходится признаться,— весь универс! Да мне ли, черт возьми, не знать, раз я всегда таился на его «концертах»! ну, сбочку, ну — там, где метлы... И ведь свободно, без билетов, сколько влезет. Миките-то... ишь, хе-хо... как я его жалею! — грудищу распирало «симфонией», и во-зно-сился он! Да, черрт возьми, он возносился. Да, да, в вонючем полушубке, в валенках,— и возносился! порой и пьяненький маленько, а... возносился. Ну, ты понимаешь...— «и в небесах я вижу...» и тому подобное. Это для пояснения, понятно, отнюдь не в утверждение, нэ-с-па? А? может быть, между нами, там — пустышка, а? Что? можешь утверждать?.. Блажен,

кто верует... тепленько ему будет на том свете... хе-хе-э. И воспретить так возноситься — никто не мог. Пред «вознесеньем»... нечего таиться, я пасую. И вот твой «ванька»...— знавал таких,— за день намерзнется, брюхо чайком попарит, лошаденку на постоялку, а сам — либо к этому... к Ми-коле-на-Пузырках там, где хор «васильевских», либо — где «чудовские», в Чудов, в Успенский, к «синодальным», а то — под Золотую Шапку, где, ради славы — вот поди ж ты! — певали и солисты из Большого, Хохлов, Бутенко-с... Собинов, потом Смирнов... Ммда-с, пе-вали. И ведь прознавал, безглазый, в полпивных, в трактирах, где будет нонче «симфонический концерт»! М-да-с, певали... слыхал-с... м-да-с, Бортянского номерок 6-й-с... ту, «Херувимскую»...— он и к обедням шмыгал. А вот, как «синодальные», за всенощной... дрожью пробирало Микиту-«ваньку»! Раз как-то... нервы, что ли...— полная капелла, один-то голос! — «Слава в вышних»...— ну, ей-ей... ну, вознестись хотелось...— реми-ни-сценции, понятно. Ты подумай: в метлах-то сидя, в морозе, за дверьми,— и вознестись! М-да... слышно силу! А «ваньки» прямо обмирали, возносились, забывали все. И вот Рождество... бывало, грохнут «С нами» и проч...— «разумейте, языцы, и покоряйтеся...»! — так грохнут, что у «ваньки» — то мороз по коже, и вознесется он под самый кумпол, к Самому... помнишь, там, в Храме, Репин, что ли, на спинке лежа, чуть ли не полгода мазюкал. А-пропо... это «покоряйтеся» даже и у нас, там, некое трепыханье вызывало! между нами,— шатанье даже мыслей...— «покориться»? Понятно, темперамент... из-за темперамента вся и «пертурбация» случилась... эти «вверхтормашки»! И никто Миките-«ваньке» не воспретит так пре-возноситься, нельзя. Так сказать, философски,— преодоление всех полпивных, трактиров, кабаков и прочих благ материальных. И даже... жертвоприношенье! Ведь за эти «вознесенья»-то седок не платит. Да, никто не воспретит... разве мундирный сторож в соборе важном носом поведет и — «вперед не оченно, не проедайся, уж больно во-здух...» А вознесенный и не слышит,— вознесен! И вот, все это... ты у него украл.

— Как...? как я... что...?!..— даже вскочил профессор,— как я..? как, у... у-крал?!..

— Хе-хе-хе-э... ма-хонький, не понимает!.. разжевать прикажете? Извольте-с. Сначала помаленьку, обворовывал, потом... «двоюродные» начисто... хе-хе-хе-э...

все обобрали. Помолчи, сейчас индукция... хе-хе-хе-хеэ..!

— Подлец! фальсификатор!.. шулер!.. лжец!..— пробовал покрыть скрипучий мерзкий смех профессор,— так все... извратить!..

— По ло-гике... и лжец, и шулер — ты, моншер... я только переписываю мысли... твои, но... ах, инти-мнейшие мысли «рундучков подспудных»! — или, как говорится,— подсо-зна-ния! Спишь ты? Так хоть во сне будь посмелей, раскрой коробочку, где пребывают «угрызенья»!.. Духу нет? Придам я духу, подставлю зеркальце. По-стой. Помнишь, как после «Героической», в запале,— «к звездам! к звездам!!..» — из «Брандта», твоего героя? А старикан извозчик на эти «звезды», так себе, умильно: «да, барин... чудеса Господни, не сосчитать... да-а... выше Бога не будешь». По неразвитию, понятно. А ты ему, в запале, «все сосчитаны, и каждой дано имя! — ну, се-ешь...— а про Бога... еще неизвестно, есть ли!» Понятно, по неразвитию, так сглу-па. А старик — «ето мы от господ слыхали будто им неизвестно...— а, ка-ков?! — только нам без внимания... не-эт, выше Бога не будешь». Крепкий старик попался. А вот «воробьев» берет, сумление родится... потому народишка до энтого «вопроса» падок, пытливы, подлецы, даром что грамоты на грош с полтинкой. Вот и прикинь статистику: «сеятелей» таких, ну... сколько за день на одних «ваньках» протрясется, не говоря о прочих и-и... упражнениях! Ну, и раскачивали помаленьку, подпарывали, ткань-то. Ты-то из любвишки, прохладной, к слепому «воробью», «во имя просвещения», понятно... истиной поделиться, а сколько было спецов, сеяло по штату и наградным! Чай, прекрасно помнишь, как один туляк-извозчик, лет 20 парнишка... «подвел итог»? Я же и веревочку подсунул. И, представь... из-за «вопроса»! Ну, прознай Европа... вот бы гогота-ла! Тут прочная прививка, дезинфекция. Декарты... тут такое, из-за «вопроса»... абсурд, непостижимо! Ну, недостижимо... наплевать. И начаряпал на пачпорте: «прашу никаво не винить, а как тапери все раскрыта, шта Бога нету, да-к мине скушно... и порешился». Вы тогда доклады все читали, во всяких обществах, философы-психологи-криминалисты, психиаторы, социологи и чуть ли даже не геологи...— ведь троглодитным пахнет! — анализ углубляли: «глупость или психоз»? И никому в башку не влезло — да глупость,— чья только?.. Так, по мелочишкам, и своровывали, со всех бочков. Подпарывали ткань-то, «устой-

цы»-то шатали. Тот-то порешился, а другой на что иное уж решился, как взошло-то. Голому-то дождя не страшно.

Чур, не перебивать, сейчас... ин-дукция. Был ты студентиком, зеленым. Помнишь, перехватывало в горле как на «Татьяну» заводили — «Выдь на Волгу»! Старикан-лакей, при «Эрмитаже», говаривал: «как до градуса дойдут, выть на Волгу пойдут». «Клянусь кишками Вельзевула и пупочком Сатаны!» — тоже распевали! — прелестней песенки и не найти. Вот это так... «Парадный... По... двох»! Сколько любви-то, скорби... грруль теснило, пересыхало в горле, требовали — пи-ва!.. больше пи-ва!!.. — «пе-эй тоска пройде-от..!» Ну, с чем сравню..? ну, «Плач Ярославны»?! — меньше не уступлю. Что за картина... Айвазовского! И — «свесив русые головы к груди...— это Микиты-то!.. и — «крест на шее и... кровь на ногах, в самодельные лапти обутых»!.. Видал когда-нибудь, ну, хоть раз в жизни... кр-ровь на ногах у онучников?! А чтоб скорей всходило — дрожжей! дрожжей!!.. Ты им от Пиронэ не выписал, плакучий? Ну, и пошлепывают в «самодельных»,— привычно да и гигиенично, нэ-спа? Ты вон в Крыму в каких поплясывал, а все не разберешься, «почему» и прочее. Ну-с, продолжая «Плач» — «и пошли они солнцем... па-ли-мы...» Хе-хе... для рифмочки? раз уж «пилигриммы», катай — «палимы»! Все слопают. Подумать, что за муку терпят «пилигриммы»! от солнышка! Хоть бы какой зонтишка, что ли... ведь для Микиты это гибель, солнечный у-дар! Скорби, несчастный!.. Пива, больше пи-ва!!.. залить, залить!.. И, сталоть, сенокосная пора либо жарынь июля..? Да в страдную-то пору будет тебе Микита по подъездам шляться, хоша бы и «парадным»! А каков финальчик «стонный»! И под телегой-то, и под овином, и под стогом... ну, стон и стон. Нам, чертям, от сего «стона» стало тошно, «гофманские» принимали, мятные пряники жевали... все-таки у нас есть мера. Ну, ты был глупее воробья и верил. А не верил — так жульничал, только бы «стон всеобщий»! Но ведь и седобрадые вторили! И допелись-таки до стона, таки накликали. «И пойдут, побираясь, дорогой, и... засто-о-онут...!» Извини, тошнит. Пропили все, идут и... сто-нут. Видал? слыхал? А создатель-то праведный заверяет «родную землю», что «такого угла не видал, где бы русский мужик не стонал». И сейчас осведомили все «европы», где никаких «стонов» никто, понятно, никогда не слышит, и все «европы» поверили и ужаснулись, сейчас

же отпечатали ярлык и наклеили, куда нужно, согласно любви и благородству, и, содрогнувшись, стали помогать посильно — «сеять разумное, доброе, вечное». И ты поверил, что так он именно и видал? «Такого угла не видал», а за дупельками-то к «стону» хаживал? А Пушкин вот не видал. «Сват-Ивана» видал, и старуху взбалмошную видал, и все видал, и все знал, а... вот не «стонал». Помаленьку и получилось, «почему так случилось»,— пардон за каламбурчик. А как «стоном-то все стояло», хлебушко копеечка фунт был, «стон»-то землицей обрастал, железцом покрывался, пил чай с сахаром и человечины не вкушал и... мог даже, черрт побери, и возноситься. Ну, в Менделеева, что ли, заглянул бы... кажется, не дурак же был. Да-а... как Фет-то «стоножалетеля» и «стонопевца» разделал! Я, я даже восхитился, сейчас же ему визит, да попал не совсем в приличную минутку, тот уже в дальнее плаванье пускался, и только взглянули друг на дружку. Он вдруг с чего-то испугался, в ужасе прохрипел, показывая в угол, где я присел с визитом...— «он... там!.. он!...» и... Но тут явное недоразумение. В общем, все-таки ты терпим, но... как поумней бы, что ли, а то очень уж неэстэтично вышло: возносили дворец до неба, а вышло... мокренькое место. Какая мне с тебя корысть? Ну, хоть бы на копейку «божественной гармонии», дерзаний перед Самим...— было бы над чем стараться! а то — «на-побегушках», платок сморкательный! Чур, одну минутку... Микиту обработать — игра свеч стоит, и было бы с чем предстать пред мя пославшим. А с мокреньким... фи, donc.

— Стой, подлец, вспомнил!...— с яростью вскричал профессор,— ты — Сенька Хоботков! Юрист-второкурсник... шапку украл со сбором по партам, мы тогда пускали, на семью жертвенного Каляева! Я тебя в тот же вечер, циник... негодяй... в ресторане Саврасенкова видал, в новенькой тужурке, с «Разлюли-Малиной»!.. на святые деньги ты жрал отбивную котлетищу с горошком, запивал портером!..

— Ффу ты, что за гениальный блеск памяти! даже... до зеленого горошка!... А все забыл. Допустим, я в этой благородной шкуре, хоть ты прекрасно знаешь, кто аз есмь. Ну, у кого острей?.. У Саврасенкова — да, с «Разлюли-Малиной» — верно... с коей ты, накануне, в «Малоярославце», на святотатственное-краденое, изволил кушать: осетринку по-американски; сотэ из рябчика, почки в мадере, клубничку со сливками... и орошал сие

сухоядие портвейнцем и коньячком с абрикотинчиком... даже «Разлюли-Малина» ужасалась, теребила за мундирчик и вопрошала: «и де ты, андел, накрал на столько? иль упреподобил старушонку, как Расколкин?..» Погодь, не все, ягодки еще к десерту. А заработал все сие в поте своей душонки... Сто-ой, мироточивый! У богатой тетеньки проживал, на маменьку выклянчивал — «ах, больная, в глуши, нет даже на лекарства...» — «Ах, на пошли...» — две красных. «Пошли» — на «Разлюли-Малину», нэ-с-па? Душеньку твою спасала, тянула на веревке в церковь,— упирался. И заключили вы условьице, тетенькину душу успокоить: за всеношную — рублик, за обедню — вдвое, чтоб на ее глазах выстаивал. Сто-ой... И ты, овечка погибшая, выстаивал... для рябчиков и почек, абрикотинчиков, «Малин», «Фру-Фру», и проч., и проч., и проч... Нет, чур, не все. «Двунадесятые» — тариф двойной. «Великие» — тройной, а «Праздник Праздников» — за разовый сеанс по красной?! А как те, «окаянные» наступят,— твое бомо? — ну, покаянные... тут уж Клондайк, Голконда, «радуга-ми» блещет. Что, мироточивый, померк твой блеск? и у меня не притупилась, а?!

— Все преувеличил, негодяй... все извратил!...— вскричал профессор с острой болью,— было... пустяки, как шутка... надо ж так заплевать все!... Я давал уроки, посылал матери... эти «службы», для успокоения религиозной тетушки, которая столько для меня... отнимали время... я не мог все на ее плечах... давал уроки... и она, поняв, мне помогала, добавляла... Все извратил гад!.. Да, я не верил, вынуждал себя... для ее покоя... только для ее покоя, а не для... извратил, подлец! извратил, как все!..

— Ну, игра ума, а суть-то та же. Что?! Глазки в передничек, как «папа-мама»? Постиг ин-дукцию? Но я великодушен. За «по-бегушки» для меня вот три презентика, обогащайся. Первый: ты вдрызг бесснастный и посему бессилен оплодотворять... дарю совет: лечись! да вот, досада... слишком поздно. Второй: займи хоть у Микиты на монетку его сверх-логики! ах, нет под рукой Микиты! И — последний: свешивай почаще русую... пардон, седую! — голову к груди, где инструментик... «угрызений» им меряется, говорит, все очень точно! но... — анкор эля! — там так же пусто, как в этом логове, ан-тичном, хе-хе-хехе-э...

Профессор проснулся от «толчка». Часы указывали — 2.

— Ф-ф... ко-шмар...— с трудом передохнул он, нашаривая нервно папиросы... где они?!...— Ффу... грязь какая!...— и стал креститься.

Весь дрожа, он сунул ноги в туфли, надел халат. Но... что же надо...? Вертелось в мыслях, что-то надо было... что-то сделать... что?... По привычке он подошел к столу, «занести мысли». Узнал свою работу, стал листать, привычно-бегло... и вдруг, найдя что надо, схватил перо и в дрожи, прорвав бумаги, написал размашисто, во всю страницу — ЛОЖЬ! Сгреб комом, бросил об пол и стал топтать. И повторял, как исступленный задыхаясь...—

— К черту!... к черту!... к черту!...

ЗАМЕТЫ...

1. «Врешь, есть Бог...»

Никогда я не заводил записных книжек: не было терпенья-воли записывать. Думалось,— удержит память, чему надо удержаться. Теперь жалею: много пропало слов и мелочей. В этом рассказе какие-то «слова» уплыли,— лиц, пожалуй, «исторических».

Рассказывал мне Вересаев, автор «Записок врача», в Москве, летом 22 года. Рассказывал со слов шурина, Смидовича, видного большевика. Смидович только что был у Троцкого, в «Ильинском», былой резиденции вел. кн. Сергея Александровича. По Вересаеву, шурин возмущался происшедшим: «черт знает... престиж роняют, дурачье!»

Не помню точных слов Вересаева, а он делал «примечания». Говорил не только о сыне Троцкого, «выкинувшем штуку», но и о детях шурина: «ахают, какие вызревают «фрукты»... сами родители не сладят». Подробности о «фруктах» ускользнули из памяти: что-то совершенно дикое, в отношении к людям, к жизни...— «очень далекое от «идеалов» папаши».

Вот что случилось в посещение Смидовичем «Ильинского».

Сын Троцкого, мальчишка лет двенадцати, завел «потешных», как Петр. Разумеется, с одобрения отца. Все к услугам: верховые лошади, оружие, средства...— имперского масштаба. Без сверстников, хоть и подвластных, скучно. Мальчишки и девчонки с. Ильинского ходить к «барчуку» боялись, не как их отцы и матери, бывало, приходившие играть к детям вел. кн. Павла Александровича. Сдерживали и родители: «нечего вязаться с ними». Родителям, говорят, внушали: «к вам, дурачье, идут навстречу... теперь ра-венство!» Стали приманивать сластями. На сласти потянуло: набралось человек двадцать, мальчишек и девчонок. Троцкий-младший командовал: говорил, следуя примеру, «зажигательные речи», «объезжал фронт», ему отдавали честь. Троцкий-старший любо-

вался. Ружейные приемы, маршировка, построенья, стрельба, атаки...— как полагается. Было и обучение «словесности».

На одном из уроков командир объявил, что —«никакого Бога нет». Это уже слыхали. Из церкви с. Ильинского уже были изъяты «ценности», но церковь еще не закрыли, народ молился, и ребят водили. Кой-кто отбился, по словам батюшки: после рассказа Вересаева я был в с. Ильинском.

А произошло вот что.

Командир объявил, что завтра он на опыте покажет, что —«Бога нет».

— «Завтра все приходите, увидите!»

Ребятишки ли испугались, или матери им заказали, но только на «опыт» пришло лишь человек пять.

— «А где же все?..»

— «Мамки не пустили... и боятся».

— «Дурачье!..»

Повел на «княжью пристань», на пруд. Велел садиться в «княжью лодку». Посажались. Велел грести на середину. Пруд большой, глубокий. Выплыли на середину, ждут, с опаской. Командир — бесстрашный. Поднял с сиденья крышку и вынул... икону Богородицы,— «великокняжескую», возможно: великая княгиня иконы почитала, много их было у нее в моленной: возможно, что во дворце некоторые иконы сохранились к водворенью Троцкого.

Увидав Икону, ребятишки притихли. Командир смеялся:

— «Что, струсили?!.. А я вам докажу: утоплю икону,— и ничего не будет! На деле убедитесь, есть ли Бог!..»

На глазах всех, притихших, сам обвязал икону сахарной бичевкой, натуго, а к концам привязал кирпич: обвязал крест-накрест, попробовал, крепко ли бичевка держится.

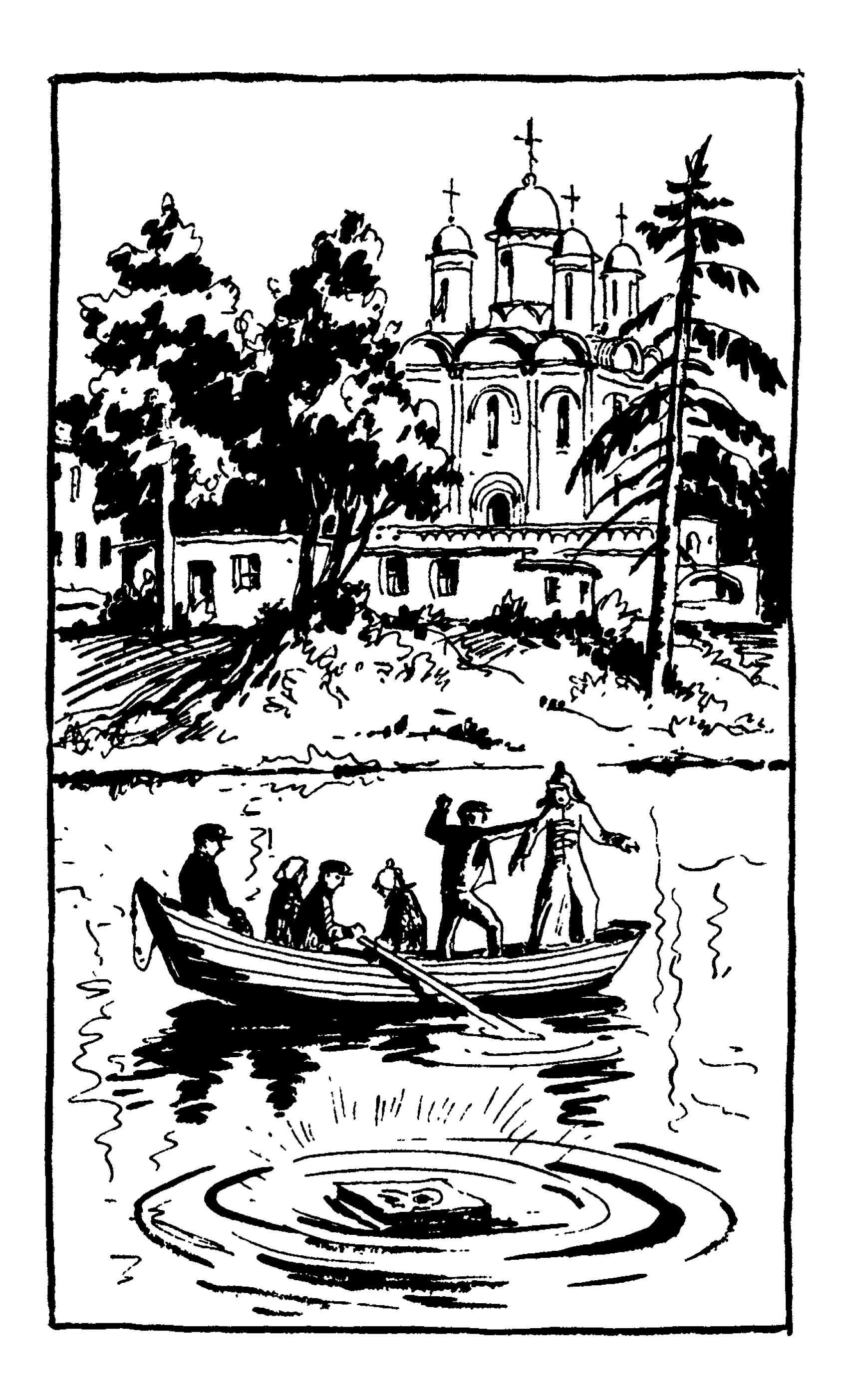
— «А теперь глядите... Раз, два, три... пали!»

И — бух! — швырнул Икону в воду.

По словам батюшки —«ахнули ребята»! Сидели, вероятно,—«ни жив, ни мертв». Может быть — наверное даже,— ждали: «как же Бог-то..?!..»

Расходились по воде круги...

«Что видали?!..— крикнул командир, окидывая все победно.— Вот вам, дурачье, нагляднейший урок, что никакого...»



Но не докончил: вы-плыла Икона! Это удостоверил сам Смидович своему зятю, Вересаеву. Правда, удостоверил без смущенья:

— «Разумеется, кирпич сорвался или оборвался».

Пусть так. А, на глазах ребят, Икона вы-плыла.

Тут самый, должно быть, бойкий крикнул командиру:

— «Врешь, с...!..— с прибавкой буквы «с»: — Есть Бог!..»

И — командира... в ухо. Возревновал. Тот досмерти перепугался, смотрел на воду.

Икона, обвязанная, как была — «сияла в солнце». Так говорили ребятишки,— передавал священник. Командир все смотрел... Но все же осмелел, велел:

— «Греби к иконе!..»

Но гребец вел к берегу... только не к «княжьей пристани», а к дальнему, откуда ко дворам поближе. Как ни взывал командир,— «к нам, черт!.. к нам!..» — лодка плыла своей дорогой. Ребятишки повыскакивали еще до берега, помчались — кто куда.

На другой день «во дворце» узнали. Было следствие. Смидович при сем присутствовал. Троцкий был взбешен, обругал сына дураком. Про «ухо» будто бы сказал: «так дураку и надо... достиг обратного!»

Пруд весь изъездили. Иконы не нашли. И не мудрено: ночью ее п р и н я л вплавь, на середине пруда, матрос-порт-артурец, поведал батюшка,— отец возревновавшего мальчишки. Где та Икона — неизвестно.

Время придет — о б ъ я в и т с я.

Май, 1947
Париж

2. Ясновидец

Лет за пятьдесят. Москвич. Много читает, мыслит п о-с в о е м у, непроторенными путями. Вдумчиво-замкнутый,— как бы вглядывается в с в о е.

Помню, говорили о Москве, о некоем астрологе, который собирается ехать туда невдолге. Мой собеседник, что-то вдруг уловивший в с е б е, прерывает разговор и как бы вспоминает:

— Да... почему-то ему так видится по гороскопу. Таинственная область... Конечно, странно эта...— «невдолге»!.. Но вот... как вы отнесетесь к одному случаю из

моей жизни..? Впрочем, не один только случай: были еще. Что мне... лет 17—18 было, до войны. Жили на даче, в «Богдановке», близ Кунцева, под Москвой. Дня три, как переехали на дачу. Никогда раньше здесь я не бывал. После уже узнал, что все это место — бывшая вотчина Нарышкиных, по р. Сетуни. У Забелина есть книжка «Стан Сетунь»...— тут уже прочел ее,— про вотчину Нарышкиных.

— Помню, гулял я с родными по р. Сетуни, в старой березовой роще. Тогда я учился в училище Живописи, Ваяния и Зодчества, интересовался архитектурой XVII века. Не помню, о чем я тогда думал, на прогулке... об историческом, кажется, не думал. И вот, кто-то из компании говорит: «смотрите, какой странный камень... будто могильная плита!» И я вижу, шагах в пятнадцати, в березах, длинное возвышение, как плита, темно-зеленое, мшистое...

— И, вдруг, ни с того ни с сего выкрикнулось из меня!..— вот именно, без всякой мысли об этом, невольно как-то: «это боярина Матвеева!..» Выкрикнулось совсем спокойно, без колебания, но и без уверенности... совсем непроизвольно, безразлично, свободно, отлично помню и сейчас, что — совсем свободно. Все засмеялись — «он и на похоронах был!..». Но заинтересовались, обступили «плиту». Она крепко поросла плюшевым мохом, густым и гладким, каким обрастают камни в сырых местах. Все стали отдирать мох, смеясь: «что тут за «Матвеев»..?» Давний мох отдирался туго, с подтреском, клочьями, как шкурка. И я ревностно отдирал, как бы ища. Действительно,— плита, и проступили высеченные крупно буквы... мы могли разобрать лишь —...МАТВЕЕВ...— другие знаки были неразличимы. Все закричали: «он знал раньше!..» Я был очень изумлен, почти смущен: как же я мог узнать?!

Я стал говорить, что мох старый, десятки лет рос, конечно... как же я мог знать!.. в этих местах я не был никогда до сего, только три дня, как переехали на дачу. вместе мы все гуляли!.. Мне не верили: «Как-нибудь да узнал... вычитал!..» Я божился, что не знаю даже, где «боярин Матвеев» и какой «Матвеев»... знаю только, что был в XVII веке боярин Артамон Сергеевич Матвеев, образованнейший для своего времени. И только. Впрочем, никакого значения моему «открытию» не придали, и сам я скоро забыл об этом.

Но вот другой случай. Только не из минувшего, а из...

будущего. Мой отец не мог спать без лампадки: сейчас просыпался, как только лампадка гасла. За галлиполийским маслом надо было на Никольскую, в часовню Пантелеймона. Гарное же масло горело не всегда хорошо. И вот отец велел приладить в лампаду...— а лампада была большая и глубокая, перед семейным киотом...— электрическую лампочку; какие светят на елках. Насыпали в лампаду гречневой крупы, в нее и воткнули лампочку, глубоко, чтобы не видно было. Теперь отец мог спокойно спать.

Как-то сказал я маме, совсем не думая, почему так говорю: «мама, а ведь может случиться... вынем мы эту крупу, промоем и съедим!» Она, помню, сказала: «какую ты чушь говоришь...» Мне даже стыдно стало,— действительно чушь. И вот, революция, большевизм, голод. Мы вынули из лампады крупу, промыли и сварили кашу. Вспомнили тогда мою «чушь».

— Но вот, третий случай... еще более странный. Но — еще не полный. Мне теперь в голову иногда приходит, что все эти «случаи» как-то связываются с «проблемой времени». Время..? не фикция ли это..? какая-то «категория» мышления..? в связи с... чувствованием..? Наша, человеческая, условность. В «Откровении», помните: «...и времени уже не будет»?..

Так вот... Об этом третьем «случае» я последнее время о-чень почему-то думаю... жду..? Судите сами. Заметьте, что это было,— помню совершенно точно,— в 1915 году, во время войны.

Мы жили тогда на даче в «Малаховке», по Казанской дороге, верст 20 от Москвы. Я был на 3-м курсе в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества... Ни о какой «загранице» не думал. Кажется, было это в поле, день был очень яркий. Иду, задумался, забылся...— и вдруг вижу себя... в Кремле!.. Не думал о Кремле... не помню, о чем думал.

Вижу так: будто я на коленях, в Успенском соборе, в полусумраке. Стою перед иконостасом. Народа будто нет, я один. Смотрю на икону, Спаса или Богоматери. Стою, радостный, и так говорю себе, свободно на душе... и говорю себе, мысленно: «как долго я жил там!.. сколько я всего видел... видел Океан, пальмы... много стран...» — и чувствую, что я был вынужден так долго жить там, вне России!.. Думаю: «и вот, я снова здесь, стою в Успенском соборе, древнем, родном... как мне легко, Господи, как я счастлив, что опять здесь,

в любимом моем Кремле!..» Вдруг пропало, я вижу луг, цветы...— Малаховка!.. вон наша дача...

Не странно ли..? Ну, если бы я хоть чуть думал о «загранице»! что меня что-то заставит туда уехать... ну, если бы я был революционер, мог бы опасаться ареста, думал бы о побеге...— ничего подобного!.. никакой связи... И такое яркое чувство — «как до-лго я жил на чужбине!..» И — вернулся, и так счастлив до слез, до радостного биения сердца: вернулся, снова здесь!..» Поразительно ярко было это чудесное чувство встречи!..

Теперь часто вспоминаю это... жду? Не могу сказать твердо — да. Но... для чего же было это тогда со мной?!.. Связываешь невольно с теми странными случаями...

— У-ви-дите...— сказал я ему, невольно тоже, уверенно-спокойно.— Будет именно так, как было с вами в... грезе.

— Вы думаете?..— сказал он, вглядываясь в свое, совсем спокойно.

И я почувствовал в его вдумчивости и в его голосе, что и он сам так думает.

Май, 1947
Париж

3. Еловые лапы

День был будний, метельный, музейные посетители были редки, и появление старика, в ветхом полушубке, в лаптях-онучах, с мешком за спиной, привлекло любопытство музейских и хорошо запомнилось.

Выдававшая входные ярлычки спросила старика с удивлением: откуда он и что ему тут нужно?

Старик сказал: «из-под Сарова, пришел Батюшке Серафиму поклониться». Сказал твердо,— видимо, знал, что не ошибся местом. На его спрос: «где тут у вас Батюшка Серафим?» — выдавальщица показала на лестницу: «там укажут».

Как узналось после, она — «смутилась как-то... забыла приказать старику оставить мешок здесь».

Старик, хоть и очень старый и согбенный, поднимался по лестнице легко и совсем неслышно в своих лаптях. Лестница была в три колена и крутовата, и бодрость старика удивила выдавальщицу.

На верхней площадке сидела барышня, пробивавшая

ярлычки. По ее словам, старик и не задохнулся даже. На досуге она читала, и неслышное появление такого необычного посетителя испугало даже ее. Она тоже спросила, откуда он и зачем. Получив тот же ответ, что и нижняя, заинтересовалась «такой редкостью» и на досуге, без посетителей, стала спрашивать, то и се, далеко ли отсюда до Сарова, приехал по железной дороге или подвез кто, как разыскал музей... Старик отвечал ясно и охотно,— оказался детски-откровенным. Пришел пешком, по обещанию; от Сарова верстов сот пять, шел боле месяца, «все было хорошо, задачливо»; а пришел — «по маменькину наказу, для памяти». Для какой... «памяти»? — «Как маменька помирала,— наказала: «помни, Ваня... вымолила я тебя у Батюшки Серафима...» — «отмолила, стало-ть, маменька меня...» — «воздвиг тебя Батюшка Серафим-Угодник...»

Слово за слово, узнала барышня,— «как воздвиг». Усадила старика на стул, поотдохнуть,— пожалела, какой он старый, заросший, «как моховой»; борода стала уж и зеленоватой будто.

И вот что узнала барышня.

Мальчонком был он дюже болен, вот-вот помрет; ни рукой ни ногой, сразу с чего-то сталось. Все слезы маменька выплакала, все ходила к Батюшке Серафиму на могилку, от их села верстов сорок. И Батюшка Серафим воздвиг его. С той поры всякий год хаживали они на могилку, правили панихидку,— «порадовать-поклониться цветочками, с его полянки в бору», а в зимнюю пору еловые лапы в бору ломали и сосновые сучочки с шишечками на могилку клали — порадовать. А как «просветились мощи», годов тридцать тому, беспременно два раза на году навещивали. И маменька померла, и жена-покойница померла, и сынка в большую войну убили; и внуки попримерли, «от бедовой жизни», никого у него теперь... а то все ходили, «по завету, для памяти». А как Батюшку Серафима «взяли от нас...» — стал дознавать, куда увезли его. Верные люди и указали, только молчать велели... Вот и пошел Батюшку искать. И теперь хорошие люди есть, «законные»: и ночевать пускали, и покормят от скудости, и на печь даже погреться дозволяли, и копеечки подавали — и от них чтобы поклониться Батюшке Серафиму, свечечку родимому поставить... А то и всплакивали...— «Скажу им святое слово — «плачущии утешутся...» — ан и станет им весело». Задачливо было всю дорогу. Паренек однораз нагнал, с оружией, который высокой при

начальстве,— «что за человек?... куда-а?..— строго-то так было окрикнул... а ничего, нестрашный: — чать тебе, дед, годов сто будет?..» На ахтынабиль к себе сесть велел...— «помчало, снегу не видать!..» Сто не сто, а за восьмой десяток много перешло.

Помнилось еще барышне, как другое начальство бумажку ему сунуло, «орленую»: «везде тебя, дед, с колокольным звоном будут встречать с моей бумагой!» — «Да я ее, малость отойдя, в снег сунул, от греха... ну-ка она неправая?..»

Барышня сама довела старика до той двери...— и спохватилась, что отпустила его с мешком: «в голову как-то не пришло!» После было ей строгое внушение, но без особых последствий.

Когда старик вернулся оттуда, она сказала ему присесть и подала воды в кружке, но он пить не стал, сказал: «не, там снежку пожую». Она предложила ему кусочек сахару, «для силы», но он отвел ее руку с сахаром: «не, милая... меня и покормят, и чайком напоят... хорошие люди есть». Ей стало грустно: не принял от нее водицы даже.

Из расспросов у старика и по рассказам музейских... (это «явление» произвело сильное впечатление даже и на «ответственных» при том отделе), узналось, что произошло там.

Дававшая объяснения посетителям, «ответственная»,— «была, прямо, поражена» появлением старика с мешком. Старик нимало не смущался, объяснений не слушал, а первым делом спросил-перебил: «где положили Батюшку Серафима Преподобного... от нас взяли из Сарова?..» Она показала на витрину. Он поглядел на «ответственную» «недоверчиво» и перебил настойчиво, строго даже: «а не обманываешь?.. самый тут Батюшка Серафим и покоится?!..» Она сказала «этому темному»: «ясно — тут! вон, за стеклом, и косточки...»

Из слухов, ходивших среди музейских, узналась «вся история».

«Ответственная» сначала «немножко растерялась, но взяла себя в руки», велела старику отдать ей мешок: «с вещами у нас нельзя!.. как тебя пропустили?!..» Старик отмахнулся головой и сказал «упрямо»: «не, не дам я тебе мешка!.. это Батюшке Серафиму, память». Она оставила: «что требовать с такого!..»

Подойдя к указанной витрине, где были «останки из Сарова», старик трижды перекрестился и положил три

земных поклона. «Ответственная» хорошо не помнила, смотрел ли старик за стекло... — «кажется, поглядел». Но заметила, что в его бороде блестели слезы... Говорили, что, по ее словам, — «досадно ей как-то было... жалкий, темный народ!»

Положив поклоны, старик снял со спины мешок и стал развязывать... Она сейчас же ему сказала, возвысив голос: «что..?! что ты?!.. нельзя у нас!..» — не знала, что вынет он из мешка, но чувствуя «что-то недопустимое». Старик отмахнулся, хрипнул что-то такое вроде... — «ну, тя..!» — схвтил мешок за углы и вытряхнул под витрину, на пол...— «е-лки... и какие-то шишки!..» Она крикнула на него — «нельзя!.. тут у нас не базар!..» Старик — словно и не слыхал: ткнулся головой в елки, «потрясся там»... и, стоя на коленях, — «стал тянуть, жа-лобно-плаксиво»... — передавали музейские шепотком:

«...роди-мый ты на-ш... Ба-а-тюшка Серафи-им... пришел к тебе... Ваню-шка-а... по-мню... го-лу-бчик ты на-аш... Ба-атюшка Серафи-им... Угодник Бо-о-жий..!»

«Ответственная» ясно видела, как по его «страшному изможденному лицу градом катились слезы...» Все же она строго выговорила ему, — что — «это у нас никак нельзя!.. что это?! к чему это?!..»

Старик... — «конечно, понял по-своему, наивно...» — и едва выговорил вдруг посеревшими губами, «ласково как-то даже, совсем по-детски... бесцельно было, конечно, такому, что-нибудь втолковать...» —

«Еловые лапы это... с самого борку Батюшки... любил Батюшка свой борок... па-мять наша... в память это ему, по маменьке...»

Покрестился, едва поднялся — и побрел, нетвердо, волоча свой мешок.

Барышня-пробивальщица увидала старика — «совсем изнеможенного, желтого-желтого, как покойник...» — перепугалась: ну-ка, он тут помрет! — и, усадила его на стул, видя, как он мотается. Он сел и разинул рот... воздуху не хватало, «свистело в нем». И вот тут она подала ему воды, но он не принял. Потом, путаясь пальцами, долго складывал свой мешок, приглаживая его ровней, — сунул за полушубок. Когда чуть отдышался, стал нашептывать, себе будто, что привел Господь... поклониться Батюшке Серафиму... Преподобному... теперь спокойно пойдет домой. И так благодушно огляделся... Она спросила: «а что же с мешком..? почему пустой?..» Он будто улыбнулся, все головой покачивал,

чего-то думал. Досказал, спокойно совсем, будто гляделся в свои думы: «стро-га-а... а ничего... ничего... кричит свое — «выкинем, сожгем!..» — что ж... ничего... ты свое делай... чего тебе велят... а я свое... сделал... маменька покойная... наказывала... тута вот...» И стал потирать у сердца.

Расстроился, что ли, с дум своих...— захлюпал. У барышни, сказывала она, «сжалось сердце». Горько было, что и воды от нее не принял. Помнила его слова: «не... там снежку пожую...» Она не обижалась, чувствуя, почему он не принял и так сказал... но ей было не по себе.

Поотдохнул и пошел, сказавши: «прощай, милая...»

Долго вспоминали об этом посещении, потом забылось.

Не прошло года, было в самом начале августа. Та же барышня вдруг опять увидала старика. Он был в том же полушубке, в лаптях, с мешком. Стал, кажется, еще старей и слабей. Она напомнила ему, и он признал ее. На ее вопрос: «с елочками?..» — сказал: «да, милая... еловые лапы, Батюшке Серафиму». Намачивал дорогой, не посохли чтобы, не пообсыпались.

Было как и в тот раз: поклоны и «память-радование» — еловые лапы и сосновые ветки в шишечках. Никто там ни слова не сказал старику. Он ушел с миром, благостный. Ласково сказал барышне: «ну, милая... прощай».

Больше не приходил.

Июль, 1947
Париж

4. Бескрестный Лазарь

Барин Н., законник, потомок видного деятеля по освобождению крестьян, увидал однажды у жены бумажку волостного правления, такого «дикого» содержания:

«...отдаю барыне Н..., в полное крепостное владение, трех моих сыновей, навечно. За неграмотного... расписался...» и печать, копотью.

Барин взглянул удивленно на жену. Она спокойно сказала: «оставь, это наше дело». Раз так, значит,— так и надо: он не мешался в дела жены, женщины рассудительной.

Так оно и оказалось. Отдавший сыновей в «закрепо-

щение» барыне, был отъявленный пьяница и лиходей, что называется — «хомут на миру»: не раз собирались удалить его из общества, приговорить к выселению в Сибирь, но барыня заступалась, по слезной мольбе бабы лиходея. Наконец, не стало сил и у бабы: молила барыню взять ребят на себя, «а то смертью убьет, злодей... бьет, чем ни попади, печкой только не бил!..» И барыня придумала «закрепощение». Лиходей получил сколько-то и отступился, скоро и освободил всех: замерз, пьяный,—а трое мальчишек и баба были взяты в усадьбу.

Мальчишки сами выбрали себе дорогу в люди: старший отдан был конюшему, и вышел из него хороший кучер; середний обучился садоводству; а младший, Лазарь, захотел к повару, и стал отличным поваром.

Пришла война, а за ней и революция. Господа перебрались к дочери в Москву и скоро померли. Дочь-вдова, жившая в богатой квартире, была уплотнена и обездолена. При ней остались старушка няня и дворецкий, верные: ютились по углам в том же доме и выменивали на пропитание остатки барынина добра. Тем трое и влачились. А жизнь становилась беспросветней.

И вот как-то приходит няня и говорит:

— Барыня, Лазарька наш сыскался!..

Не помнила барыня, какой «Лазарька». Напомнила ей старушка няня: еще все дивились в именье, какое сладкое умеет готовить Лазарька, совсем мальчишка!

— Разыскал нас... давно искал! Хороший такой, франтом... у американцев служит... на глаза хочет показаться, ждет на дворе.

— Что за чудеса!.. зови, зови...— обрадовалась барыня; помнила вихрастого поваренка, которого Листратыч-повар называл — «золотые руки».

— И жарко-е с собой принес!..— радостно шептала няня, дивясь,— цельную, говорит, индейку!.. и под серебреной кры-шечкой!..

— Что за чудеса!.. у американцев?!

— Да вот, увидите.

Никогда бы не признала барыня стоявшего перед нею, с блюдом под мельхиоровой крышкой, статного молодца, совсем военного: в крагах, френч с клапанами, часики на руке: только вихор да веселые-бойкие глаза напоминали ей поваренка Лазарьку: а то — ну, совсем американец.

— Здравствуйте, барыня!..— весело сказал «американец»,— не узнаете? А я вас помню. Еще полтинник мне

как-то подарили... кошелечек у вас был кольчиками, серебряный!..

Барыня вспомнила,— и у нее навернулись слезы. Она взяла Лазарьку за плечи, будто совсем родного, и, говорить не в силах, усадила на стул, с собой. И все смотрела ему в глаза. И через эти глаза — все видела... А он, поставив на столик блюдо, стал рассказывать, как пошел счастья искать в Москву и как далось ему это счастье,— сразу попал к американцам, в «Ару»,— к самому главному! — женщина одна попалась на вокзале, наша: разговорились,— сразу все и устроила, тоже у американцев служит.

Долго Лазарь барыню по Москве искал, фамилию только помнил. И вот нашел. Живется — нельзя лучше: полное пропитание, хорошо платят, как сыр в масле катается.

Смотрели на Лазаря, дивились. Он подошел к столику, поднял покрышку с блюда...

— Вы, барыня, не сомневайтесь... все в порядке. Это не в украдку, а сам економ дозволил. Я ему доложился, а наша барышня; горничная у них... по-их и объяснила. Можно, говорит... и по плечу потрепал. Теперь я вам буду предоставлять. Как у Дистратыча-покойника... и гарнирчик, и зажарено в меру, только апельсиновое они варенье любят... а весь гарнир наш, полный.

Индейка еще «дышала»: в согревалке доставлено, в американской.

Тот день явления Лазаря был как бы «светлый день».

Как сказал Лазарь — так и сделал: в праздник или в воскресенье, приходил к барыне и приносил разное жаркое и сладкое. Няня и дворецкий хаживали к нему, там их угощали и навязывали с собой. Жилось Лазарю — лучше и не придумаешь. Понравились старики американцу економу, и он распорядился давать им чего хотят.

Так прошло с полгода. И перестал Лазарь приходить. Пошел дворецкий узнать, что с ним. Оказалось, что Лазарь уже не служит в «Ара»; забрали его в солдаты и куда-то угнали из Москвы. Сразу вышло, не довелось Лазарю и попрощаться.

Прошло с год. Наведывалась няня к американцам. Говорили свои, что и они скоро «сматываются». О Лазаре были вести скудные,— на Волге где-то. Барыне так и не написал. Решили,— нет ничего хорошего, оттого и не пишет.

Как-то приходит няня от американцев и говорит — заплакала:

— Худое, барыня... ох худое!.. Ла-зарь-то наш... о, Господи!..

И сказать не может, все крестится.

— Уж и похоронили, барыня... сказать страшно.

И вот что выяснилось.

Служившая у американцев судомойкой была и на похоронах, «все видала». Там и узнала, что случилось, Где был в солдатах Лазарь,— там «словно война была». Привезли Лазаря в Москву, в лазарет, с другими: не то раненного, не то больного. Лазарет помещался в церкви. Иконостаса уже не было, но на стенах еще оставались святые изображения. Солдаты,— красногвардейцы, что ли,— вели себя своевольно, добывали и спирт, в утайку, пьянствовали, играли на гармошках, плясали и безобразили. Как-то достали пистолет и давай палить по святым. И что такое с Лазарем сделалось! — вошел в раж, вырвал у товарища пистолет и крикнул: «покажу вам, как стреляют по-настоящему! недаром я отличник за стрельбу!.. Энтот вон архангел... у него глаза большие... я ему сейчас прямо в правый глаз попаду!..» Долго нацеливался...— и хлоп!.. Попал ли в глаз — неизвестно. А вышло так: отскочила пуля от цели в свод, от свода — Лазарю в правый глаз! — упал и кончился. Все стали кричать: «переводите нас, тут больше не останемся!..» Перевели будто в другое место. А Лазаря похоронили с почетом, в красном гробу. Очень девушка одна убивалась, в красном была платочке, как ихняя. Все на гроб падала, все кричала: «Ла-зарик мой... Ла-зарик!..» Зарыли, как собаку, без креста,— поставили столбушек и на него красную звезду посадили для почета.

— И что такое с Лазариком нашим сталось!..— плакала няня,— хороший-то какой был... а вот... как обернулось!..

Оплакали Лазаря, «бескресного». Да, сталось...

И вспоминаются мне слова «бывалого человека», встречного:

«...По России теперь таких... какие же перевращения видал!.. не поверишь, что у человека в душе быть может: и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Бо-льшое перевращение... на край взошли!..»

Август, 1947
Париж

5. Угодники соловецкие

СРЕДНЕГО размера образ, 30 на 26. Живопись тоже средняя, «палеховская»: писано, вероятно, иконописцем Обители. Лики отчетливы, у каждого свой характер. Слева направо: Св. Митроп. Филипп, священномученик; преподобные — Сергий и Герман, валаамские; Зосима и Савватий, соловецкие. Над ними, писанными в рост,— Господь Саваоф. На тыльной стороне наклейка, померкшими чернилами:

«Сию Святую Икону Соловецких Угодников, на их Святых нетленных Мощах освященную, приносит Соловецкий Архимандрит А... в благословение на гроб своей дочери девицы Анастасии, в этой обители погребенной, на вечное время. Мая 17 д. 1856, четверг А. А.»

Икона имеет свою историю: икона-мученица, икона-странница, а по вере одного лютеранина-швейцарца, уже покинувшего земной удел, икона — освободительница из уз тяжких.

В 20-х годах века сего некий швейцарский подданный, проживавший в Петрограде, был присужден к соловецкой каторге на 10 лет, как «паразит» советской страны. В до советские времена был он биржевой маклер, лицо, так сказать, законное совершаемых на бирже сделок. В те годы не было дипломатеских отношений между Швейцарией и Советами, и за чужестранца никто не заступился. Привезли его на Соловки. Было ему уже за пятьдесят. Сначала его поставили на лесные работы, но, год спустя, прознав, что он сведущ в чужих языках, перевели в канцелярию, «по иностранной части». Дело ответственное, опасное. Знат-то было по опыту: чуть что, пришьют «шпионаж», если проштрафишься ошибкой в переводе «секретных документов», и тогда... известно.

Так он проработал года два, все время страшась, не случилось бы какой «ошибки», а то «Секирка»*, верная смерть. «Там это просто,— рассказывал он,— как они говорят — «в два счета».

Проходил он как-то в свободный час под монастырем и видит: в стороне от дороги, в грязи, валяется дощечка. Подумал,— на подтопочку сгодится. Поднял дощечку, смотрит — икона, расколота: два лика только, расколота ровно чем-то острым, по-видимому — штыком:

---

* Страшное место заключения, откуда обычно один выход — в могилу.

две полудырки — в самом верху и в самом низу: совершенно ясно, что верхняя часть одного удара и нижняя часть другого пришлись в воздух. На тыльной стороне — половинка наклеенной записки. Заколебался взять: священное, а за священное, если увидят те, может быть строгая кара,— за хранение «опиума для народа». Да еще и чужестранец. Но что-то, в мыслях, велело: «взять, сберечь!» И он спрятал дощечку под фуфайку. Ни одной душе в казарме не поведал, страшился. Хранил дощечку под нарами,— «а для чего — не знаю: мы, лютеране, никаких священных изображений, кроме Креста, не почитаем».

Прошло дней пять, и швейцарец забыл про свою находку.

Вскоре ему случилось проходить монастырским кладбищем, еще не вовсе срытым. И вот, видит: мотается в ветке, на могильном кресте, на проволочке, дощечка. Было это совсем в другой стороне от той дороги, где, с неделю тому, нашел он расколотую икону. Что-то толкнуло его подойти взглянуть... и, к удивлению своему, узнает он другую половинку расколотой иконы! Не думая ни о чем, высвободил он из проволочной петли ту дощечку, и видит еще три лика, а на тыльной стороне отрывок той записки.

Тут в нем прояснилось нечто, мелькнуло мыслью — «какая странность!.. указание,— что ли..?» — и он уже сознательно взял эту половинку. Что он чувствовал от этой «странной» находки,— неизвестно: он не рассказывал о чувствах. Одно только было в мыслях,— впоследствии признавался он,— что «это не случайно». И решил — «непременно хранить эту икону». А зачем...— не знал и предположений не высказывал.

Но теперь у него «разные мысли завозились», и он уже не переставал думать о находке. Ночью, в бессонницу, он представлял себе, как могло все это произойти... Икону, конечно, расколол какой-то кощунник, из тех... «искоренял суеверие»?.. или злорадно издевался?.. Метил штыком...— удар был острый, пронзающий!..— метил, конечно в лики... может быть, в Бога Саваофа...— как раз намечал удар по средней вертикали! — но удар пришелся совсем по верхнему краю, на одну треть в воздух. Тогда кощунник взял чуть пониже, ударил...— и удар пришелся совсем по нижнему краю, по той же вертикали, но на одну треть в воздух... икона раскололась, а лики уцелели!.. Что же дальше? Упавшую поло-

винку кощунник зачем-то понес с собой и... швырнул в сторону от дороги. Почему же швырнул? почему оставил другую половинку?.. почему не уничтожил «опиум»?.. Этого никто не знает. Словом — швырнул...— «а я вот ее нашел!..» И вот эта «странность», что кощунник не истребил икону, а он, чужой всему этому, нашел ее в разных совсем местах...— вызывала в нем «разные вопросы». Вызывала — и... «как-то укрепляла». Для него становилось ясным, что — «это не случайно».

Прошло два с половиной месяца. Была осень 1928 года. И вот, вызывают его в «управление», и начальник объявляет ему приказ: «забирай свое барахло!» Он страшно испугался. Взглядом спросил — «конец?». Не отвечают. И сам он не мог бы сказать, что разумеет под этим туманным словом — «конец». Свои, «отбывающие», разное говорят: кто — «в расход», а кто — «загонят дальше». Куда же — дальше-то?.. И никто не предположил, что это — конец каторге.

Швейцарец стал собирать свое барахло, увидел свою находку и...— «что-то чуть мелькнуло в мыслях, стал разглядывать лики Угодников Соловецких». Строго они смотрели,— «будто в себя смотрели, что-то тая в себе». Но это лишь мелькнуло, не выразилось мыслью, тогда. Были в нем спутаны два чувства: страх и радость. Радости было больше: неясной, несознаваемой.

На пристани он узнал, что его повезут «дальше». Значит,— пока еще не «в расход». Об освобождении и мысли не было. Кто мог за него похлопотать?.. Никто. Он знал много случаев, что выпадало порой на долю таким же, как он, швейцарцам: с ними не церемонились. Американцы, англичане...— другое дело. Не раз ему бросали, презрительно: «эй, ты... шви-цар! по своему «огороду» соскучился?..» Никого не было, кто мог бы похлопотать. Правда, как-то он, безнадежно, сказал кому-то, отбывшему срок и уезжавшему с Соловков — бывшему ихнему: «хоть кому бы дать знать о себе... ни за что ведь губят!..» И этот «бывший!» сказал усмешливо «а вот разве что Николе-Угоднику дашь знать, да вы его не знаете!..»

Расколотые половинки иконы он запрятал на дно мешка, в лохмотья. Их не дощупались. В Архангельске он узнал, что его отправляют в Ленинград. Зачем?.. Всякие приходили мысли.

И вот он в Ленинграде. Через неделю вызывают его в тюремную канцелярию и дают «проходное свидетель-

ство» и во-семь рублей с копейками — «заработанной платы». Не хватит на билет и до границы. И говорят: «катись в свой «огород», там у вас, сказывают, и плюнуть некуда!»

Было это — «как сон». Двинулся он пешком, на Гатчину, таща свое барахло в мешке. Погода была — золотая осень. И было это великое путешествие для него — «самым радостным путешествием за всю жизнь»,— и самым легким, «будто несло на крыльях». Питался спелой брусникой,— много было ее! — и была она ему слаще сахара. Пек рыжики и волнушки на угольках,— и казались они ему «несравненными ни с чем по вкусу». И странно: «не хотелось с Россией расставаться!»

Смотрел на золотые березы большака и говорил с грустью — «прощайте, милые!..» А они роняли на него золотые листья. Подвозили его суровые русские мужики, жалели. Он хорошо говорил по-русски, говорил осторожно-бережно, но они понимали все. Давали хлебца. Помнил швейцарец, как один старик потрепал его по плечу, сказал: «ну, ничего... таперича до своего добьешься, молись Богу». Путь его лежал на Нарву, к Эстонии,— а там — «к консулу нашему, отправит». Помнил «радостную реку Лугу»: радушно приняли его русские рыбаки, накормили ухой чудесной...— «не ел никогда такой!» — и положили спать в шалаше. «И показался мне тот их шалаш дворцом!» Дали в дорогу хорошей рыбы: «на угольках испекешь». Ласково проводила его Россия.

Без гроша, с мешком барахла, с посохшей веткой березки русской вернулся он в родную свою Швейцарию, откуда давным-давно, юношей, выехал в великую Россию — искать счастья: жил хорошо все годы, много видал хорошего, и проводила его Россия лаской. А то...— надо забыть про то... «Как забывается дурной сон».

Вернулся он в родной Цюрих. Оставались еще какие-то родные, дальние. Подивились «выходцу с того света». Он рассказал им свою историю. Показал им икону: «она вывела меня из ада!» — так и сказал. Но они не поверили. Наводил справки, кто же похлопотал о нем. Не мог ничего узнать: не знали и в самом Берне. Но ему казалось, что он теперь знает все.

Жил — не роптал, на скромное пособие сограждан. Отдал мастеру «русскую икону» — склеить разбитые половинки и заделать «раны»; велел отмыть нарост времени и покрыть лаком. Икона поновилась. Молился ей?.. Этого никто не видел, никто не ведал, что теперь стало в его

душе. Но почетно хранил икону, «на полочке», как православные.

Русская благочестивая женщина, рассказавшая мне эту историю, знала этого швейцарца. На ее просьбы отдать ей икону эту — она предлагала ему деньги,— швейцарец решительно ответил: «Ни за что!.. ОНА ВЫВЕЛА МЕНЯ ИЗ АДА! Но вы после моей смерти ее получите».

И она, действительно, получила ее, и получила «без распоряжений». Это ее особенно радовало и удивляло.

Она редко бывала в той швейцарской семье. Зашла как-то и узнала, что бывший соловчанин умер. Вспомнила о чудесной его иконе, но не успела спросить, не было ли распоряжений покойного насчет иконы, как ей сказали: «возьмите икону, которую он вынес из России... нам она не нужна». Она спросила:

— Покойный распорядился передать ее мне?

— Нет, он нам ничего не говорил. Но вы почитаете иконы... возьмите.

Она предложила деньги, но они отказались взять.

Так исполнились слова швейцарца: «после моей смерти вы ее получите».

Она приняла эту икону благоговейно, «как дар НАЗНАЧЕННЫЙ».

Я вглядывался в строгие лица Угодников Соловецких, и они многое мне сказали. В этом, или потайно сказанном, я постиг, что они ВЕРНУТСЯ в свою обитель. Вернутся по воле Божией. Думалось мне, когда я вглядывался в лики: «не втуне написал неведомый Архимандрит А. «на вечное время»: ОНИ ВЕРНУТСЯ». Почему так думал? На это нельзя ответить словом, но ЭТО так явно СВЕТИТСЯ во всем нераскрытом содержании этой достоверной истории.

Июль 1948

ЗАПИСКИ НЕ ПИСАТЕЛЯ

I

...Так и озаглавлю. Я не писатель, но надо подвести итог: стукнуло — 70. Пора. Начерно прикинуть,— и потрясен: сколько!.. Но дело не в «сколько», а — что. Неужели... *познал*?!.. Едва-ли сумею изложить, но обязан все же попытаться. Почему — обя-зан?.. Не знаю, но чувствую, что не отмахнуться, что то велит.

Я и не мыслитель. Но ободряет: сколько было мыслителей, а...— что вышло! А мне-то, немыслителю, вдруг и удастся?.. Что загадывать... просто перескажу все, а там, кому попадется эта серая тетрадь, пусть! Когда покупал — подумал: какую дадут — и возьму. И вот серая. Подумалось... но тут же и отмахнулся: ведь жизнь-то моя совсем не была «серой», а даже с блеском. Не в смысле красивости, успеха...— хотя и это было, и еще каак! — а с окаянным блеском, когда вот бомбы или шрапнель. Этого повидал достаточно. Итак, просто начну, не устрашаясь, как когда-то мой ученик Егоров. Я в Т-ой гимназии был учителем истории и русского языка. По-те-ха Егоров этот. Дурак..? Будто и дурак, но старик Капнист... Да что я... какой Капнист..? Капнист был попечителем Округа, когда я сидел за партой, в 80-х... а это другой, плешивый. Сказал про Егорова: «гени-альный дурак»! Именно: так гениально упрощал все, как упрощает... жизнь.

Старик-попечитель вошел в мой — 4-й — класс и сказал: «вызовите самого слабого «историка». Я мысленно потер руки и не без тревоги посмотрел на толстяка-короткошею: выдержит ли его склеротическая система..? Выдержала, но пришлось мочить лысину, которая стала сизой, как свекла.

О Сократе было, по Иловайскому.

— Расскажите нам, Егоров, о Сократе.

Егоров, прозвищем «Булка», сын богача-сапожника. Всегда жевал: приносил булку за пятак, с икрой и маслом. Я его оторвал от любимого занятия: он вышел к дос-

ке прожевывая. Пухлый, тяжелый, розовый, невозмутимый, всегда уверенный, что «все знает». Еще до «Сократа» я спросил его, чтобы подготовить попечителя к представлению:

— Скажите, чем замечателен... Аристотель?

— Аристотель был очень мудрый человек... мудрец... и потому... смотрел всегда под крышу храма... и говорил знаменитые слова: «Я ничего не знаю».

Старичок визгнул и потер плешь. Я сейчас же поставил у первой парты, где он уселся, «столик на аттестат зрелости»... помните? с графином и стаканом. Старичок тут же и прихлебнул и понюхал из пузыречка. Началось «про Сократа». Класс притаился радостно...

— Сократ был очень мудрый человек... му-дрец. И у него была злая жена... Антина...

Старичок поперхнулся и усиленно понюхал из пузыречка.

— И потому... любил стоять под окнами... и все думал, о... разных вопросах. А она серчала...

— Почему...— вопросил старичок.

— Да... не занимался делом... гм... не подавал в дом... жалованья.

Старичок клюкнул головой в парту и стал усиленно потирать «свеклу». Егоров взглядом спросил меня — продолжать..? Старичок покивал: дальше, дальше!..

— Тогда она выплеснула ему на плешивую голову, со второго этажа, горшок горячих щей... чтобы привести его в чувство... ре... реальности!..— выпалил Егоров, вспомнив мои слова.

Старичок весь затрепыхался, и пришлось вызвать нашего доктора. Старичка вывели под руки, и он уехал, не кончив ревизии. Мне был выговор, но обошлось.

Так вот-с жизнь упрощает, как Егоров. Вскрывает всю «изнанку», даже для дураков. Да вот, атомная бомба, до которой мы дожили. Разве не «упрощение»? Ну, кто не понимает... А я понял.

Не только упрощает,— жизнь сказывает такими метафорами, так все разжевывает, что надо быть дураком, чтобы добиться того, чего добились. Вывод..? Или человечество поглупело, или... всегда было круглым дураком. Конечно, иносказательно. «Ума» у человечества — палата. Но почему же... все — так?!.. Я даже рад, что «не-писатель». Писатель всегда с «поползновеньем», хотя и исполнен вдохновенья. Боится, что ли, «упрощений»?.. И потому сворачивает с дороги, на которую вдохновенье

его влекло? Вот чего не найти у Пушкина, и вот почему надо у Пушкина учиться. Он о-чень «упрощает». Это доказал мой ученик Субботин, сын нашего протоиерея,— смело скажу: гениальнейший! Доказал в пробном сочинении на аттестат зрелости. Мысль не моя,— его. Но ревнивая к «тайнам» сила... нечто, жизни враждебное, его прихлопнула: милый мой Васик погиб от аппендицита, на втором курсе историко-филологического. Очень жалел Ключевский: готовил себе смену.

Жизнь любит поигрывать символами. Да вот мой случай. Я весь вышел из... пряников: мой отец был пряничный фабрикант. И деды искони были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму —«Печкин и Сын»? Во всяком случае, «тверские пряники» знаете. Такие белые, крутые, с мятным духом,— на елку покупали: человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки... других не мяли, даже и звездочек. Дед внушал мне: «наше дело — радость да сладость, помни!» Гордился своим делом. И я гордился. Да и теперь горжусь, все прикинув. Все деды —«выпекалы-пряничники». Благодарю Тебя, Господи! — зла никому не делали, были нрава веселого: радость-сладость. Пряники наши известны по всей России.

Шел пряник и в Бухару: остались в памяти пышные грамоты эмира. Ел наш пряник и император Николай Павлович. У меня хранится его юношеское письмо— «благодарю за пряники». Памятливый был: в 1828 году мой прадед получил почетное гражданство, а то был «из казенных». Говорили, что такого красавца еще и не бывало.

Известно ли вам, что наша Тверь славилась красавицами? Большинство истовых тверянок — высокие, статные чуть, будто и горделивые — величавые-белорумяные...—«живой пряник». И — с детства во мне осталось — душистые, мяткой пахли. И, при чуть-горделивости, такие мягкие сердцем, взглядом, движеньями, всей повадкой. Думается, что Некрасов про тверянок и сочинил «...их только слепой не заметит, а зрячий про них говорит: пройдет — словно солнцем осветит, посмотрит — рублем подарит». Матушка рассказывала, что Некрасов— «пил у нас чай с пряниками и подарил Колюше стишки— «Что так жадно глядишь на дорогу...». «Колюша»— мой отец. Она была очень скромная, стыдливая. Когда поминала про стишки — краснела. Мне кажется, что это про нее стишки эти.

Не лишнее это, про пряники: это связано с моим «открытием». Чувствую, что связано,— внутренней пуповиной. Не лишнее и то, что сказал про прадеда: красавец.

Когда прадед поехал в Питер благодарить царя... «вежливость соблюсти», хоть капитан-исправник и отговаривал — ему ставили там рогатки. Стравил на всяких «цепных» пудиков двадцать всякого товару и приложил по случаю всяких — «надо-ж-дать», «надо-до-ложить». Ж-дал и докладывал, и своего добился. Царь сказал: «какие у меня кавалергарды-то!..» Хлопнул в ладоши и показал царице. Та «ручку пожаловала». Приняла милостиво короб «особенных»,— сам прадед мял! — и «с приятностью покивала». Царь велел выдать из кабинетских — «тыщу на серебро» и серебреные часы, с Орлом,— на пакетах у нас печатались. Пожаловал фирме «герб под горностаем». И...— черта-то наша родная — простота, при многих пороках наших, оставил прадеда обедать за семейным столом,— хранилась у нас карточка-меню: был там «жареный поросенок с кашей», на Святках было. Отлично подгадал прадед, поехав на Рождество, зато своего добился: Святки остались для него «царскими».

Надо думать, что его выправка, рост и красота много помогли: «все на меня глазели, особенно женский пол». Царь его расцеловал, а царица «с приятность» сказала: «как раз твои пряники на нашу елку». Кто-то из вышних ему там посмеялся: «на полвека опоздал! был бы при Матушке-Екатерине графом... и в великих миллионах».

С этим связан во мне мой «исток». Я и тверяк, и москвич. Дед по матери — московский купец С-в, оптовик по красному товару. По смерти первой жены, приехал по делам в Тверь и тут приглядел вторую дочь краснотоварца-покупателя. Вот почему у меня трое сводных дядей, разного калибра, и все в Москве. Матушка бывала, девушкой, в Твери, гащивала у бабушки; там-то и встретилась с отцом, тоже красавцем-пряничником. Не нравилось деду-москвичу, что «пряничники», но покорило, что «жалованные», почетные граждане, и... «порода». Это сказалось впоследствии, когда я вступил в Москву, на отношениях с дядями, особенно с «книжным» дядей.

Я унаследовал много статей от дедов-прянишников и от матери. Это было причиной моих успехов и неудач в жизни, почти трагических. Но то, что я нес в себе от «радостей-сладостей», очень, думаю, повлияло на мой «итог». Без «пряников» я, может быть, и не приступил

бы к выводам. А-а, жизнь-то!.. И как же «у-прощено»! — никакая философская система и в сравнение идти не может: из «систем» я не высосал и капельки моего крепящего молочка.

Я рос и мужал «на пряниках». Смешон? Никто не посмеется, когда проникнет, что такое «русские пряники».

Помню деда, тоже красавца, и его редко-душевый склад. Он был «идеалистом», по терминологии... но лучше упрощу: он был добрый русский человек душевно-чистый. Правда, с изломами. Как бы его понял Пушкин! Не навязываю же себе, что в маме было от... Тани Лариной! Совершенно иной уклад, замоскворецко-купеческий, исконный, «качельный», с собаками цепными, с гвоздяными заборами, с курильницами староверов, с лестовками, гаданьями, странниками, утренями, с «мамкой», с обрядностью... с няниными сказками, с болезненной, до обмороков, стыдливостью, с предельным целомудрием...— сколько можно о сем сказать, и я непременно скажу, скажу, обязан!.. с множеством икон в доме обмоленных, почти живых, с глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко, глядит и шепчет. Помните, у Пушкина,— «скучный шепот»?.. Сколько всего этого во мне!.. Благодарю Тебя, Господи. Как это ширило мир и углубляло!.. Этот-то мир, народный, из глубин извечных, через Арину Родионовну в нашего Пушкина всосался... и не раскрылся; нечто, жизни враждебное, ревниво помешало. Сам уносясь, в восторгах, как рассказывал я моим мальчикам!..— сотни их у меня коснулись сего «мира» и — обещали богатый плод. Милые мои, где-то вы?!.. Кой-кого я нашел в Европе — отличная иллюстрация к «итогу». Теперь, растревожив душу, чувствую, что надо же наконец, все сказать.

Да, в маме было — пусть хотя бы чуть-чуть,— от «милой Тани». И вот какое счастье: отец был удачным ей дополнением. Такого образа я не знаю в литературе нашей...— проглядели?.. Я-то не проглядел; а это самое важное, без сего мне бы и не открылось — что открылось...

Май, 1948

II

Кажется, начал верно, уясняя себе,— а, может быть, и не себе только? — «откуда есмь пошел»; то есть, с моих

«истоков». И это вовсе не потому, что привык к учебному канону,—вступление-изложение-заключение,— что я преподавал историю, набил руку, как педогог-словесник, раскрывать «основную мысль» произведения для моих мальчиков. Что мне нужно? Мне нужно доискаться в моей жизни «итога», в сущности — той же «основной идеи».

Потому-то и пошел «от предков». И вдруг мелькнуло, будто уж и нащупал самое главное, будто уж знаю все: почему жизнь уперлась в тупик... верней — подошла к провалу и вот-вот и провалится. Не личная моя жизнь, а — она-то уж провалилась, знаю...— а жизнь всеобщая, предмет «философии Истории». Почему-то теперь мне кажется, что я это давно предвидел, за годы еще до нашего разгрома. Собственно, не предвидел, а предощущал мигами, иногда даже на уроках вдруг вдохновенно открывалось, как, должно быть, бывает у поэтов и, несомненно, у пророков. Написалось — и вот смущен, что возвожу себя в такой ранг. Но правды-то от себя нечего скрывать: было и — есть. И потому тороплюсь занести в «Главную», как бухгалтер: в «Главной»-то, ведь,— итоги. Лично мне это, пожалуй, лишнее: списываюсь «на амортизацию». А это я потому, что мой-то урок еще не кончен, пять минут еще до звонка... и урок-то уж последний, перед роспуском на большие каникулы... Отсюда вот и мои «записки», для моих милых мальчиков: пусть почитают на досуге, для подготовки, если потребуется, к переэкзаменовкам.

Какое, однако, самомнение!.. и нисколько не самомнение, а как бы по властному инстинкту: «веленью Божию послушный». Но что мне до того, «как обо мне подумают»? — перед всеобщим провалом-то, когда уж не до..?

Итак, вперед!

Вся основа моя — от предков, от наших «пряников». И как же благостно и глубоко дедовское напутствие: «помни, Серьга, исконное наше: «радость-сладость!» И еще крепко запомнилось, его же: «придут черные дни уныния, гибнуть будешь...— за край Ризы Господней цапайся,— вызволит!» «За край Ризы Господней...» — где это я прочел?.. Здесь прочел, у проникновенного нашего мудреца. И... как это благостно!..

Дед, Иван Васильевич, сколько его помню, всегда был радостный, праздничный, как с виду, так и душой. После я разобрался, почему — всегда праздничный: будто он все познал и, так сказать, «стяжал Благодать». Не дерз-

ну сравнивать с несравнимым нашим Святым, который радовался всегда, во всем. Наша семья его очень почитала, еще задолго до его прославления. Прадед Василий Иванович удостоился его видеть и принять от него благословение и укрепляющее напутствие: «ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой».

И мама, и мой отец, «всегда где-то витающий», всегда говорила с улыбкой мама, казались тоже праздничными. А почему я похмурился и уже давно похмурился..? Чуткие мои мальчики меня прозвали, с первых же моих уроков, а совсем еще зеленца,— «сумрачный добряк». А девушки...— я и в женской гимназии учил,— совсем по-Пушкински «сумрачно-бледный»,— «рыцаря» только не хватало. Не потому ли похмурился, что и тогда уже ощущал-предчувствовал «неблагополучие» и потому «опустил забрало»? Сестра Катюша, тремя годами меньше меня, часто любовно говорила: «мой грустный братик».

Ах, Катюша, Катюша... где-то ты?.. С последнего твоего письма на оберточном лоскутке, в августе 30-го года, с этим ужасным рылом в «шлеме» на пакете, все о тебе закрылось... жива ты, а?.. Непостижима твоя судьба, вся — тайна. Начинала блистать, все ждали... и...?! Го-споди... это последнее от тебя письмо... с пятнышками твоих слезинок... все мне сказавшее..! Эти желтые пятнышки растворили давивший камень, и я благодатно плакал забытыми слезами. Теперь не плачу. Ни слова о себе, одно только — «дай силы, Господи!..» Кое-что осветили слухи, кем-то написанные строки, уже отсюда случайные: «...там, в городе В... после увоза святителя на муки... слабенькая, больная сердцем, в сторожке при соборе, босая... собирает корочки и одежонку для совсем нищих... хоронит бездомных и безродных...» И радостно мне и горько.

Разве я мог подумать тогда?!.. Ты не услышишь и не смутишься от моих слов,— «гениальная моя Катюша!» Всем гениальная... о, сердце!..

Как творила ты в музыке, исполняя Моцарта, Бетховена, особенно С. Баха... и нашего нежного Чайковского,— все и всех, самых великих и различных музыкально небесного Олимпа! Как ты по-своему раскрыла, на фисгармонии Бортнянского, данного мне тобою, тобой только! Ты не знаешь, как ты меня вернула!..

Разве могу забыть первое выступление ее, когда она кончала консерваторию «на виртуозку»! Гордились ею и

изящно-изысканный Т... и требовательно-властный С.., и восхищался совсем еще молодой тогда Р.., ныне прославленный. Даже тот, похрамывающий, придирчиво-строгий, к «гениальным», присяжный критик все-музыки, К... обронил как-то недоуменное: «гм... вот вам и «без корней»..! — намекал, вероятно, на «без традиций» на «пряничное» наше?..

В ту пору и в детстве Катюша была вся еще — душа нараспашку, вся наша, всем открывалась радостно-доверчиво. Дед называл ее — «стеклянная ты моя, без крышечки». Всегда перед Рождеством просила она у деда, не очень благоволившего к московскому ее «болтанью» и «бряцанью» — «пряничков», для подруг и «наших музыкантов-мучителей», и дед посылал с нарочным отборный короб «тверских». Она раздаривала пригоршнями, и все, строгие «боги» даже, жевали и жевали. Она и не думала, конечно, что все влюблены в нее, до суровых старцев-гонителей: все лелеяли нежно «пряничную», ждали от нее, своего апофеоза, — «праздника св. музыки», как обронил случайно один из строгих.

И как же ты, Катюша, всех потрясла и оглушила!.. Не разочаровала, а как бы отупила, вдруг, все сломав. Чудесно музыкальное дитя, ты уже начинала творить сама. Больше 30 лет прошло, а я все вижу будто это вчера: как после выпускного по композиции, и после, в тонном салоне меценатки М.., куда входили лишь избранные, человек пятнадцать, — ты настояла, чтобы был приглашен и я, — ты покорила всех, повергла в восторженное изумленье. Полушутя, играючи, стремительно отзвучала «Последняя песня», твоя... предельное аллегро, «звучащего света бег». Я не забуду шепот — «безумный ритм... непостижимая техника...»

Я видел лица. Я видел, как побледнела ты, в нежном всегда румянце, свеженькая и чистая, как первый снежок на зорьке... как поднялась, изнемогшая, от дивного рояля... видел тебя, светоносную, в концертном платье, заказанном по приказу деда, — «уж раз такое, — надо!» — у элегантнейшей из портних Москвы, не в черном шелке, а в белоснежном плисэ-муслине, с закрытыми плечами и рукавами... — о, моя скромница! — видел тебя на зеркальном щите поднятого крыла рояля... Шла ты с закрытыми глазами, как в сновидении, к стоявшей под пальмой, в нише, отличной фисгармонии... Ты чудесно владела ею. Как светло обвела всех... а я шептал-молился, как маленький: «Господи, помоги Катюшке!..»

Я знал, что ты исполнишь сейчас свое, но я не думал — что.

Вышло так неожиданно, для всех неожиданно, что ты исполнишь это. Ты едва молвила, не своим звучным голосом, сочным, грудным контральто, восхищавшим артистов и певцов, а угасающим шепотом, отходящим...— «Херувимская...» — и почувствовал трепет твой, от теплившегося в тебе горенья — света. Твой это был шепот, а...— теперь-то могу определить: трепет небесных крыл. Студент, я понял тогда впервые, через тебя, Катюша, что высочайшее из искусств — Молитва. Ты сотворила чудо, на глазах всех: ты всех соединила и вовлекла.

О, это последнее, возносящее...— «всякое ныне... житейское... отложим попечение...» Это было твое, чуть мне знакомое... ты наигрывала на нашей фисгармонии, в весенних сумерках, уже больному деду, и он заплакал. А он никогда не плакал. Но тут ты дала полней и совершенней. Ты вся светилась, ты стала... неземная..? чувствовал я, и все. Минуты упавшего молчанья, онеменья. Я видел твое лицо, нездешнее. Не лицо — лик, душу твою бессмертную. И ужаснулся, какой я темный, и все, кто здесь. Нестерпимы были покашливанья,— от волненья? — шелест шелка, духи, статуйка рядом,— «силен» ли, «фавн» ли,— и чья-то морда, трясшая бородой, в финале. Последнее выступление, последний кивок «житейскому»... О нем судили, дивились, домекали...

Потом... нет, не надо о том, после. Тот обморок..! Не вынесла земная оболочка. Катюша хотела встать, в мертвенно-молчаливом зале...— рукоплесканий не смело быть! — и пала вперед, на клавиатуру... Этот рванувшийся звук, этот тревожный срыв-взрев... Она сейчас же пришла в себя: я отвез ее в ее комнатку на Садовой...

О чем ты плакала, Катюша, когда я вез тебя в автомобиле меценатки?.. Я объяснял нервной разбитостью, «разрядом»: чуть ли не по шестнадцати часов работать!.. Я ошибался... но, конечно, и это значило. Теперь я почти знаю, что вызвало твое решенье: это давно готовилось, как и все.

Через месяц после того сеанса присутствовавший на нем медик последнего курса одного профессора, тоже музыкант, неожиданно бросил университет, семью, Москву... Об этом после.

Вижу, что заношу беспланно, но так надо: надо все

взрыть в себе, встряхнуть, как встряхивают стеклышки в калейдоскопной трубке — все вдруг застынет и даст рисунок.

Катюша — «все сломала». Почему? О сем — дальше. Но для себя отмечу: между твоим и «бегством» того студента... связи, как будто, не было. А может быть, и..? Догадки только. Нет, лучше по череду.

О прадеде я вписал не все; но рассказ о деде пояснит многое в нашем.

Дед Иван тоже был красавец,— высокий, крепкий, статный, темный шатен, с волнистой и пышной бородой, всегда заботливо ухоженной, чуть впроседь. Душился английскими духами, фирмы Блессон, «из Лондона». «Лондон» у него значил — «товар по деньгам». Одевался всегда очень опрятно, даже дома: «не надо распускаться». Даже элегантно одевался, но всегда легко и просто: поддевка ли, сюртук ли,— все его как-то дополняло, «облекало» и все самое первосортное. Шил на него «наш портняга», бывший мастер лучшей московской марки, на покое. Отец, тоже умевший одеваться, ездил «осюртучиваться» в Москву. Одеваться изрядно-просто — наша семейная черта, неизвестно откуда влипшая.

В обиходе дед был сугубо скромный, в еде — особенно, и строго наблюдал посты. Посты у нас были стойким и радостным законом... Я всегда весело ждал посты, особенно — Великого. Так осталось и за границей, хотя я в молодости и «пошатнулся», лет на десять. А посты почему-то соблюдал. Мы постились также и во все среды и пятницы. Если мальчишкой, я срывался, меня начинало мутить, до тошноты, я бежал к маме и признавался с ревом. Она меня не укоряла, давала святой воды, крестила и тихо целовала в лобик. И я сразу становился радостным.

После прадеда дед был почетным старостой нашей соборной церкви. Не опускал ни одной службы, хоть бы и прихворнул. В церковь он никогда не ездил, а до нее было версты полторы с окраины, где был наш поместительный и удивительно уютный дом, бывший барский, и пряничная фабрика со службами. Говорил: «к Богу не подъезжают, а притекают». Меня он очень любил и всегда брал с собой. Катюшу любил не меньше, нежнее как-то,— это я чувствовал и не ревновал,— Катюшу все любили: за ее веселость и открытость, за необычную, не по годам, «разумность»,— я бы сказал: «вглядыванье в себя и во все»; за ее откровенное лицо, за полное само-

отвержение: она податливо, без колебанья, всем отдавала все, чего ни попроси, будто в веселую игру играла.

В отличку от семьи, волосы у ней были светлые, пепельные и мягкие-мягкие, как ленок, лоб чуть вперед, открытый, ясный,— лучезарный. Я любовался ею, когда помазывали ее елеем: мне казалось, что на нее нисходит «благодать», и батюшке особенно приятно ставить крестик «на такой красивый лобик». Глаза у ней были тоже лучезарные: то — блеклой незабудки, то синие-синие, как молодой василек. Все наши были брюнетистые,— мама только «каштаночка»,— а глаза прямые, ясные: у деда — в мечтательном туманце, «неотразимые» — все говорили, а он шутил: «некому только отражать». У отца — темно-серые, «витающие где-то». У Катюши в глазах-миндалинах, необыкновенно чистых и добрых-добрых, теплился «тихий свет»,— «ангельский зрак», по деду. Когда пели за всенощной — «Свете тихий», я вспоминал Катюшины глаза,— вспоминаю и поныне. Рот у нее был благодушно-мягкий, свежий и сочный,— «сладкий»; «дай-ка арбузика»,— шутил дед. Я любил ей ерошить губки и называл их — «мюмочки»,— такие они податливые и нежные. Ростом была в отца, высоконькая, но статная, соразмерная, хоть и юница. Как и мама,— совсем тверянка, но величаво-покойной поступи еще не нашла «ма-а-лявка еще», по деду.

Дед был широким «милостынщиком»: шутили, что разорит семью. У него были широкие карманы, и в них парусиновые мешочки с медью. Подавал, когда шел из церкви. Вся дорога уставлялась с обеих сторон нищими, кто хотел: мальчишкам дед никогда не подавал, а девочкам, особенно — смиренным, всегда сугубо. Подавал на обе стороны, будто и не глядел, а все видел. Я тоже подавал из «нищего полтинника». А нашему городскому голове-шутнику, протянувшему лапу к грошикам-полушкам, как-то дед подал, не посмотрев, все засмеялись, а дед нахмурился и сказал наставительно-сурово: «Этим не шути, Прохор... статься может!» Так и сбылось, через много лет, на моих глазах.

Август, 1948

III

Хорошо помню слово деда Ивана: «к Богу не подъезжают, а притекают». Он говорил метко, крепко,— много ему дало чтение Истории. В свободный час, между церковью, фабрикой и конным заводом в «Лужках», верст пять от города, он сидел в кресле у окна, в оливковом бархатном халате, и казался мне старинным вельможей или думным дьяком. Отец говорил: «одеть вас, папаша, в ферязь... совсем думный дьяк!»

У нас называли «папаша» и «мамаша», на «вы», а перед отходом ко сну нас крестили, а мы целовали ручку. Не «попрощавшись» не могли заснуть; когда родители уезжали в гости, мы просили дедушку-бабушку: «а еще за папашу и мамашу». Вернувшись, родители непременно заходили в детскую и крестили нас, и мы всегда находили утром под подушкой крымское яблочко или дюшес, «из гостей»,— как это светло вспомнить!

На окошке каленые орехи на тарелке, перед креслом столик с поднимающейся дощечкой, а на ней толстая История. У стены широкие полки с тяжелыми книгами Татищева, Карамзина, Соловьева, в переплетах. На орехи дед не глядел, а, читая, нащупывал и давил щипцами. Иногда я ему читал вслух, и он заставлял пересказывать, особенно про Святителей: «Запомни, Серьга, как они строили Россию!» Я уже понимал, как строили. Романов дед не любил, даже исторических,— говорил «романы». Одно только позволил —«Войну и мир»: для него это был не ро-ман, а — бытие. Помню рассказал как-то анекдотец:

— «Есть у нас знаменитый профессор Истории...— произнося слово — История, всегда поднимал палец, почему и пишу, из уважения к его памяти, с большой буквы.— Познакомился с ним на Ярыньке. Большой рыболов господин Ключевский. Всякое лето бывает с супругой у нашего свояка...— кожевник Дудин, рядом с нашим именьем, старик мудрый и тоже великий рыболов.— Чаем их угощаю на Ярыньке. *Говорим про историю и государственные* порядки, а больше слушаем. Редкостный по уму, и шутку любит. Приятелями стали, и много я от него поспособствовал себе. Узнал он, что люблю читать про Историю, и очень одобрял. «А вот, говорю, исторические ро-маны читать не тянет».—«И хорошо делаете»,— говорит. Спросил я, почему хорошо. Он хитро так посмотрел, и обинячком мне: «мы с вами по лещам, а не

по верхоплавкам». Я его стал доспрашивать.— *«Много у нас исторические романы* сочиняют, да мало знают историю... один только за исключение, граф Салиас, который... совсем ее не знает».— А тут у него и сорвись лещище!..—...вняк!.. словечко он пустил, с глаголи пишется. Во-от, смеху было!..»

Дед хорошо знал церковный обиход и учил нас с Катюшей песнопениям. Как она выучилась у мамы на рояле и показала успехи, дед выписал ей фисгармонию. Мама окончила Елизаветинский институт с отличием, особенно по рисованию и музыке, и принесла в приданое прекрасный по тем временам рояль Штюрцваге. Мы с Катюшей разыгрывали на нем и на фисгармонии по слуху церковное, особенно любимый дедом страстной канон. Когда исполняли «Се Жених грядет...» или «Чертог Твой...» — трепетали от радостного чего-то в нас... святого света.

Мне было лет 12, Катюше — 9. Однажды,— весенними сумерками, помню, было, галки кружились в небе и кричали... будто стучат костяшки, через форточку слышалось...— Катюша ко мне прильнула и шепнула: «Ах, Сережечка... всегда т а к, да?..» Я понял, что она хочет сказать: «всегда так б у д е т?» Какие мы были чистые!

Так вот, в церковь — всегда пешком. Мирволил дед только бабушке, из-за больных ног. Отпускал ее в церковь, перекрестив, на смирной лошадке, в покойной пролетке, с самым степенным кучером. Попасть в кучера у деда было нелегко, «как на аттестат зрелости», шутил отец. Ни пить, ни курить, ни «баловаться»: кучером мог быть только «цельный мужик», женатый или вдовый, и не моложе сорока лет. Дед никогда не говорил —«кучер»,— не наше слово,— а —«ездовой» или «выездной».

У нас было трое ездовых, и служили до срока, пока могли править тройкой «горячих». А там — на конный завод в Лужки. Совсем заслуженные выходили на спокой, могли заниматься кто чем хотел, на полном харче: плели плетушки и короба под пряники, драли осину на щепу, а больше рыбачили на Ярыньке, кто как излавчивался,— по сомам, лещам и налимам; могли на базаре продавать, посылали и нам в гостинец. Я лавливал с ними крупных окуней и необыкновенных ершей, в четверть даже, и наслушался их рассказов про лошадей и про все, особенно «из природы».

При заводе была красивая наша дача «Миловида», а за ней сейчас же глухобор, или строевик: сосны, дубы, береза,— необор белого гриба, груздей и рыжиков, с любимыми детскими маслятками по опушке. Перед дачей был выверенный землемером беговой круг, и даже «членская беседка» со шпилем, на котором взвивался трехцветный флаг, в царские и беговые дни. У круга было загородье, для молодняка, с высоким частоколом — от волков. Рядом с загородьем — «лошадная богадельня», для отслуживших: все лошади помирали своею смертью, дед не терпел даже слова «живодерня».

Этот конный завод был единственной страстью деда, нашей родовой страстью, еще от прадеда. Отец, мечтатель и книгочий,— по ночам он что-то писал и выкладывал на счетах,— унаследовал эту страсть и до женитьбы погибал в Москве с дедом на зимних бегах на Пресне. Мама не хотела лишать его радости, говорила даже — «я так любуюсь, как ты *бежишь*...» — но он сразу отрезал, когда понес его на пресненских бегах наш славный «Мороз 2-й», сломавший санки и едва не закинувшийся в народ.

Он тогда сказал маме: «кончил!.. видел твое лицо, до чего ты была красива, даже в *том* ужасе!..» Помню, рассказывала сама мама, смущенно, и краснея, и я подумал, что ей приятно это рассказывать. Тогда впервые увидел я, какая она красавица,— и лицом и всем. Слушала и Катюша, и после сказала мне шепотком: «а знаешь, Сережечка... мамаша ужасная чудо-красавица!.. как ты думаешь?..» Я сказал, что мамаша гораздо больше чудо-красавицы, она — *идеал*!

Я знал уже это слово и пускал его в ход, когда надо было сказать о самом красивом или очень вкусном. Раз насмешил всех на Святках, сказав о заливном поросенке под хреном со сметаной: «это... идеал!..» В тот же вечер мама посадила меня к себе на колени и стала говорить мне об «идеале». Это была самая лучшая лекция за всю жизнь, открывшая целый мир. Я ее хорошо запомнил и потом восстанавливал на уроках,— с каким увлечением слушали ее милые мои мальчики и девочки!.. Слушал мамину лекцию и отец, что-то даже записывал. Помню, как он воскликнул: «Грина!...» редко он называл так маму — Агриппину,— «отку-да *это*?!..» Она смутилась и стала *идеалом*.

Потом, на уроках, и до сего дня... я всегда *видел*, *вижу* ее, незаменимую, когда перед глазами оживает...

священное для меня, незабываемое для всех: «А ты, с которой образован — Татьяны милый идеал...— О, много, много рок отъял!»

Наш завод был невелик: пять-шесть маток, но первоклассных, заверенных. Помню уже отбывшую срок «Метель», оставшуюся красавицей. Она очень ценилась знатоками: известный коннозаводчик Телегин упорно выменивал ее у деда. Она была высоких кровей,— по слухам, от «Холстомера»! — когда-то звалась «Машистой», но что-то вышло... кажется, был утрачен ее паспорт. Дед никогда не говорил об этом. Раз только... помню, когда я ему читал толстовского «Холстомера», он скрипнул креслом и показал над книгами, где висели в зеркальных рамах фотографии «призовых»... Может быть, мне послышалось..? — «Вон она... «Машистая»-то наша...» Перекрестился и строго велел: «Дальше!» Я знал почти наизусть этого «Холстомера», его «ночи». Тут дед позволил себе редкое исключение — не из истории. Впрочем, это тоже была История: так и было написано.

Я очень любил про лошадей и пробовал читать деду «Чертопханова», но он отмахнул, сказав: «нечего ерунду!» я хотел ему объяснить, что тут самое трогательное, но он не слушал: «ерунда, цыганщина!.. от Колюши знаю, темное тут, по-хоть!..» Я не знал, что такое «похоть», спросил у деда, но он сердито чвокнул,— это значило: «кончен разговор». Я после спросил у мамы. Она сказала, тихо: «греховное чувство». Я понял, кажется.

От «Метели» пошли наши — «Метельный» и «Буран». «Метельный» — ехал на нем сам дед — заработал на Пресне «Долгоруковский» и серебряную братину графа Орлова, «Буран», великая надежда деда, умер: его покусала взбесившаяся кошка, как-то прорвавшаяся к нему в денник. Смерть его была страшная, говорили ездовые, но я так и не мог дознаться почему — страшная: «дедушка наказал не сказывать про него всего».

Раз в неделю, в хорошую погоду, дед ездил в Лужки и брал меня. Я тоже начинал загораться этой страстью и дивил деда познаниями статей. Это был особенный мир, стихия. Всегда ровный, не повышавший голоса ни дома, ни на фабрике, тут дед вскипал и, если усматривал непорядок, гремел и разносил. Но никто его не боялся. Я любил его гром, да и все на заводе начинали при нем вскипать и загораться, даже и виноватые. Дед не бранился, а только голос показывал, разносил настави-

тельно, «как протопоп-благочинный»,— говорили ездовые,— «даже и от Писания». На заводе, кажется, нарочно устраивали, чтобы «повеселил разгоном». Даже лошади радовались его приезду: издалеча чуяли его и начинали весело-мелко ржать и играть по стойлам. Они очень любили пряники и всегда получали мерно.

Когда мы приезжали, начиналась парадная выводка. Конюхи надевали новые безрукавки и щеголяли — каждый своим показом. Щеголяли и рысаки: шея дугой, хост трубой, ноги — в выпляс.

Эта лошадиная страсть — русская наша страсть. Я убедился в этом на чужбине, когда побывал в Латгалии. Эта страсть захватывала даже маму, такую всегда ровную, во что-то углубленную. Об отце что и говорить. Оба они рьяно состязались на лужковском кругу, зимой. «Побитая» отцом мама загоралась, вспыхивала густым румянцем, чуть-что не плакала. Но чаще всего торжествовала и тогда вся горела. Она вела бег умело, расчетливо, не «ерзала» руками, как бывало с отцом, мечтавшим и на кругу, «считавшим галок»,— словечко деда,— а будто и на кругу молилась,— Катюшино словечко,— помнила лошадиные сноровки — науку деда и ездовых.

На ее победы дед радостно гремел и называл молодцом. Отец тоже радовался и кланялся ей смущенно, одухотворенно как-то. В эти минуты она была чудо-красавицей, идеалом. Но больше всех радовалась Катюша, прыгала вокруг мамы, целовала зеленые ее рукавички из сафьяна, мокрые губы «Зорьки» и умоляла деда — позволить ей. Она скоро стала страстной «охотницей», переняв от «Сентьича» — Арсентьича — все беговые тонкости, и побила на «Гульке» не только маму, но и самого деда. Дед сорвал свою беличью шапку и бросил к ножкам Катюши, крикнув: «кро-вная ты моя!»

Катюша не верила своей победе и умоляла деда сказать «всю правду»: «вы, дедушка, это нарочно... четыре сбоя дали!..» Дед даже рассерчал, крикнул «Сентьича»: «у него спроси, глупая!.. он те скажет, почему дед про... промазал!..» Старого ездового слово считалось непреложным. Он выложил всю правду: «у дедушки не те руки... по второму кругу стал перехватывать, заерзал». Дед подтвердил кивком и сказал: «верно, пора кончать». Это был последний его «заезд» перед надвигавшейся болезнью.

«Гулька» с Катюшей были великими друзьями до

удивления. Катюша переболела тифозной горячкой и долго не навещала «Гульку». Стояли первые дни весны. По случаю выздоровления Катюши дед устроил парадную выводку: во время Катюшиной болезни он и в Лужки не ездил. Катюша еще не могла поехать. Когда дед выводил «Гульку» на поводу, она осматривалась и тихо-призывно ржала. Дед хотел выправить из-под ремешка холку, бросил на шею «Гульке» повод,— «не остерегся»,— она тихо толкнула деда губами и в подбородок, махнула через перильца круга и помчалась... За ней пустились верхом сторожевые, но перехватить не могли. По желанию деда «Гулька» два раза навещала Катюшу во время ее болезни, дорогу помнила: влетела во двор и по-особому, радостно заржала.

Катюшу вынесли на кресле и они обе целовались на радость всем. Как раз въехал на дрожках дед, прикидывая «секунды»: «Гулька» — точно, конечно, неизвестно,— показала тогда «свои настоящие секунды», так говорил и «Сентьич». Но главное, обошлось все благополучно: «Гулька» никого не сшибла, не захлестнулась в повод, ловко перехватив его зубами.

Дед тотчас же послал за батюшкой, отслужили благодарственный молебен, святили воду и кропили «Гульку» и Катюшу. Все говорили,— и я это сам видел,— что «Гулька» удивлялась, что Катюша совсем другая,— ее остригли,— и два раза лизнула «стрижку». По просьбе Катюши ее оставили ночевать.

После молитвы, музыки и чтения лошади были главной привязанностью Катюши. Проездка и бега как-то вязались в ней с музыкой. Раз она мне сказала: «знаешь, Сережечка... лошади самые чистые, самые постигающие! когда я вслушиваюсь, как они шепчутся в денниках... заметил, как они шепчутся? мне кажется, что они молятся...»

Я вполне согласился с ней.

Август, 1948

IV

Два события связаны во мне с дедом Иваном: историческое и семейное. Вот историческое.

Масленица выдалась на редкость: солнечная, в морозце. Справляли ее у нас в тот год так весело, что дед сказал: «что-то мы больно разыгрались, плакать бы не

пришлось». Старейший из ездовых, Кузьмич под девяносто годов, поправил деда: «эка беда, Иванушка... сле-зы! все от Господа, все примай». Был он мудрец, всегда веселый, называл деда Иванушкой, мальчишкой даже; когда поступил к прадеду, деду было пять лет,— так он для Кузьмича мальчишкой и остался.

Как всегда, ездовые наладили в Лужках, на пруду, ледяные горы и каток. Всю масленицу катали мы в Лужки на тройках, в розанах, бубенцах и колокольцах, с родными и гостями. До упаду катались с гор, а с нами и ездовые, даже и Кузьмич, на ледянке, размахивая шапкой. После катанья ели в людской блины, румянистые, с гречкой, необыкновенно вкусные. Ели с нами и ездовые, и конюха, веселые все, довольные, учили меня, как свертывать уголком обжигающий пальцы блин и макать в растопленное масло. Дед угощал на славу, не отличая, гость ты или последний мальчишка-конюх: и черной икрой, и семгой, только мало кто из простых ел икру,— копытная будто мазь; а вот с селедочкой,— за милое удовольствие! А ездовые своим нас угощали,— чудесной ухой налимьей, с молоками, и жареными лещами с кашей, на наших глазах пойманными в Ярыньке: протаскивали сети подо льдом. Лещи были — живой-то противень, золотистые, чуть с краснинкой, не налюбуешься. И уха, и лещи были до того вкусные, что мы прямо объедались. Взрослые выпивали по третьей и даже по четвертой, и братски лобызались с ездовыми. Даже отец и дед, не пившие никогда, на сей раз разрешили и были отменно веселы; мама — и та пригубила.

Без всякой чувствительности впишу: такое общение с народом было поистине братским, православным. От этой ласки играла моя душа, и я целовался с ездовыми, а они ласково называли меня — Сергунь. Та масленица так и осталась во мне светло-светлой. Не омрачило ее, что мама вывихнула себе ногу, и ее уложили на несколько дней в постель. Дед с облегчением говорил: «ну, вот и слезы, после радости-то!» А слезы-то были впереди.

Теперь, вспоминая все, нисколько не преувеличу, вписывая: «были слезы, великие, у многих-многих».

На первой неделе поста, как всегда, дед говел, и на Страстной еще. Я ходил с ним к преждеосвященной обедне, а в субботу приобщался,— мне еще не исполнилось семи лет. После причастия поминали усопших, ели блины с луком и кутью,—«коливо»: распаренную пше-

ницу с медом и взварец, будто в рождественский сочельник.

Дед мне рассказывал, что это — в воспоминание о языческих гонениях. Древние христиане на Востоке с Божией помощью узнали про обман царя-гонителя, приказавшего тайно окропить на рынках идоложертвенной кровью все припасы, чтобы христиане осквернились; но один святой старец получил во сне откровение и предупредил братию, и никто на рынках не покупал, а питался скудным своим запасцем,— медом с пшеничной да фигами...— «вот мы и вспоминаем». «Коливо» вкушал я с благоговением, как просвирку. Да и все: и дед, и отец с мамой. Только дядя Вася, живший отдельно, в мезонине, больной чахоткой, не захотел этого «колива» и отослал с запиской. Дед прочитал записку, покачал головой в раздумьи и сказал, как бы про себя: «и дурак же!.. прости меня, Господи». И разорвал записку. Я и тогда уже понимал, что в записке было что-то нехорошее. О дяде Васе у нас говорили шепотком, и я мало что знал о нем, а при деде о нем и не поминали. А когда я как-то спросил маму, хороший ли дядя Вася, она сказала только: «да, он добрый...»

Дядя был старший сын деда и любимец, дед им гордился и говорил про него —«бо-льшая голова!» Но это было давно. А потом стал для деда — «болью». Раз я услыхал, как рассердившийся дед крикнул, спускаясь от дяди по лестнице: «не человек, в кого только?!.. отшибок какой-то... прости, Господи!..»

О дяде Васе надо вписать в «записки», тогда многое уяснится во всем нашем.

Он окончил гимназию с золотой медалью, поступил в университет, но скоро бросил ученье и пошел странствовать по России. Два года о нем ни слуху ни духу не было. Дед, говорили, исколесил всю Россию, где-то его нашел...— и воротился в большой тревоге. Скоро узналось, что дядя сослан в Сибирь на поселение. Дед ездил в Петербург и исхлопотал прощение: отдали дядю деду на поруки, и он поселился над нами, в мезонине. Мама раз мне сказала: «дядя добрый и... несчастный». Я подумал, что он потому «несчастный», что очень болен.

Редко я заходил к нему, и всегда с мамой, которая за ним ходила. У него все комнаты были уставлены полками с книгами и всякими аппаратами: он делал какие-то «опыты»,— «химик», называл дед. Говорили, что

он заболел в Сибири; а наши ездовые как-то сказали мне, будто его избили в рощах парни за какую-то девушку: он пролежал целую ночь в лесу, под холодным дождем,— отбили ему грудь. Он был красавец, но только совсем лысый и страшно худой, с горячими глазами. В его комнате не было ни одного образка, а на письменном столе лежал человеческий череп, очень страшный, как «адамова голова» Как-то я пробрался к нему без мамы — смотреть картинки. Он показал мне череп: «хорош фонарик?» — велел отвернуться на минутку, что-то сделал и приказал: «а теперь смотри». Я обернулся и увидал очень страшное: череп смотрел на меня зелеными глазами: в его глазницы вправлены были зеленые стекляшки, а внутри горела свеча. Я закрылся руками, а дядя засмеялся: «видишь, как это просто! был человек, а теперь фонарик». Я признался маме, что был у дяди и видел «человеческий фонарик». Она вся вспыхнула, сейчас же пошла к дяде и сказала,— я подслушал на лестнице: «стыдно показывать ребенку такие опыты!» И ушла, раздраженно хлопнула даже дверью. Я уже понимал, что дядя какой-то другой, чем мы. В церковь он не ходил и не пускал священников Христа славить. Хоть мне и было почему-то страшно, что он такой, но меня всегда тянуло к нему: на стенах у него были карты разных земель, висели с потолка птичьи чучелки, и всюду лежали атласы со зверьми, цветами, птицами. Но лучше всего была горка-камень, с вправленными в нее самоцветными камнями. Была еще на белом картоне, на стене, огромная лягушка, распластанная, будто человек. Я как-то спросил, зачем такая лягушка, распластанная? Он только засмеялся. Потом, уже взрослый, я понял, зачем лягушка: на лягушках в те времена делались опыты, лягушка оживала...— такие опыты делал известный Сеченов, написавший книгу «Рефлексы головного мозга», очень ценившуюся материалистами.

От ездовых я слышал, что дядя Вася богаче деда: «отказал ему дяденька миллиён». Знал я также, что дядя выстроил два училища для крестьянских ребятишек и что он «любит простой народ». Это было очень приятно мне. Должно быть за это и ухаживала за ним мама, которая тоже любила простой народ. Дед как-то сказал: «эх, золотое сердце, да ум-то у него... заумный»! Этого я не понимал. Прислуживал ему лакей Гаврилка, которого дед называл «петрушкой», за пестрое франтовство: Гаврилка ходил в разноцветных галстуках и шта-

нах в клеточку. Дед раз схватил его за ворот и спустил с лестницы, когда Гаврилка осмелился ему сказать: «барин больны и не принимают-с». Дядя извинялся перед дедом: «он же дурак, прогнал бы его, да привык». Однажды, в грозу, я перекрестился и примолвил, при молнии: «свят-свят-свят, Господь Саваоф...» — было это при Гаврилке, в мезонине. Гаврилка сказал: «никакого Господа нет, а иликтричество давно всем известно по наукам!» Я сказал маме. Она ужасно рассердилась, пошла к дяде и заявила: «если такое повторится, я не стану ходить за вами!» Дядя умоляюще поднял руки и тихо сказал: «не бросайте хоть вы меня!» Он отказал маме все свое состояние, больше ста тысяч,— «за исцеление от самого страшного недуга»,— так и написал в завещании. Я думаю, что он боготворил маму.

На другой день после «колива» в соборе была торжественная служба — «литургия с анафемой»,— так у нас называли. Это была «неделя Православия». Собор был переполнен. На середину храма вынесли иконы, и вышло много священников с преосвященным. На солее стоял наш великан — протодьякон Дроздов, с черной бородой и пламенными глазами и выкликал имена святителей и царей,— так объяснил мне дед,— поминал их за подвиги во славу Православия. Потом возглашал вечную память. Но самое главное было после. Протодьякон изо всей мочи стал выкликать имена богоотступников и еретиков и после каждого имени гремел страшным голосом — «а-на-фе-ма-а!..» — а священники повторяли трижды — «а-на-фе-ма-а!..» Я разобрал имена, знакомые мне по Истории и по рассказам деда: «Пугачева Емельку», «Стеньку Разина», «Гришку Отрепьева»... и «всех богоотступников и преступников православной Державы...» — насколько помню. Было страшно. Недалеко от свещного ящика, где стояли мы с дедом, одна барышня вскрикнула — «Ой!..» — и упала в обморок. А протодьякон Дроздов гремел и гремел, пугая: «а-на-фе-м-а-а-а!..» Со страху я залез под свещной ящик, но дед вытащил меня за ногу и прошептал строго-строго: «Молись, а не трепещи!» Мама с отцом были тогда в Москве, на «сборное воскресенье»: была там в Манеже выставка куроводства, и они всегда ездили покупать отборные «гнезда» кур и уток,— оба были большие куроводы. Вернувшись, мама мне объяснила про «ана-фему», про богоотступников и «государственных преступников», которые хотят разрушить наше царство. В тот вечер я горячо молился чтобы не

разрушили враги наше православное царство, и поминал-повторял: «анафема».

В вечер «анафемы» Гаврилка позвал меня к дяде: прислали новые картинки. Это был атлас рыб — совсем живые налимы, лещи, ерши... как в Ярыньке. Я сказал дяде про «анафему». Он усмехнулся: «вот идиоты-то». И стал говорить, что это ругань, а в церкви ругаться, кажется...— это «кажется» он произнес усмешливо и даже злобно! — не дозволяется. Я пошел к деду и рассказал. Дед сказал раздраженно — «не дозволяется?..» — взял Евангелие и велел: «читай»,— ткнул пальцем. И я прочитал: «идете от Мене, проклятии... в огнь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его...» Дед остановил: «про-кля-тии!» — слышишь?.. «прокля-тии»?! это и есть «анафема»... и сказал это сам Христос». Я спросил: «а дядя Вася тоже анафема»?» Дед поморщился и отстранил меня. Я не понимал, что сделал ему больно.

На другой день, с утра, я докатывал масленицу с «нашей горки» в саду. Была оттепель, горка разрыхла, продавливалась, и я стал помогать весне, расшвыривая лопаточкой мокрый снег. В березах протяжно каркали вороны, давились будто. Я стоял на площадке, откуда скатываются, у забора, за которым была дорога к реке. Везли лед набивать погреба. За дорогой тянулся снежный пустырь: зимой и на масленице здесь бились на кулачки, ходили «стенка на стенку» посадские и ткачи с большой мануфактуры. Недавно, на масленице, кузнец Акимов, первый у нас силач, один гнал стенку ткачей до самой Волги, и двоих отвезли в больницу. Я швырял снег и вдруг услыхал за забором охрипший выкрик: «всех убивать, анафемов проклятых!..» Я выглянул за забор и онемел от страху: у самого забора стоял великан-кузнец, с черной бородой и пламенными глазами, как у протодьякона, в черном полушубке, без шапки, и грозил кулаком. Я не успел присесть, и кузнец увидал меня. Он ковал у нас лошадей, ласково называл меня «пряничком». Но теперь он был совсем другой, очень страшный. Грозясь кулаком, он крикнул: «чего пляшешь безо время? — а я и не плясал,— проклятые анафемы нашего Царя убили!.. бежи-прячься, всех убивать пойдем!..» Я свалился с горки в глубокий снег и затаился. А кузнец все кричал: «всех анафемов убивать пойдем!.. бежи-прячься!..»

Я все сидел в снегу, от страха стуча зубами, и вдруг в ушах у меня загремел голос кузнеца: «нашего Царя

убили!..» Нашего Царя?.. красавца, с высоким хохлом? — портрет его висел в кабинете деда. Царя нельзя убить, он — священный, Помазанник, вспомнил я слово деда,— «теперь у нас нет Царя... и придут враги, и будут всех убивать..?» А кузнец все кричал: «Царя убили, анафемы?! нашего Царя-Ослободителя?!.. теперь всех убивать пойдем...»

Я выбрался из снега и с плачем побежал из сада. Во дворе, под окнами людской, где обедают холостые рабочие, стоял приказчик Милочкин и кричал, стуча кнутовищем по окошку: «ей, выходя, робята!.. нашего Царя-Ослободителя в Питере вчерась убили!.. бросай ложки!..»

Из людской выбежали пекаря, в одних рубахах, крестясь и озираясь, и на всех лицах я увидал — страх и страх. Как раз в эту минуту влетел во двор дед на «Ворончике», в беговых саночках, без шапки, и крикнул не своим голосом: «ребята, нашего Царя убили!.. Освободителя!..» Голос у него сорвался. Он тяжело поднялся из саночек, черпнул свежего снежку из кучи и стал жевать и тереть потемневшее лицо. Рабочие крестились.

Случилось это вчера, в Неделю Православия, почти час в час, когда возглашали анафему злодеям: 1 марта, 1881 года, в Санкт-Петербурге.

Впоследствии меня поразило такое совпадение: Зло как бы воплотилось и, приняв вызов Церкви, ответило цареубийством.

Декабрь, 1948

V

День 2 марта 1881 года остался во мне поныне — страшным. Этот — во всех и во всем — страх был не простой страх-боязнь, а что-то притаившееся, нечистое: его страшатся и проклинают, как было вчера в соборе, призывая на помощь Господа. В этом страхе таилось предчувствие Зла, невидимого, и потому еще более жуткого. Так, должно быть, чувствовали и наши пекаря-пряничники и потому оробели и крестились. Так, должно быть, чувствовал и дед: никогда еще не видал я его таким растерявшимся. Ухватившись за его руку, я жался к нему, но он не замечал меня и не утешал. Он ничего, кажется, не замечал: все хватал снег и ел, а рабочие на него смотрели, чего-то ожидая. Тут вбежал во двор старичок-будочник и подал деду потерянную по дороге бобро-

вую шапку: дед был у губернатора, как депутат от купечества,— у него был мундир и сабля.

«Шапочку вашу, Иван Васильич, подобрал...» — сказал будочник.

Дед сказал только — «а...» — сунул будочнику, что попалось, и стал говорить.

Сколько лет прошло, я не могу вспомнить всех слов деда, да и понимал, конечно, не все; но осталось главное, и тогда мне понятное, что — «теперь уж самим нам надо». Он говорил грозно, срывая и нахлобучивая шапку, что «пришли страшные времена, и теперь самому народу надо досматривать! начальство не уберегло... ко-го? — Царя-Освободителя...» Он сейчас был у губернатора и так и сказал, что — «начальство не досмотрело, и теперь уж мы сами!..» Рабочие разом крикнули:

«Сами будем!.. проспали, дармоеды!..»

Говорил еще, что враги кидают подметные грамотки, как у нас намедни, и надо народную охрану, ходить по городу караулом, но чтобы чинно и по закону. Я вспомнил угрозы кузнеца — «теперь всех убивать пойдем, анафемов проклятых!..» Рабочие кричали — «все в охрану, записывай!..» Но дед сказал, что сейчас надо всем идти в Собор и подписать присягу, будет панихида. Ночью вызвали в Питер юнкеров-кавалеристов, для охраны, а солдаты в казармах, наготове. Они еще утром принесли присягу новому Царю, Александру III,— «теперь мы присягнем и возьмем охрану в свои руки... оружия у нас нет, возьмем дубины!..» Все закричали:

— Правильно!.. все с дубинами!..

Я испугался дубин и теребил деда за руку: кто враги? Он сказал: «на случай, если увидим п о д ж и г а т е л е й... чтобы смуту делать!..» Тут пришел кузнец Акимов, с толстой дубиной, и с ним еще двое здоровенных мужиков, с базара: мясник и дровяник. Кузнец закричал, тряся дубиной: «всех убивать, кто не признает Бога и Царя!..— и погрозил на мезонин. Я понял, что это про дядю Васю...— Пусть присягнет, а не то в голову колом!..»

Не помню я лица деда, так как тут приехали отец с мамой, привезли из Москвы кур и петуха в плетушке и радостные воздушные шары, мне и Катюше. Помню, как весело пел петух. В это время пробегал дядин лакей Гаврилка, чистивший пиджак снегом. Кузнец кинулся на него с дубиной, крича: «чего с... с.., смеешься?!..» Дед вырвал у него дубину и пригрозил:

«Ты первый зачинаешь смуту, в такое время!..»

Но кузнец стал кричать:

«Где теперь закон, ежели Царя убили, анафемы-неверы?!.. Теперь сами будем устанавливать закон!..»

Всем, должно быть, стало страшно, что теперь нет закона: одни крестились, другие закричали:

«Указывай, Иван Василич!.. все за тобой пойдем!..»

Теперь вспоминая этот день на нашем дворе, я понимаю, что на моих глазах происходило тогда очень важное: сам народ проявлял себя, как это было в Истории, в «смутное время», о чем я читал деду у Карамзина. Такое же я видел, четверть века опустя, в Москве, в 1905 году. Тогда шли толпы народа с иконами и портретом Государя. Тогда тоже не было закона, и были зверства. Тогда не было уже деда — законника, а хаос. Но надо сказать, что в этом хаосе все же хранилось чувство какого-то своего права, инстинкт порядка, и в этом инстинкте — страх перед хаосом, у большинства.

Помню, дед говорил еще:

«Вот, ты косишь и увидишь змею-гадюку... чего ты сделаешь?..». Рабочие кричали:

«Голову ей косой!..»

«А коли бешеная собака на тебя?..»

«Колом по голове!..» — отвечали пекаря.

«А когда его увидишь и опознаешь... нигилиста?..»

«В голову колом!..» — закричали все дружно.

«Нет, врешь!.. такого тащи в квартал, его закон покарает, как велит Царь, Законодержец!..»

Рабочие молчали. А кузнец закричал:

«Нет теперь закона, коли самого Царя убили!.. мы сами теперь — закон! Мы знаем, где нигилисты?..» — и погрозился на мезонин.

Отец подошел к кузнецу и взял его за грудки. Он был не ниже деда, но молодой, силач. Знали его силу: он разгибал сряду две подковы, чего и кузнец не мог. Я хорошо помню его слова: мама их записала и читала мне:

«Ты знаешь, что я солдат?..— Он пошел добровольцем в турецкую войну, с благословения мамы и деда, и вернулся с двумя Георгиями, раненный в левую руку, которая у него плохо действовала.— Ты тоже солдат и должен помнить дисциплину. Так вот, Акимов, не делай смуту, а запишись в охрану и будь верен закону и Царю. Теперь у нас новый Царь, Александр III, а мы подданные его?.. Охрану Москва установила... «народную охрану».

Питер принял, я видел в Москве депешу!.. А как Москва, так и мы».

Я слышал это. Я видел как бы «живую Историю». И народ не «безмолвствовал», а кричал:

«Пра-вильно, Николай Иваныч, Москва — голова!..»

Слова отца и самого кузнеца смирили. Он сказал:

«Я не против Москвы! Сам запишусь в народную охрану... только пускай безбожник покается и поцелует присягу...» — и погрозил кулаком на мезонин.

Я вспомнил об этой сцене, когда читал «Преступление и Наказание». Там написано о Раскольникове:

«На второй неделе Великого поста пришла ему очередь говеть вместе со всей казармой. Он ходил в церковь и молился вместе с другими. Из-за чего-то,— сам он не знал этого,— произошла однажды ссора: все разом напали на него с остервенением: «Ты безбожник! ты в Бога не веруешь! — кричали ему,— убить тебя надо!..» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника».

Рабочие надели полушубки и вместе с отцом и дедом пошли в собор — «целовать присягу и подписаться на орленом листе». Я был с ними, но мне, по малости лет, еще рано было подписываться. Перед собором стояли солдаты, а впереди — знамена. Было уже не страшно: такая сила, и все штыки!

Придя домой, я побежал к дядя Васе рассказывать: солдаты поцеловали присягу, теперь ничего не страшно. Он сказал: «подло сделали в Питере... идиоты!..» Я кинулся ему на шею и пошептал: «дядичка, милый... поцелуйте присягу!..» Он сказал: «конечно, я русский человек, как все». Я залился слезами и побежал сказать всем. Дед, помню, перекрестился, а мама стала светлой. Заложили лошадь, и дядя поехал с дедом в собор.

Вечером приехал жандармский полковник Пыхтеев, по прозвищу «Пыхтелка», толстый и задыхавшийся. Говорили, что он «совсем не вредный». С ним были жандармы и кузнец. Позвали еще двоих рабочих. «Пыхтелка» долго снимал калоши в передней и откашливался. Рылись в дядиных бумагах и книгах. Уходя, «Пыхтелка» потрепал дядю по груди и сказал: «а, чай, сердечишко-то трепыхалось как заячий хвостик, а?» Дядя ему сказал будто: «Лет десять тому назад, может быть, и трепыхалось бы... а теперь ровно бьется». Полковник, говорили, намекнул этим, не спрятал ли дядя на груди

«тайные бумаги», и давал время спрятать, возясь в передней. Так он делал не раз с другими. Кузнец показал полковнику: «а образов-то нет!» Полковник сказал, что это «не наше дело».

«Наше, Ваше высокоблагородие! Нет у него Бога — нету Царя!» — пошел и плюнул.

Дед был расстроен обыском:

«По-зор! обыскивать Печкиных! Мало моей поруки?! Не уберегли Царя, на ком отыгрываются!.. на полумертвом!..»

Закрыл ладонью глаза. Отец обнял его и поцеловал в голову.

Вскоре нашли в Слободке Гаврилку с пробитой головой. Акимова посадили в тюрьму, но скоро выпустили, не нашли улик: соседи кузнеца все дружно показали, что кузнец в ту ночь не выходил, «прострелом» маялся. Гаврилка выжил и уехал из города.

Дед велел повесить в зале большой портрет нового Царя, очень красивого; и еще — убиенного Царя, на смертном ложе: помню красивую его голову, на подушке, и на лице пятна — раны. Горела синяя лампада, в пальмах. Нравилось всем, что новый Царь — силач: большим пальцем вгонял в доску трехдюймовый гвоздь. Говорили: «этот удержит Державу!» Он сидел с семьей высоко, внизу были всякие народы, в своих одеждах, — «подданные». У Царя была широкая золотая борода лопатой, а глаза ясные, большие. Нравилось еще, что он ходит просто, в смятой фуражке, и любит щи и кашу. А, главное, пьет только «отечественную», вдовы Попова, — «самый-то русский Царь!»

Дед велел печь блины, для нас и для рабочих. Пекли и в Лужках, ездовым и конюхам. Служили панихиду на дворе. Рабочие пели с певчими «вечную память», на коленях. Роздали нищим по пятаку, «за упокой».

Страх проходил: Россия теперь под сильным Царем, со всеми врагами справится. Но еще долго ходили караулом в околотке наши рабочие, держали «народную охрану». Ходили с ними, по очереди, и отец с дедом, давая пример порядка.

Теперь понимаю, что так дед воспитывал народ, приучал к «порядку», по силе разумения своего. И это, маленькое, все же была творившаяся на моих глазах — История. Такие же деды творили ее тысячелетие. И сложили великую Россию, ведя за собой народ. Прочтут мои

неумелые «Записки»...— улыбнутся? Пусть же в Историю заглянут: народ творил! Когда умели его вести.

Помню такую сцену, мама потом мне объяснила.

Кричал дед и стучал кулаком по столу:

«В Гатчину схоронился?!.. Иди к народу?.. Спроси у него совета!.. Иди к молодым, иди в Университеты!.. Собери же птенцов, сумей оте-чески им сказать, птенцам: «готовьтесь со своим Царем Россию строить!» Да что же было бы, Го-споди!.. Да его на руках бы вознесли!.. Иди к мужикам, к рабочим!.. Открой им душу!.. Помоги, Господи!..»

Мама мне объяснила и сказала, что дед Иван сам написал Царю...— не получил ответа. Его вызывали к губернатору. Угрюмый вернулся дед.

Если бы он мог предвидеть, что случится через 37 лет! Теперь, вспоминая, вижу: посылались народу знамения. Цареубийство 1 марта 1881 года произошло почти что час в час с анафемствованием «богоотступникам и врагам Веры и Державы»; избрание на царство Михаила, пребывавшего с матерью в Ипатьевском монастыре, а династия кончилась в Екатеринбурге, в доме Ипатьева. Было и еще: в самый час Коронования — порвавшееся ожерелье Царицы. Были и другие знаки. Один из них был уловлен поэтом-символистом: Ф. Соллогуб,— Тетерников,— отметил его игривым стишком, как в начале войны 14-го года провалился Цепной, кажется, мост в Петербурге:

«Под палачами рухнул мост,
Погиб городовой Ро-ма-нов!
Поверьте. так же будет прост
Конец насилья и обманов».

Сшутил поэт. Служилый русский народ, воинская часть солдат-кавалеристов — не жандармов даже! — «палачи?!» Дождался поэт конца. Узнал все — и умер. Другой поэт проводил его не менее игриво:

«Эх, Те-те-ря!.
А что — теперя?! .»

Правда, надо воспитывать народ. Со школы надо.

«Писал Ему и об этом...— сказал дед.— Да, со школы надо».

Какая правда! Я убедился в ней на моих уроках. Как жадно тянулись к живой Истории милые мои мальчики и девчушки! Я уже видел всходы, но было поздно.

Теперь — к семейному событию. А там — к самому роману, если только это роман... верней — к трагедии.
Январь, 1949

VI

Семейное событие, много уяснившее мне в жизни нашей семьи, произошло года четыре позднее «исторического»: мне было тогда лет девять, и я уже говел, как взрослые.

Мы только что вернулись от Светлой Заутрени и обедни. Ночь была темная-темная, и тихая, крапал дождик, но на душе у меня было светло,— воистину Светлый День. Все мы причащались в Великую Субботу, и оттого было так радостно, чудесно: очищение от грехов — и лучезарное Воскресение! Мне казалось, что мы, будто, другие, новые, как и все в нашем доме, очищенное и обновившееся, что мы совершили какой-то «чудесный подвиг». Все в доме, особенно в парадной зале, где были приготовлены розговины, блистало особенной чистотой, все будто оживилось, обновилось: воскрешено от греха и тлена, и потому так радостно и чисто, и так блестит. Огромный стол, раздвигавшийся только в великие праздники, для гостей, и в главные именины, блистал снежной белизной скатерти, цветами, серебром, хрусталем,— «пасхальным». Всюду корзины гиацинтов, сирени, тюльпанчики и первые, синие-синие, подснежники...— самая-то весна. На большом фаянсовом розоватом блюде — яркая груда пасхальных яиц, казавшихся мне священными, чудесно-пунцовых, радостных,— дед не любил пестроты. Великолепные куличи, еще дышащие теплом и сдобой, в пунцовых розах из нашей оранжереи, возглавлялись кудрявыми, будто живыми, «агнцами», выделки знаменитого нашего пекаря Прони,— «артиста», называл его дед,— «хоть бы в Москву, на выставку». Блистающие чистейшею белизною-чистотою пасхи убраны были по боковинкам священными «страстями»: крестом, копием, лесенкой, виноградной гроздью и свято-знаками — Х. В.— от мастерских форм, искусной резной работы того же Прони,— не налюбуешься. И всего было в изобилии, чем полагается разговляться, и все — в радостных украшениях и цветах. Самое освещение было особенное, пасхальное: не лампы, а кубастые восковые свечи, повитые тонким золотцем, в пунцовых бантах,— в блистающих бронзой канделябрах, и в мутно-хрустальной люстре: мягкий,

священный, свет,— «тихий свет». Все мы были праздничные, «пасхальные»: мама, совсем воздушная, розовоснежная, кружевная, «красавица из красавиц»,— называла ее Катюша,— «высокий идеал», восторженно думал я, любуясь ею; поздней, переняв от отца, я называл ее, по Пушкину: «чистейшей прелести чистейший образец»; бабушка, помолодевшая, «гелиотроповая», в жемчужно-серебряной наколке; отец, в отличном фраке, с глубокой белоснежной грудью, с редкостнейшим «цветком английских лордов»,— гардэнией, на шелковом отвороте фрака. Будто только-только из-под венца; но ослепительней всех,— благообразней, хотелось бы мне сказать,— величественней и благостней,— дед Иван: от величавых седин, от свежего мастерского сюртука, от ордена св. Владимира... исходило блистание света,— «священного», казалось. Не говорю о себе, о Катюше, и о меньшей сестренке, Оленьке: мы были «ангелочки», «небесно-непорочные», называла нас бабушка. Все были радостны, все сияли, все — чистые.

В этот памятный день пасхальных розговин случилось неожиданное, наполнившее всех нас особенно-новой радостью: спустился из своего мезонина дядя Вася. Я не помнил его за розговинами с нами. А в этот Светлый День он неожиданно сошел к нам, и не во всегдашнем, «больном», халате, а в щегольском сюртуке, враспашку, муарово-лучезарном галстуке и низко вырезанном жилете сиреневого тона; но... с ужасной своей «плевалкой», с синим стаканчиком, от которого остро пахло скипидаром. Его неожиданное появление изумило всех. Дед сам подвинул ему кресло, обнял за талию, сажая, и сказал торопливо-радостно: «вот обрадовал... ми-лый!..» Мне было и радостно и жутко: в щегольском сюртуке дядя показался мне почти неживым, другим, страшным даже, от худобы мертвенно-бледного лица, будто чуть подрумяненного на скулацах, от ввалившихся глаз и исхудавших рук, с тонкими лучиками косточек. На слова деда он глухим шепотом выговорил: «скучновато одному... хочется вспомнить давнее, детское...» Не было на его губах обычной кривой усмешки. Мне почувствовалось, что происходит что-то, совсем особенное: все примолкли, словно боялись, что разговор может повредить больному, такому слабенькому, как мыльный шарик,— так и подумалось,— и он растает. Но не в этом «событие».

Дед взял лежавший перед его прибором лист бумаги, - все ожидали его христосованья, как всегда, и не на-

чинали разговляться,— надел очки и стал просматривать написанное. Я знал, что это список бедных семейств, кому посылалось «праздничное». Сейчас и начнутся розговины. Но дед тряхнул головой, и лицо его стало красным.

«Постойте... позвать Ансеева!..— воскликнул он строго и тревожно,— что за... «ис-то-рия?!..»

Все переглянулись, тревожно тоже. Такое необычное в такой День! такое деловое, будничное!.. Лицо деда похмурилось, в тревоге.

Явился старший приказчик Ансеев, почтенный старик, медлительный и всегда суровый,—«канцлер» деда. Он был еще парадный, в долгополом сюртуке, с зарумянившимся лицом, что-то еще прожевывал: должно быть, оторвали его от розговин. Как и у всех нас, на его суровом лице была тревога.

«Почему не показаны Се-мечкины?.. не послано?!..»—чуть в раздражении спросил дед, протягивая лист Ансееву и выжидающе-хмуро глядя в лицо приказчика. Тот пробежал глазами, недоуменно.

— «Опущено-с... доточно помню, что послано!.. на семерых-с!..— и его озабоченное лицо выразило недоуменный вопрос.— Конторщик промахнулся, Иван Васильич... у меня красным подчеркнуты Семечкины... самоважнейшие-с... как можно!.. будьте покойны-с».

— «Верно?.. честно́-е слово?!»

— «Не извольте сумлеваться, все ублаготворены-с... утресь сами опросите».

— «Ручаешься?.. знаешь наверное?..»

— «Поручусь, будьте благонадежны-с».

Дед взял красное яйцо с блюда и дал Ансееву.

— «Верю. Не пеняй, что потревожил неурочно. Ну, еще раз —«Христос Воскресе!»

Ансеев, поликовавшись с дедом, хотя уже христосовался в Заутреню, сказал как-то опасливо-благоговейно:

— «Помилуйте-с, Иван Васильич... все понимаю... сами перетревожились».

Вот это —«перетревожились», Ансеева, крепко осталось в памяти. «Какой милый Ансеев»,— подумал я. Понял ли я тогда это —«перетревожились»? Конечно, понял — сердцем. Это было уже мое, заветное и больное даже. Оно было в каждом из нас. Все, радостные, когда садились за стол, и вдруг насторожившиеся тревожно, когда дед крикнул —«позвать Ансеева!»— празд-

нично просветлели, в радости. Эта знакомая мне «тревога» томила меня всегда, когда предстояло радостное: когда повезут в театр, в канун ли великих праздников, в именины, или когда парадно одевали в новое...— тревожащее чувство — «а у других? будет ли радость всем?..» Мне было стыдно, что у других этого не будет, такого нарядного костюмчика, из Москвы, в хрустальных пуговках, с петельками и шнурками... Бежишь садиться в парадные сани — ехать в театр, на елку,— и вдруг увидишь сынишку дворника Матвеича или ездового Никиты, и станет тревожно-стыдно: «а они все такие же, «будничные»?..» Даже до смешного: увидишь в сенях лопату, метлу в углу, а ночь такая морозная, радостная, в святочных ярких звездах...— жалостно станет в сердце, с укором будто: «а они так и будут стоять в темноте и мерзнуть...»

Это болезненное чувство — откуда и как родившееся? — многое объяснило мне в дальнейшей жизни, когда раскрылись передо мной чудеснейшие и страшные ее страницы...— тревожно требующее наполнения.

Розговины тогда стали ликованьем, наполнились чудесным светом. Все затеснились к деду особенно будоражно-радостно: начиналась заветная раздача сверкающих «пасхаликов». Дед достал из бархатной коробки большое золотое яйцо, развинчивавшееся на половинки, и высыпал на фарфоровое блюдечко присланные, по заказу из Москвы, «пасхалики»,— малюсенькие, не больше воробьиных, граненые яички из самоцветных уральских камушков: рубиновые, яхонтовые, аметистовые, топазовые, сердоликовые... всякий год, в розговины, одаривал он нас всех, и эти яички привешивались на тонкие золотенькие цепочки или на пунцовый шнурок,— к прежним «годовичкам». У нас с Катюшей было их больше дюжины, и от отца с мамой, и мы носили эти «пасхалики» всю Святую под рубашкой: мы верили, что они воскрешают нас, освящают и охраняют от зла-греха.

В те памятные розговины все были радостно взбудоражены, все смотрели через яички на блистающий стол, на свечи... и вдруг услыхали глухой, едва различимый голос:

«А мне... бу-дет..?»

Все вдруг оторопели, оглянулись на дядю Васю...

Силясь подняться с кресла, он глядел на нас жалобно, разевая рот, будто ловил губами воздух. Он ссутулился,

и его крахмальная рубашка ввалилась в него, будто за ней была жуткая пустота. Все примолкли, как от испуга, но дед сказал оживленно-радостно:

«Тебе-то да не будет!..»

Сам подошел к нему и дал чудесное-изумрудное, все в сверканьях. Прикрепил на пунцовой ленточке к сюртуку, у сердца. Дядя Вася нагнул голову, приподнял яичко и поцеловал его.

«Благодарю, папаша... обрадовали...» — и стал подниматься с кресла. Дед заботливо, осторожно, положил ему на плечи руки, чтобы он не трудил себя, но дядя, запыхавшись, все-таки силился подняться — прерывисто, шепотом говоря:

«Я сам... обрадовали... ах, ка-кой вы!..»

Дед склонился к нему, торопливо сказав — «Христос Воскресе!..» — и поцеловал три раза.

«Ты меня, Вася, обрадовал...» — сказал он тихо.

— «Чем я могу... обрадовать, папаша!..— чуть усмешливо-грустно с трудом выговорил он.— Дайте мне настоящее... чудесное...» — и он показал на пасхальные яйца на столе.

Дед взял с блюда пунцовое и дал дяде.

— «Ну, милый... Христос Воскресе!..»

Дядя Вася — так это вышло неожиданно,— выпрямился усилием в рост деда и отчетливо произнес:

— «Воистину Воскресе!.. так... обрадовали...»

— «И хорошо... слава Богу...— сказал торопливо дед,— угодил яичком?..» — показал он на изумрудное.

— «Бо-льше... ши-рокий вы... тревогой своей обрадовали».

Он изнемог и, отирая капли на помертвелом лице, осел в кресле. Дед обнял его и сотрясался...— казалось, он заплакал. Нет, он не плакал, а сотрясался от волнения: когда он поднял лицо, оно светилось как будто новым взглядом, совсем молодым, детским. Он не мог произнести ни слова обмякшими, несходившимися губами. Я силился не заплакать. А мама была в слезах, смотрела, прижимая руки к груди, как всегда, когда очень взволнуется. Отец обнимал дядю, и все мы толпились-торопились, понимая, что сейчас было такое важное... На лице дяди Васи выступили капли... слезы? дядя стыдился их? Он осел в кресле и отирал салфеткой лицо.

— «Воистину... Воскресение!..» — будто не своим голосом выговорил дед.

Теперь я знал, что́ случилось, и почему случившее-

ся — великое событие. Оно повторялось в моей жизни, когда я перечитывал в «Братьях Карамазовых» лучезарный из лучезарных снов — «Брак в Кане Галилейской». Тогда, в розговины, на моих глазах, сотворилось ослепительное чудо. Оно непременно повторится, кажется мне порой,— увижу ли я его? — и наше семейное, событие, претворится в событие историческое.

Январь, 1949

ПРИВОЛЬЕ

К 45-летию кончины А. П Чехова· 2 июля, 1904

П П и А В Карташевым

О смерти Чехова я узнал на рыбной ловле, под Владимиром-на-Клязьме. Сопровождавший утреннюю почту знакомый почтарь из Судогды остановил тарантас на плавучем мосту, полюбопытствовал, как рыба, и, закуривая, сказал: «еще не читали. Чехов помер». Известие не было неожиданным: уже по газетам чувствовалось, что конец близок. Мы поговорили о покойном. Почтарь читал «веселые» его рассказы, вспомнил «Винт», «Сирену», еще что-то...

— «Душа отдыхала. Придешь со службы, поешь и сейчас что-нибудь из Чехова. И такое, знаете, успокоение нервов... сразу и заснешь».

— «Царство ему небесное... — воздохнул ловивший со мной николо-мокринский дьякон, и на его испитом, дергавшемся лице изобразилась искренняя печаль.— Вы «Архиерея» прочитайте, ничего подобного никто не писал».

Он вытащил фунтового соменка и не сказал свою приговорочку при удаче — «ловись, рыбка большая-маленькая».

— «Это как бы в его память: любил рыбку ловить покойник».

— «А про «Налима»-то!..— воодушевился почтарь,— сосмеху лопнешь, до чего же з-замечательно!..»

— «Любил рыбку ловить покойник...» — задумчиво повторил дьякон, и в его голубых глазах, заслезившихся от волнения, затуманилось грустью.

Он начал сматывать удочки, вымыл ослизлые руки и вытер о затрепанный белый подрясник с присохшей чешуей. Утро разгоралось, рыба брала лениво. Мы пришли на весь день и еще часть ночи захватили,— кидали подпуска, не попадется ли стерлядка. Сели закусить на бережку, подремали. Да, любил рыбку ловить... Вспомнилось из дней юности, как посчастливилось мне встретиться с Чеховым, о котором тогда и не слыхивал, в Мещанском саду, в Москве, на пруду. Светом хлынуло

на меня, и было в этом свете такое благостное, что захотелось поделиться с дьяконом. Много я узнал от него из жизни духовенства и по рыбной ловле: лучший был рыболов в округе, а про рыбью жизнь мог рассказать не хуже Аксакова.

— «Ну-с, пришли за карасями на зорьке?..»

— ...«И видим, с приятелем Женькой: как раз на нашем месте, где прикормка, сидит незнакомец, в соломенной шляпе, в пестрых брюках, голенастый... и — карася за карасем! А караси — как лапоть. Женька сердито тмыкнул и говорит с намеком:

— «Раз правил не знают, садятся на чужое место... приходится перейти на другое!..»

А перейти-то и некуда, все ветлы, забросить трудно. Женька как раз поплавок хотел обновить, «дикообразово перо», за 75 копеек,— латинский словарь букинисту оттащил. Стал забрасывать,— поплавок и зацепись за ветки, да саженях в трех от берега,— очень развесистые ветлы. Звонил-звонил, дергал-дергал...— не отцепляется. А незнакомец... в чусучовом, помню, пиджаке, в пенсне, лицо приятное, умное... вытащил крупнейшего карася! принял на сачок и говорит, нам будто:

— «Не карась, а золотая медаль!»

Сердце прямо у нас упало.

— «Плевать!.. — кричит Женька,— правил не признают,— рядом буду закидывать!..»

Подошли, глядим: поплавок незнакомца тихо так повело, даже не тюкнуло. Насторожился он, удилище чуть подал, не потревожить чтобы...— мастера сразу видно. А оно прямо к осоке повело. Подсек умеючи, стал выводить...— невиданный карасище, мохом будто зарос, золотцем чу-уть поблескивает. Голенастый тут все забыл, в воду даже ступил в ботинках, схватил под жабры и выкинул на берег,— тукнуло, как кирпич. Вывернул из жирной губы крючок...— «колечко» у карасищи в копейку было, гармонья словно,— и говорит:

— «Июль, а этот, видно, Аксакова не читал, дуром лезет. Таким карасям в апреле — мае полагается ловиться, когда черемуха цветет. А вы что же не зажариваете?..»

Тут Женька с досады уж огрызнулся:

— «Зажарим, когда поймаем!..»

А клевать перестало, как отрезало. Стал Женька опять звонить,— не отцепляется. Незнакомец и говорит, очень предупредительно:

— «Возьмите мою запасную. Настоящий рыболов должен всегда иметь в запасе на всякий пожарный случай, это же азбука нашего ремесла!» — чуть с задорцем.

Женьку задело наставление, да такой тон еще, с задорцем, он и говорит:

— «Азбуку» вашу я отлично знаю... дело не в «азбуке»! а я дал себе слово, как один индейский рыболов у Густава Эмара... ловить то-лько на «дикообразово перо»!..»

И все звонит и звонит. Незнакомец подошел к нам и говорит примирительно:

— «Ну, доставьте мне удовольствие, вот отличная леска и чуткий поплавок, специально на леща... но карась ему родственник. Мне досадно, что случайно уселся на ваше место, уж не сердитесь...»

И ласково потрепал Женьку по синей его рубахе, по «индейской», выкрашенной особой краской, «инди-го», только индейцы знают. Сразу и оттаял Женька, осклабился:

— «Вы не думайте, что из жадности мы обиделись... меньше нам карасей останется... тут не караси... а нам для пеммикана надо».

— «А-а...— говорит,— вам для пеммикана! высушите и в порошок истолчете?..»

— «Ну да, в рыбную муку... так всегда индейцы «Великих Озер» и американские эскимосы! Вы, значит, индейские обычаи тоже знаете?»

— «Как же, до мелочей... и сейчас люблю читать про индейцев».

Это совсем подкупило Женьку, знавшего индейцев, как свои пять пальцев.

— «Приятно встретить соратника...» — сказал он совсем мирно.

— «Понимаю ваше положение, раз дали слово ловить то-лько на «дикообразово перо». Тогда вот что. Мне в Кусково надо, в гости, куда же мне карасей... возьмите для пеммикана».

Вынул серебряный портсигар и угощает:

— «Не выкурят ли со мной мои краснокожие братья трубку мира?»

Мы курили только «тере-тере», похожее на березовые листья, но взяли из вежливости, одну папиросу на двоих. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец поглядел на нас и искусно проделал горлом, как дети Скалистых Гор:

— «Отныне мир!» — и протянул нам руку.

В волнении мы пожали ее молча.

— «Отныне,— продолжал приятный незнакомец,— моя леска — твоя леска, твоя прикормка — моя прикормка, мои караси — твои караси!» — и очень приятно засмеялся, прищурив глаз.

Мы тоже засмеялись, и все закружилось от его удивительно душистой папиросы. Тут же приятный незнакомец прибавил еще приятности, показав сетчатый садок, полный карасей, и пожелал удачного приготовления пеммикана. Стал собираться, поснимал удочки с рогулек и поставил промокшие ботинки сушиться на солнышке. Мы стали ловить на нашем месте, но брала все больше мелочишка, «пятачишки», называл так наш бледнолицый брат. Разоткровенничавшийся Женька не удержался и сообщил, что «дикообразово перо» — самое дорогое, 75 копеек, у Перешивкина, на Моховой, и добыто в обмен на латинский словарь, у букиниста.

— «Знаю, сам, бывало, выменивал...» — сказал чудесный незнакомец и попробовал отцепить «перо».

Но ничего не вышло.

— «Жаль! такое волшебное перо, и должно погибнуть!.. Не отпилить ли сук?»

— «Нет, оно не погибнет!» — восторженно крикнул Женька и, стянув «индейские» сапоги, расписанные вохрой, бросился в штанах и синей своей рубахе в воду.

— «Да что он, чудак, делает! — воскликнул наш бледнолицый брат,— вот, горячая голова!..»

Женька плыл саженками, с перочинным ножом в зубах, как делают в подобных случаях отважные индейцы и эскимосы, отхватил ветку и поплыл к берегу с волшебным пером в зубах.

— «Вот!..— победно крикнул он приятному незнакомцу, отныне — «брату»: «задача решена, линия проведена и треугольник построен!»

Это была его любимая поговорка, когда удавалось дело.

— «Будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!»

Бледнолицый брат вынул из бокового кармашка записную книжку и что-то записал карандашиком. Потом внимательно осмотрел «дикообразово перо» и сказал, что непременно заведет себе такое же.

— «У Перешивкина, на Моховой?..»

Женька, постукивая от утреннего холодка зубами, сказал взволнованно:

— «Отныне это «дикообразово перо» — ваше, оно принесет вам счастливый лов!»

Приятнейший незнакомец принял перо, прижал к полосатому жилету, сказал гортанно, по-индейски, — «попокаке-петль!» — что значит «великое сердце», и положил в боковой кармашек, где записная книжка. Потом, в видимом волнении, молча, пожал нам руки, надел сырые еще ботинки и удалился, широко, «по-охотничьи», шагая.

— «Про-стяга!» — взволнованно сказал Женька высшую похвалу: он не бросал слов на ветер, а запирал их «забором зубов», как благородные индейцы.

Тут откуда-то появился «Кривоносый», надзиратель училища, неся на конце удилища единственного карася, потряс пальцем и крикнул нам, еще более скривив нос:

— «Отвратительно себя ведете, будет доведено до сведения вашего гимназического начальства! грубить уважаемому человеку!.. больше вашей ноги здесь не будет!..»

Женька крикнул ему вдогон, подражая скрипучему его голосу:

— «Мало вас дррали, гррубиянов!.. — явно дразня «Кривоноса», как ученики Мещанского училища, сплюнул и прошипел: — «бледнолицая с-собака!..»

Сильней припекало, от Женьки валил пар, словно его сварили, и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин, наш гимназист, сын инспектора училища, и рассказал, узнав наше приключение с приятным незнакомцем, что это брат надзирателя Ивана Павловича Чехова, всю ночь дулся в винт у дежурных надзирателей, а потом пошли ловить карасей.

— «Заядлый рыболов... и... пи-са-тель-сочинитель, пишет всегда смешное, можно прочитать в «Будильнике» и «Сверчке»... здорово может прохватить!..»

Мы были чуть не в страхе, что может прохватить.

— «Да, он все смешное записывает в книжечку...»

— «И про нас, значит, записал!..» — воскликнул Женька.

— «Обязательно, все изобразит, увидите! А для смеха подписывает под рассказиком не свою фамилию, а — «Антоша Чехонте»! А «Кривоноса» теперь выгонят, непременно скажу папаше. Уж про него записано в кондуит, что «ставит банки» и два раза был на дежурстве

не в порядке. Так и написано: «последнее предупреждение».

Женька сказал:

«Черт с ним, не стоит ябедничать, это неблагородно».

Он теперь сушил спину, вывернув к нам голову: нежное что-то было в суровом его лице.

Случилось в нашей жизни такое светлое, что и посейчас помню. Все встает особенно ярко, как прочитаешь его рассказ — «Монтигомо и Ястребиный Коготь». Это у него осталось, конечно, от встречи с нами.

— «А ведь и впрямь!..— вскричал дьякон.— З-замечательно изобразил, хоть там и нет про «дикообразово перо»... А не пора ли и за дело? На мосту нечего возиться, сено уж повезли с поймы, и мужики едут на базар, мешать будут. А мы вот что... не попробовать ли на «кружки»? я прихватил на случай, и живцы еще есть, и лягушек с десяток на сомиков, а? Давайте-ка, запустим на «перевертки!..»

Я согласился. Со мной тоже были кружки, с полдюжины.

Мы сели в широкую дьяконову лодку, ко всему приспособленную, забрали весь наш рыбачий скарб и поплыли вниз, за мост, в привольные места, где Клязьма шире и много заводей. День ослеплял блистаньем. Река — зеркально-сверкающая гладь, с всплесками еще игравшей рыбы. Было часам к 7, бор еще не прошел. Отъехав с версту, мы стали налаживать и наживлять наши плавучие жерлицы.

Рыболовы знают, что такое «перевертки», или «кружки», но не всякий ведь рыболов. Кружки, диаметром в четверть, из пробки, окрашенной сверху красным, со вставленным в самой середке колышком или «свечкой», выкрашенной белой краской. Вверху «свечки» — расщеп, для бечевки плавучей жерлицы. В кружке, по обрезу, сделана выемка, куда сматывается бечевка, проводится в расщеп и спускается аршина на 2 в воду, с басовым поводком и крючком, на который насаживается живая наживка,— пескарики, окуньки, ершики — на судачка и лягушки — на сомиков.

— «Знаете что?..— сказал дьякон, изготовляя «кружки»,— идея у меня! В память новопреставленного раба Божия Антония, любившего рыбку ловить, установим так: первая перевертка — его! а?.. Греха тут нет, а как бы в его память... за веселые рассказы? а?..»

Я согласился,— какой же грех! тут в память и благо-

дарение от собратьев-рыболовов. Стали, благословясь, пускать.

Течение было медленное. Клязьма, с паводков, полноводная, широкая, с заманными сверкающими всплесками впереди, порой очень сильными, от крупной рыбы, десяти-фунтовых шерешперов, редко влипающих на «кружки».

Дьякон, спуская первый кружок,— снизу кружок окрашивается в белый цвет, издалека видный,— на окунька, перекрестился.

«Благослови Господи... в память новопреставленного раба Твоего Антония, а нам во утешение. Значит, так: первая перевертка его, так и будем знать. И четвертая опять его. У нас девятнадцать,— семь, стало быть, возможных переверток, в его память».

Как всегда, он поцеловал наживку и, что-то шепча, должно быть какую-то свою молитву, спустил кружки. Двинулся кружок плавно и скоро стал походить на красную лодочку с белым паруском — так красиво! Раз за разом мы поспускали все. Целая флотилия, саженей по десять промежутка, на полверсты. Поехали голубчики за товаром, что-то нам привезут?.. Закурили, любуемся. Первый чуть виден, на прямой полосе руки. Такое-то приволье, благодать. Слева, от поймы, где начался покос, тянуло медом, густым и теплым, раздольем вошедшего в силу лета, не оторвешь глаз от красоты — святой, природной, не накупаешься в этой душистой теплоте, не надышишься бальзамом цветов и трав.

Дьякон замотал головой и перекрестился.

«Го-споди милостивый! Благословен буди за радостное творение Твое!.. Правда? — обратил он ко мне сияющее лицо, на котором поблескивало слезой благодарения.— Ну, скажите, милый брат мой... за брата я вас... одних мы годков с вами и любим Господнее творение, переполнены оба благостью. Скажите... ну, зачем он туда поехал?! а?.. в чужую землю?!.. а! Ну, где там такое приволье, такая красота?.. А тут — прямо, целительное растворение воздухов, здоровье ведрами льет в тебя... а?!. И самые больные легкие поправляются, уверяю вас. Сколько случаев знаю, сколько молебнов отпели с протопопом, по случаю исцеления. У меня все записано, доктора знают, и сколько к нам присылали совсем приговоренных! Ан, глядь, через два-три месяца, и рыбку ловят, и всякий кашель,— как не бывало. После каждое лето приезжали, во какие, кровь с молоком. А он, читал

я, на кумыс ездил, и никакой пользы. А у нас да сколько хочешь отменного кумыса, татары делают, в солободке. Говорят, такого степного приволья поискать надо... не хуже, чем у башкирцев. Ку-мыс... не упьешься. Я ведь тоже страдал чахоткой... обе верхушки тронуты, теперь все зарубцевалось, и никогда лихорадки, хоть и пропадаю на реке до холодов. Ну, слабость моя... И знаете, скажу доверительно вам,— я ведь неполноправный, в иереи не могу рукоположиться...— и скорбь это моя великая, что не могу. Почему? Поведую, дружески только, по секрету. Знают некоторые, конечно... но это не в позор мне, а во испытание. Падучий я, еще с семинарии. Припадки были, но давно, слава Богу, нет... а все-таки рукоположить меня никак нельзя, за физическое несовершенство. Ну, как я могу совершать таинство? — «Твоя от Твоих»?!. Самый волнующий момент, когда пресуществление хлеба и вина? Меня всегда волнует, когда подходит самый священный момент... созерцаю и молюсь... и страшусь, как бы оно не случилось. Господь дарует укрепление, поплачу только, и ноги начинает сводить... но ни разу не было потемнения... А раньше я по полсуток в беспамятстве бывал. А потом неделю как не свой, не приведи Господи! Я и не заикаюсь, не смею. Новый преосвященный думали рукоположить... Ну, им о. протопоп поведал. Матушка-дьяконица до сей поры боится на реку одного пускать, сыночка со мной снаряжает. А сегодня я с бухгалтером снарядился, да он рано ушел с моста, ревизия у них, в Казенной Палате. И правда: ну, как ей меня пустить? Плаваю хорошо, ныряю не хуже сома, а в припадке-то я — бултых с головой!.. один-то. Особливо осенней порой, нерета на налимов ставить... никак одному нельзя. И сам побаиваюсь. Ну, она тогда сама со мной, и пробковый пояс велит, как я нерета ставлю, по омутам, берега крутые... не дай Бог, ежели случится. Да, о чем это я хотел?.. Да, и думаю: зачем он туда, в чужую землю?! Мне наш доктор Михайла Алексеич Сувалкин рассказывал: ведь его знаменитый Остроумов, профессор в Москве, как отговаривал в Крым даже ехать: жарой, говорил, замучает. А поезжайте на дачу, где потише, ветра нет, между горками, в самой благодати-привольи поживите, парное молочко пейте... Ну, воля Господня. Э-эн, где наши лодочки-то гуляют! Да стойте... никак донышко белеет, перевертка была, а мы и не видали! Да вон, к правому берегу, покруче где... красный обрыв!.. Есть одна, только бы не впустую...

И я заметил: белеет донышко, перевертка!

— «Ишь, как полощется! как поплясывает-то! а?!. Есть!.. в светлую ему память!.. Только бы не сошел. А другие... раз, два, три... четыре...— ждут.

Он высмотрел и насчитал семнадцать. Еще где-то перевертка, моя, девятнадцать было кружков. Как мы ни смотрели, нигде белого донышка не видно. Очевидно, прибило-забило к кустам, в осочку. Мы стали подгребаться и скоро заметили эту вторую перевертку: под ольховым кустом, недвижную. Но это еще ничего не значит. Щука если,— забьется под берег и затаится. Могла и сойти, конечно. Подгребись к первой перевертке, под № 5, на донышке,— в память его. Оба в дрожи великого волненья, удастся ли. А белое донышко все поплясывает,— есть! Щуренок, надо думать, предполагает дьякон: частая очень пляска, не сильная, без ныранья. Да разное бывает, всего не предусмотришь с рыбой, какой тоже характер,— да и воли, может, добыче нет, бечевку вплотную затянуло, а то и зацепилась за коренье. Подъезжаем. Дьякон, покрестившись, стал принимать бечевку в лодку...

— «Ого-о... сидит... что т-такое, не пойму?!.. Раз здорово дернуло, а теперь свободно идет. Стой, сидит!..— крикнул он вдруг,— сачок!..» Я приготовил сачок, на случай. Блеснуло белым брюхом,— крупное что-то... щука? Без сачка, под жабры, с натугой, бросил дьякон в лодку большого судака! — ахнул даже. Накрыли сеткой,— прыгает чуть ли не на аршин.

«На голову ему хламиду!..— крикнул дьякон,— сейчас успокоим, и мучиться не будет».

Он взял охотничий нож и ловко, под сеткой, воткнул под хвостовое перо. Брызнуло кровью, и судак мгновенно замер в параличе.

«Я так всегда с крупной рыбой, никаких мучений. И заметьте, какая выгода: лишняя кровь сошла, рыба не мучилась, не измоталась, а, стало быть, и вкуса не потеряла, живая свежесть... сравнить нельзя, если замучается. Это уж вы сегодня у меня отведаете клязьминского судачка. И на заливное, и холодненького с хренком, со свежим огурчиком.

Мы долго любовались судаком, в ярких живых полосках. Живца, окунька вершка в три, заглотнул до отказу, в брюхе уж у него окунек был. Вскрыли и вынули. Окунек еще был живой, тут же его и насадили снова на тот же кружок: счастливый. Тут же и спу-

стили, опять в его память светлую. Дьякон был в великом возбуждении, я даже стал бояться, как бы с ним не случилось. Он обложил судака травой и замотал бечевкой. Фунтам к пяти был судак, на редкость.

— «Ну, и удача!..— говорил в восхищении дьякон.— Удача из удач! Только второй раз, как к пяти фунтам беру, на кружки еще ни разу не было. А на дорожку, на ерша, раз добыл, около шести фунтов. Клязьминский судак — не сравнить ни с волжским — «нефтяником», ни с окским, наточно знаю, и рыболовы все признают, очень сюда охочи ездить. Тоже и сомики: наши — как писчая бумага. Тоже и судак наш, белей снега мясцом, так дольками и отслаивается. А посему, Господи, благослови...»

Мы выпили по хорошей, станционной, рюмке и закусили попросту, зеленым луком с хлебом и печеным яичком. Поплыли ко второй перевертке, моей. Она спала. Я стал выбирать бечевку,— есть! Попал щуренок, фунта полтора-два, приятный. Высмотрели и нашли еще две перевертки: дьяконова и опять — его. На первом кружке взяли окуня, фунтового,— красота.

— «Щуренка стоит!» — сказал дьякон.

Верно, фунтовый окунь по вкусу и крепости не уступит и судачку, особенно маринованный. Четвертая перевертка оказалась пустой, живец сорван. Больше, сколько ни ждали, переверток не было: солнце стояло высоко, бор прошел.

— «Все ублаготворены, без обиды. И уж как же я рад, что ему такое благоволение оказано!» — радостно повторял дьякон.— «Уж так-то рад, не сказать. Ах, порадовался бы, милый... Портрет его у меня, в приложении к «Ниве», вырезал, повесил над письменным столом. Почитаю — погляжу. Ах Господи... как он «Архиерея»-то изобразил! Читаю — и плачу, от радости. Ну, скажите... ну, как вы думаете?.. Ну, кто мог бы так ласково описать?.. с такой любовью?!. Это все пустяки, все облыжно и пишут, и говорят... соберутся у меня семинаристы... и то же...— он, говорят, тут переборщил, подсластил!.. Дураки!.. Я им говорю — это вы по Писареву! он — самый верующий, куда, может, верней нас верует! И никакой не атеист! вре-те, подлецы!.. прости меня, Господи! Так ласково, благородно-нежно! Никакой теперешний писатель так не сумел бы!.. И дара такого нет теперь, чтобы ласково... а все подделка пошла, под хулу, очернить самое благородное. Все знаю, больше их всех

знаю, какие непорядки в нашем сословии, в церковниках наших. Этого и Лесков не боялся показывать, а «Соборян» написал! Там один Туберозов за святого сойти может! А дьякон-то, а? Ахилла-то!.. а? А Захария-то, старичок расчудесный, святая душа, ребенок!.. Господи, до чего же все хорошо! когда всю правду, без облыганья, дают. Святой Архиерей, слу-жи-тель Божий, воистину... Без слез не могу. Все грехи Господь отпустит рабу Божию Антонию, ныне новопреставленному... Дитю ведь описал, Архиерея-то... чистота, кротость, терпение... из последних сил служил в великий четверток, когда «Страсти» читал, а уж дурнота его одолевала... вот это — служение!.. А мамаша-то его... бедная старушка... дьяконица моя слезами обливается, все поняла!.. Осень уж... дожди... скотину ко дворам гонят, уж сумерки, бабы подолы на головы, а она, матушка, стоит с вербочкой и о нем думает, сирота. И никто-то ей из баб не верит, как начнет про сынка... что вот, архиереем был. Ну, кто так мог сердце ма-те-ри!.. а?.. рыдаю, обливаюсь от умиления. А старичок-то, келейник-то, стро-гий, растирал-то его, со свечечкой?.. Как любовно изобразил!.. Царство ему небесное.

Дьякон перекрестился, достал красный платок и вытер слезы.

— «Вот и помянули покойника, судачком помянули, и еще помянем. Знатное будет заливное, и холодец с хренком, и на коклеты останется. Люблю я судачьи коклеты. А они — «он в Бога никак не может веровать! он естественные науки знает, и сам врач».

А я им в нос «Архиерея»! А я им... «Святою ночью»!.. Вникайте, дураки!..

— «А «Студента» любите?..

— «Студента»?.. это про что?

— А как студент бабам, в великий четверг, в холодном поле, рассказывал о той трагедии... об отречении Петра?..

— «Го-споди!.. Еще бы не любить!?.. Тоже плачу всегда. Ну, скажите, ну, не ге-ний, а?.. это «атеист»-то, мог так... а?.. Зачем же, зачем, спрошу вас, такая ложь на него?!. Прости меня, Господи, а скажу. Святой он, не нам суд судить... а — святой!.. по духу святой, по сердцу святой... чи-стый, вот что главное! Его надо каждому мальчишке давать читать, девчонке каждой давать читать... для душевного очищения, для благородства души. А «Святой ночью»... акафист-то, а? Брат-то Ни-

колай скончался в самую Святую Ночь! какие акафисты составлял! Древо... «многосенно-лиственное!..» Придумать надо!.. Он и акафисты знал... он, читал я,— еще гимназистиком «шестопсалмие» без псалтири вычитывал! ате-ист! ах, подлецы! Понимаю, почему они радуются... что вот — ихний! У них-то ни-чего в запасце, пустота, а он — вон что изображал, православную русскую душу укреплял!.. В раю теперь, по заслугам... Я такой «Святой Ночи» нигде не читал, только в сердце ее держу, опытом духовным... и что же? Он все мое изобразил, и даже, как дремота в ту ночь одолевает... и как звезды светят в реке, на перевозе. А народ движется, все в монастыре полно, и вот-вот ударят... ах, дивно-хорошо!..»

Растроганный его причитающей речью и слезами, которые он уже не вытирал, а смаргивал, я спросил:

— «А не помните, как начинается рассказ — «Святою Ночью»?..

— «Нет, где упомнить. А как?..»

— «А вот, послушайте. Тут уж он как бы душу народа выражает, его постижение духовной красоты. Ему все понятно, и сам он весь в этой красоте-восторге. И вот, смотрите и судите... Все у него в этом рассказе,— как песнопение. Он даже самый пейзаж вводит в это «песнопение»! Я наизусть знаю это начало... не помню, может быть, и не совсем начало, но тут же, на первой же странице. Слушайте...

«...Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд... Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо, все до единой тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине...»

— «Непостижи-мая красота!..— воскликнул дьякон.— Неизреченная красота, и какое же чувство!.. какая душа!.. Обязательно выпишу и прикреплю на видном месте. Неизреченная милость Твоя, Господи... даровал такого песнопевца... Ткну им, дуракам... Они никогда не похвалят лучшее наше, а только пальцами тычут в самое худое! Зна-ю их... все на лжи и лицемерии... Словно праздник для них... «атеист»-де!..»

Собрали кружки. Были сорванные и помятые живцы. Лягушка уцелела. Дьякон отцепил крючок от ее спинки, подумал и кинул в луг: гу-ляй! А то, бывало, приберегал.

— «А на живца почему не оставили?»

— «За храбрость,— сказал дьякон.— Да и напугалась, небось. Пускай ее квакает на воле, Творца славит! — и неожиданно засмеялся.— Умо-ра — помните, в каком-то рассказе...— ругаются лягушки?..— «сама такова!..» «сама такова!..» При-думать надо».

— «В овраге», кажется. А «Скучную историю» любите?»

— «Не помню что-то... А то еще, где-то...— «я иду по ковру, ты идешь покаврешь...» — придумать надо!.. и в смех вгонит, и до слез прошибет. Даровал Господь талант».

Собрали снасти и подгреблись к луговому берегу, в самый мед. Покос только начинался, но по великой пойме уже стояли стога, лежало скатанное валами сено, кое-где и навивали воза. Всюду сверкали косы, бросали белые огоньки, мелькали свежие грабли, краснели платки, полязгивали бруски. В теплой волне с полудня веяло медом и миндалем. Дышалось полной грудью, чувствовалось, как вливается здоровье, бодрость и радостность. Скрипучие дергачи примолкли, притаились в еще нетронутой глубине покоса. В небе кружили ястреба, высматривая поживу на побледневшей пойме. Тысячи кузнечиков, встревоженных жгучим жиганьем кос, подобрались к реке и оглушали нас нестерпимо-горячим треском.

— «Ха-ха-ха...— вдруг раскатился дьякон, о чем-то думавший.— А помните, птичка какая-то... и что ж такое!.. «Ты Никиту ви-дел!» А ей другая, будто в ответ: «видел-видел-видел!..» Записано у меня, гостям читаю».

— «Это вечерняя птичка у воды, малюсенькая... камышевка. От ее перекликанья тихий вечер будто еще тише... Сонное такое, умирающее.

Время было к полудню, хотелось есть. Дьякон развел огонь, наносного сушника было много по берегу. Стали картошку печь, зажарили на сковородке свежего соменка, пококали яиц печеных. Дьякон достал зубровку, и выпили мы за упокой раба Божия, новопреставленного Антония. Печали не было, а легкость и благоволение на душе. Будто и его смерти не было. Да и правда: живой, все равно, и с нами, и будет с нами, пока видим светлую красоту русского полудня, чудесное приволье, пока слышим родную песню, доплывшую к нам в медовой волне покоса,— «...посею-у-ль я, посею-у-ль я... лен-конопель...» проигрывали в тепле медовом звонкие бабьи голоса. А от навитых возов, от сизых полос подсы-

хающего сена, подхватывали басовитые, сильные мужичьи голоса: «во-ор-воробей... во-ор-воробе-эй!..»

— «Благодать...— воздохнул, позевывая, дьякон.— Люблю клязьминское приволье наше, приятная самая пора, покос. Гос-поди... до чего же все хорошо зело! Облачка плывут, какая же чистота там. И свежесть, будто это снежок, и повевает освежением. Да, у-строено... для услады человекам. Что-то разморило, дремлется. А вы как, подремываете, а?»

Дремалось: пьянило медом, теплом, покоем.

«...а теперь предстоит Престолу Господню...— досказал родившуюся в нем мысль дьякон.— И ему не страшно. И скажет ему Господь: «добрый рабе, благий и верный, Антоние! о мале был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего. Великая в сем правда».

— «Да, и все — правда».

— «Картошку давайте пробовать. А на ночь обязательно перемет поставим. «Игрунки» у меня хорошие, и с блеском, и цветные на стерлядок. Они любят поигрывать. Примета у меня: как покос, стерлядки наплывают... с Оки, пожалуй, по случаю, думаю, обилия кузнечиков с поймы... И на головля теперь хорошо, и на шерешпера, на катушку... спиннинг называется. Офицер мне подарил, ловили вместе. Размахнешься — сажен на двадцать выкинешь, на блесну. Самая пора теперь».

Полдничали и на пойме, позатихло. Я приподнялся и поглядел.

Дьякон спал навзничь, на припеке. Болезненное его лицо теперь было покойно, кротко. Божия коровка ползла по его бурому сапогу. Подумалось мне с чего-то: «как хорош русский человек!.. и все там — хорошие, родные... в этом приволье поймы...» Было покойно и ласково на душе. Повсюду сидели кучками, поблескивали красные кувшины, поднятые над головой: задрав головы, тянули, передыхая квас, еще с холодком, укрытый от жары тряпками и травой. Спали навитые воза, подремывали в их тени, поматывая от оводов хвостами, распряженные лошади. Ах, благодать какая!..

Август, 1949
Париж

ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА

Д. И. Ознобишину

Помню, в конце Страстной, попалось мне объявление в газетах о продаже, «в верные руки», библиотеки, до четырех тысяч томов, в отличном состоянии, главным образом — классики, русские и иностранные,— есть и редкостные издания,— все книги в переплетах. Перепродавцов просят не являться. Единственный день для осмотра — вторник на Пасхе. Телеграфировать: ст. Лопасня, Курской д... «Злая Сеча»: к первому московскому поезду будут высланы лошади.

Я мечтал о пополнении тощей моей библиотечки, но куда же — четыре тысячи томов! Свободных денег у меня только до пяти тысяч, но чем же я рискую? Ну, прокачусь, погода теплая, конец апреля, весна в разгаре...— и я тут же послал депешу. Я только что вступил в адвокатуру, хорошая библиотека очень кстати, внушает уважение клиентам. А главное, я был молод, и весеннее возбуждение толкало меня из Москвы проветриться и набраться впечатлений.

Ехал на Курский вокзал под веселый трезвон пасхальный. На вокзале было празднично-будоражно. Ехали на «маевку», больше в Царицыно, с запасами всякой снеди, в поезде было полно, даже во 2 классе. В Царицыне наполовину опустело, в окошки вливалась свежесть распускавшихся берез; на станциях, в солнечной тишине весенней, слышалась веселая трель скворцов, праздновавших весну; с близкой церкви лился ликующий трезвон; цветистые девчонки совали в окошко букетики русской «примавера»,— золотистых баранчиков,— и пучки синих подснежников; с зазеленевших откосов веяло душистым, свежим теплом новой травки, и все это, празднично-будоражное, смешивалось во мне с щекочущим ожиданием чего-то особо-радостного, волнующего в предстоящей встрече с таинственно-незнакомой и почему-то уже манящей своим названием «Злой Сечей». Историческое, должно быть, именование...

Против меня весело играли «в ладошки» студент с прелестной девушкой, в весенней кофточке с букетиком подснежников. Потом стали кокать красные яички и принялись закусывать. В Бутове их встретили пожилой военный с важной дамой, раздались восклицания: «зеленые щи сегодня, да?..», «Вот, мама посылает пирог, от Флея!..» Поцелуи, христосованье...

На станции Подольск я прошел в буфет, наполненный горожанами, парадный. Стол был украшен по-пасхальному, на стойке — окорок ветчины, в бумажных розанах, веселили глаз пасхальные крашенки в плетушке. Я выпил, в радости, ледяной водки, взял пирожок...

— Далече изволите ехать? — услыхал я будто знакомый голос, увидал книготорговца с Моховой.— До «Лопасни»... Не за библиотекой ли охотитесь?.. Вон и Алексей Иваныч!..

Тоже знакомый, букинист от Проломных Ворот, известный книголюб и эксперт, вызывавшийся для оценки библиотек, «неоспоримый». По Москве кличка его была — «горбатенький» и «мороженый»: его щеки были багрово-сизые, лет за шестьдесят. Всегда, бывало, видишь его в «Проломе», в его ларьке без двери, с поднятым воротником, мерзнущего за книгой, или в выгоревшем драповом пальтишке. Но сегодня он был парадный, в сюртуке, в котелке, летнее пальтецо на руке,— совсем франт. Я заметил: «а букинистам не беспокоиться»..?

— Я — статья особая. С князем...— назвал он громкое историческое имя,— мы старые знакомцы, не раз бывал у него в «Злой Сече», доставлял книги, оценивал... Да и не для себя я, а...— он назвал известного миллионера, собирателя редкостных изданий,— ну, потягаемся.

И тут я узнал, что библиотека князя, на плохой конец, тысчонок на 20—30. Нечего и мечтать. Ну, что же, прогуляюсь...

Второй звонок.

Дальше мы ехали вместе, во 2-м классе. Алексей Иванович недоумевал, почему князь решился продать свою чудесную библиотеку. Уж не заболел ли, хочет прижизненно распорядиться?.. Последней доставкой ему от Алексей Ивановича был «остаток погодинской библиотеки», тысяч на 5.

Книготорговец с Моховой, знавший князя, тоже недоумевал. Но и ему тягаться было не под силу, хотя он — по поручению московской городской управы, от просветительного отдела, для пополнения книжного городского

склада: предполагается к существующим читальням — Островского и Тургенева — основать еще два: Гоголя и Пушкина; а идти он может, самое большее, до 12 тысяч. Нечего и мечтать-тягаться. Он знал меня студентом, почти бедняком. Спросил, не разбогател ли я. Я смутился и признался, что, конечно, мне мечтать о покупке нечего. Знал меня и Алексей Иваныч, сказал:

— Вы начинающий адвокат, библиотечка вам необходима, для закраса. А мы с вами составим реестрик, тысячек на полторы-две. Вот Даль вам нужен... вы уже печатались, помнится. Может, и опять запишете. Ничего, духом не падайте...— ласково похлопал он меня по плечу.

Он был сегодня особенно ласков почему-то,— от Праздника? И лицо его, сумрачное всегда, сегодня почти светилось. Оживленный его добрыми словами, я с чувством пожал ему руку.

— Помните, бывало, учебники приносили на обмен?.. А теперь — адвокат. Библиотечку я вам составлю. Удивительный человек князь... воспитанный человек! — сказал он, с чего-то одушевившись.— Увидите, какая это библиотека!.. И ка-ак он расстается, не понимаю. Право, не заболел ли? Два года не видались. А то, бывало, зайдет, побеседуем. Сколько он всего знает!.. прямо — энциклопедист! Да и все в доме у него... не в доме, а во дворце!.. А какой у него народ... Да вот, увидите, пригодится, может, для вашей практики. Библиотека для него — почти священное. Какая обходительность, воспитанность... а уж без обеда не отпустит. И музыкант замечательный. Такие люди теперь на редкость.

На ст. Лопасня нас встретил парадный кучер, в плисовой безрукавке на синей шерстяной рубахе, с павлиньим перышком в шапочке. Только нас трое вылезло, можно ехать. Мы сели в шикарную коляску, тройкой вороных.

— Ну, как князь?..

— Да что-то сдавать стали, поослабели. И не все кушать могут. Доктора не велят хлеба есть, сахарная болезнь, говорят.

До «Злой Сечи» было верст двадцать. Дорога пообсохла, но в тенистых местах еще оставалось снегу, после великих снегопадов. На встречавшихся малых речках вода еще не вошла в русло, и мужики, в веселых рубахах, стоя в ботничках, ловили наметкой рыбу. В полдороге остановились на полчасика, отдохнуть лошадям. Кучер, уже пожилой, Фома Васильевич, лошадей жалел,

а мы были рады прогуляться. И тут ловили наметкой рыбу. Трактирщик встретил нас очень предупредительно, похристосовались. Это было село, трезвонили. В трактире шумел народ. Хозяин приказал молодцу принести бадейку: «Их сиятельству рыбки на ушицу, на выздоровление». Когда отъезжали, бадью с деревянной крышкой поставили под сиденье: пара налимчиков, и так, мелочишки разной — ершей, пескариков...

— Скажи, Иван Гаврилыч христосуется! ушицы живорыбной очень хорошо их милости!..

— Любят нашего князя...— сказал кучер.— Да как его и не любить-то... Народишко вот избаловал, по доброте, порубливают у него лесок, хоть и у самих лесу невпроворот.— «С меня хватит»,— смеется. Конечно, лесничишки тоже охулки на руку не кладут. Как-то захватил князь мужика, у самой дороги сосну свалил.— «Да ты бы, дурак, поглубже въехал, на самом виду рубишь!» — говорит ему наш князь. «Да ваше сиятельство, поглубже-то и не вывезешь». Князь сейчас ему записочку, на спине его и писал: «с моего, мол, позволения». Так эта записочка и пошла по рукам. Жалеет народ. Это вот кня-азь!..

Не жалел я, что еду понапрасну. Князь в моем воображении рисовался пасхально-празднично,— остатком знатного рода, известного в истории. Я уже знал кое-что о его предках, из примечаний к «Истории государства Российского». Алексей Иванович начал рассказывать о «Злой Сече», но тут она и сама явилась, в полугоре, на солнце, в блеске зеркальных окон дворца.

— Ну, что за красота!..— воскликнул, опять воодушевившись, Алексей Иванович,— таким я его никогда не видал.

Сияла церковь, и оттуда доливался веселый трезвон пасхальный. Празднично было на душе. Почему-то тянула меня к себе эта «Злая Сеча», обещая раскрыться и показать чудесное...— нужное мне такое, заманное — историческое, родное,— славу нашу. Я знал наверное, что найду здесь что-то необходимое, и это меня светло воодушевит, укрепит во мне волю, веру... Во что веру? Этого я не знал, но предчувствовал радостно. Вполгоре блистали полноводные пруды — запруды. Дворец закрывался длинной березовой аллеей, старой, но уже светло одевшейся впрозелень. Мы сложились и дали кучеру рубля три. Он едва согласился взять: «у нас это не полагается, обеспечены».

Объехав великий круг газона, с черными еще клумбами, мы подкатили к парадному, массивному по-дворцовски. Швейцар, в ливрее, распахнул перед нами двери и поклонился с достоинством. Я напомнил Фоме Васильевичу про рыбу, не забыл бы.

— Князя-то да забыть!..— сказал он, с ласковой улыбкой, и велел зевавшему на нас праздничному парнишке нести рыбу на кухню.

В огромной прихожей, уставленной, по углам, статуями из мрамора, швейцар принял от нас пальто и шляпы. Появившийся почтенный человек, во фраке и белом галстуке, попросил нас, с достоинством, следовать за ним. Это был старый слуга, в длинных бакенбардах, похожий на Григоровича, приятный манерой и чистотой. Он повел нас по широкой лестнице, по мягкому ковру, на первую площадку. Там тоже стояли статуи — Аполлон, Диана... Лестница расходилась надвое. Книготорговец с Моховой тоже был в сюртуке, только один я — пиджачник, и потому, должно быть, чувствовал себя смущенно.

Мы прошли обширным двусветным залом, в люстрах, с хорами для музыкантов, с колоннами,— совсем зал Дворянского Собрания в уменьшенном виде. Блистали паркетные полы, с новенькими дорожками. Прошли малиновую гостиную, карточную, биллиардную,— все образцово чисто, парадно, в большом солнце. Наш проводник отворил массивную дубовую дверь, взял визитные карточки, предупредил, что сейчас две ступеньки, и попросил присесть:

— Его сиятельство сейчас будут...— и удалился, притворив дверь.

Мы остались в обширной, высокой библиотеке, залитой солнцем, приятно мягким сквозь зеленые тюлевые занавески. Пол был затянут серым сукном. Посередине стоял большой круглый стол, накрытый зеленым сукном, удобный, низковатый, с тяжелыми канделябрами темной бронзы, в толстых, кубастых свечах, крутящийся, как оказалось после, с люстрой из хрусталя, в зеленых и розовых свечах,— пасхальных. Вокруг были низкие кожаные кресла, в углах — мраморные статуи. Все стены — в книгах, до потолка. В простенке образ св. Николая, с теплящейся лампадой. Все блистало лачком переплетенных корешков, тисненьем. Не книжные шкапы, а полки мореного дуба, приставные. У меня глаза разбежались, и стало стыдно, что я имел дер-

зость мечтать. «Одни переплеты больше пяти тысяч...»

— Не укупишь..? — подмигнул Алексей Иванович.— И в квартирке небось не уместится.

— Какое там...— махнул я, и тут отворилась дверь.

Входил князь в сопровождении двух дымчатых догов, в стоячих ушках-рожках.

Крепкий, высокий, стройный; красивая голова, впроседь. Ни следа болезненности в лице, в движеньях. Князь шел уверенно, радушно улыбаясь, приветливо-барственно кивнул, и его синеватые глаза не без живости оглянули нас. Только слабая желтизна висков намекала на его недомогание, но она едва чувствовалась в свежести выбритых щек, в ровно подстриженной бородке. Приятное, мягкое выражение лица, располагающее. К нему очень шел мастерской покрой платья, цвета вороненой стали, подчеркивая его слаженность. Подумалось: «какая свободная простота, в платье даже».

Пожав нам руки, он указал на кресла у стола и предложил высказаться. Чуть тронул, и лежавшая на дальнем конце тетрадь в кожаной обложке оказалась как раз передо мной. Я стал перелистывать ее. Это был каталог, с пометкой цен. Я нашел много редчайших изданий, иногда с автографами, и тут же сказал, что мне это не по средствам. Князь благосклонно кивнул.

Алексей Иваныч доложил о желании москвича-книголюба — «выбрать по списку».

— Отпадает,— сказал суховато князь,— я не хочу распылять свое собрание. Вы..? — обратился он к книгопродавцу с Моховой.

Тот объяснил поручение московской городской управы: купить для запасного склада, ввиду предполагаемой постройки еще двух читален — Гоголя и Пушкина: ассигновка в пределах 10—12 000.

— Маловато, правда...— досказал он.

— И это отпадает, но мысль мне нравится. Теперь, господа, я могу с облегчением сказать: вы видите, что сделка не состоится не по моей вине. Я все же побеспокоил вас... сейчас объясню и мою «вину».

Он дал объявление о продаже и скоро понял, что не может расстаться с библиотекой: отменить было уже поздно.

— Да, я поступил опрометчиво... но вы, думаю, эту мою ошибку извините. Неблагоприятный диагноз моего профессора толкнул меня скорей все вырешить, и я распорядился... но не мог покуситься на ценнейшее для

меня, на библиотеку. В конце концов все же дал объявление. Судите — вина или ошибка? Деньги мне не нужны. Я определил вырученную сумму отдать земству на просвещение: на эти деньги можно устроить десятка два народных читален.

Мы одобрительно покивали.

— Теперь, зная благую цель московской управы, я напишу моему поверенному. Библиотеку я не продам, а передам по дарственной, выговорив условия: мое книжное собрание должно целиком влиться в состав будущей читальни имени Пушкина как самостоятельный отдел и носить наше родовое имя. До дня моей смерти,— кажется, уже не очень далекой,— библиотека останется при мне. Вы вывели меня из затруднения, лучшего я не представляю...— и он ласково поглядел на нас.

И тут же предложил нам выбрать из книг что-нибудь, по вкусу. Мы отказались.

— Ну, хорошо, оставим: вы не хотите преуменьшать мой дар. Пусть он поможет мне светло завершить служение рода нашего, прекращающего со мною. Сегодня для меня праздник.

Я спросил, почему поместье называется «Злая Сеча».

— Это — историческое именование. Земля числится за нашим родом около пятисот лет. С конца шестнадцатого века она по писцовым книгам значится уже «вотчиной», с добавлением — «Злая Сеча». К сожалению, я не могу показать вам остаток сохранившегося пергаментного списка, найденного лет пятьдесят тому в рухлядной Высотского монастыря: я дал его списать и сфотографировать моему другу Барсову, знатоку летописей, грамот... исследователю «Слова о полку Игореве»...

Я сказал, что знаю Елпидифора Васильевича, моего соседа в Замоскворечье.

— Чудаковат он, живет в башне, со своими сокровищами...

— Это от пожара. Самоотверженный изыскатель наших исторических корней, хранитель русской славы. Редкостный русский человек! Мы ведь так мало знаем и так мало ценим наше, ценнейшее, чем должны бы гордиться. Мы чуть ли не стыдимся нашей величественной истории... «ленивы и нелюбопытны». Иные из нас находят даже некое больное услаждение в ложном надрыве-выводе, что мы — «хуже всех», и эту больную ложь пытаются почему-то привить народу. Разве неправда это? Можно назвать тысячи примеров. А народ... я это знаю по

моему народу, по моим успенским мужикам, по моим слугам!..— народ несет в себе, бессознательно-стихийно, веру, что он никак не хуже других народов, что он, со своими князьями и царями, творил Россию — Святую Русь. Этого нельзя вытравить из его недр душевных. В этом я неоднократно убеждался. Это никак не моя идеализация, а жизненная достоверность.

— Так вот, в этом куске пергамента, писанного одним из моих предков, вписано — и с какой же простотой! — о «Злой Сече». Мой... как это определить... ну, мой пращур, князь-Рюрикович, был пылкий воин, напоминающий мне Мстислава Удалого... помните, «битва при Калке»?.. Верный долгу, но непокорливый. В один из последних набегов Орды ему было указано стать на рубеже, у Серпухова, нащупать главные силы вражеские, отходить с легким боем, пропустить Орду и в подходящий час ударить ее в тыл. С ним был только один конный полк. Он не удержал своего боевого пыла, не разобрал, что перед ним главные татарские силы, лихо ударил в центр, прорвал и разбил наголову, взял ставку, большой полон, побил больше десятка тысяч отборной татарской гвардии, но упустил очень важное: не укрепил свои фланги, был обойден и пал на реке Наре. Остаток его дружины пробился и вынес из этой сечи тело любимого своего князя. Подошедшие московские полки начисто разнесли остатки кочевников. В пергаменте этот бой именуется «Злой Сечей». Там же сказано, что тело моего предка предано было земле «у дуба высока», в родовой вотчине. Вам покажут в парке. Лесоводы смотрели дуб и утверждают, что ему лет шестьсот. Величественный свидетель прошлого. Лет полтораста тому поставлена там часовенка. Народ чтит это место, молится князю, молится и за князя... На успенье вокруг дуба поют и песни, и молитвы, поминая по-своему. Вот одно из доказательств кровной связи с историческими корнями. По старым записям моих предков я мог установить, что среди моих верных слуг... так они себя называют, а я именую их — «други мои»... Чудесное *наше* слово — дружина!.. Да, так вот, среди моих верных слуг есть потомки участников той сечи. Они хранят в себе высокие качества своих предков... Да, многое у нас — от славных семян минувшего. Если бы сберечь их!..

Появился почтенный слуга, встречавший нас, и доложил князю, что кушать подано. Князь пригласил нас пройти в столовую. Мы миновали ряд новых покоев и

оказались в великолепной столовой светлого дуба, украшенной художественной росписью — охота на вепря, лося и медведя.

Обед был тонкий и празднично обильный. Князю подали тарелку налимьей ухи. Он выразил явное удовольствие.

— Вася, дай-ка сухарик мне...— мягко сказал он стоявшему за его креслом почтенному слуге.

— Ваше сиятельство...— почтительно отозвался тот,— доктор наказали напоминать вашему сиятельству...—и в его голосе почувствовалась почти мольба.

— Дай, Вася!..— сказал князь твердо.

— Не смею, ваше сиятельство! — решительно отвечал слуга.

— Ка-ков?!. чувствуете дерзанье?..— не без удовольствия сказал князь, потянулся и взял с блюда сухарик.

Вася понурился. Князь посмотрел на него и положил на блюдо.

— Отличная уха. Послать Ивану Гаврилову поросенка...— сказал он Васе.— Единственно один изо всей дворни вышел из нашей вотчины, отщепился... Бог с ним. Остались все после Манифеста, продолжают служение. Остались не из-за выгод: они еще не знали тогда, да и теперь только предполагают, моего распоряжения о них...

И князь рассказал любопытную историю.

Как-то был у него министр, дальний родственник. Все ему тут понравилось, но особенное внимание обратил он на точность и выдержку «лакеев».

— У меня нет «лакеев»! — возразил князь.— У меня слу-ги, а не «лакеи»... слу-ги!..— повторил он,— меньшая братия. Воспитаны ли так, или это по чуткости, от сознания личного достоинства? Это вы, там, выделываете «лакеев», прививаете народу чуждое понятие. «Лакей» звучит различно — на западе и у нас. Наш народ умеет хранить достоинство. Это проходит во всей нашей истории,— вчитайтесь! Это заверено и иными, не совсем глупыми, иностранцами. Наш народ, несмотря ни на что,— народ свободный.

Когда мы снова перешли в библиотеку, князь продолжал:

— У меня служат поколениями. Вот, Вася... его сын Фома привез вас. Его внук отбывает службу в Петербурге, в кавалергардах. И несмотря на великие выгоды, уже предлагаемые ему, к осени возвращается сюда. И так все. Что их влечет? Воспитанное веками чувство... родины..?

Вася — бывший мой вестовой, вынес меня из огня на Инкерманских высотах, в 55-м году, и тут же был ранен в грудь навылет. Вы, конечно, не раз замечали в русском человеке его исключительное качество: независимость, чувство личного достоинства. Это отмечено Пушкиным. Мои старики в Успенском говорят мне — «ты, князь», держат себя на равной ноге со мной, спорят и даже наставляют. Ни татарское иго, ни крепостное право не оставили и следа в характере народном, не придавили его: он слишком закален, упруг. Почему? что за чудеса?..— я часто об этом думал. И объясняю это у народа сознанием своего «образа и подобия», вложенного нашим Православием. Это — общее наше, племенное. Этого было в народе больше, теперь слабеет: видят меньше примеров служения и долга... народ слишком отделен от лучших людей у нас, и дурно его воспитывают. Но закваска еще жива, не втуне свершались подвиги, не могли бесследно пропасть жертвы исторических родов, творивших Святую Русь... эти роскошнейшие цветы духовные нашей истории, назначенный нам удел — «душу свою положить за други своя»... может быть за целый мир положить..? Читайте историю, вникайте в нее, и вы уверитесь в этом. Народ знает эти жертвы и принимает их, как законное... мало говорит об этом: «так надо», вот и все рассуждение его. Он — заметили это? — не кичится «славой», он выполняет свой подвиг, как службу, как работу. Он не вспоминает о подвигах своих предков: «Воля Божия, свое отбыли». Мы, высшие классы, помним, и тоже не кичимся. Вспоминать отрадно, да... Из девяти поколений нашего рода шестеро представителей сложили головы на поле брани, вместе со своими дружинами, своими слугами. Прадед пал при Бородине, дед под Ватерлоо... отец был тяжело ранен на Малаховом Кургане, но выжил и отдал свои силы Комиссии по освобождению крестьян. Я обязан жизнью моему верному Васе. Видите, какая спайка! сколько братского общения с народом!.. Клевещут на нашу аристократию, на наш народ. Наша аристократия, может быть, лучшая из всех аристократий, и наш народ как-то хранит в себе врожденный артистократизм духа...

Юный совсем тогда, я упивался словами князя. Князь говорил спокойно, с полной искренностью и простотой, не чувствовалось даже тени идеализации: все в его рассказе было исторически обосновано, будило в сердце горделивые чувства, что я — русский, и мои

предки тоже творили историю, вязали жилами и скрепляли кровью великую отчизну. Помню заключительные слова князя:

— Дивная история творческих страданий! Помните слова Пушкина об «истории»? Я так рад, что ваш приезд всколыхнул лучшее во мне. История наша — дана нам Богом, и мы никогда не откажемся от нее.

Вася показывал нам парк. Недалеко от прудов, на обширной поляне, стоял могучий, широко раскинувшийся дуб. Он был в полной силе, с нетронутой грозами вершиной. Под ним покосившаяся часовенка. Теплилась синяя лампада. Образ Успения. Памятная сеча, по записям, пришлась на Успеньев день. Под иконой — наполовину стертое изречение: «...душу свою положит за други своя».

— Никогда не копали, не тревожили...— сказал Вася.— Точного места не означено. Не пожелали тревожить прах.

Я долго смотрел на дуб — символ русской силы, доблести.

На станцию вез нас другой кучер, помоложе, на паре серых, в легкой пролетке. Катили лихо, переполненные чудесными впечатлениями. Проступали звезды. Не остановились у трактира, шумевшего народом. Говорить не хотелось. Я чувствовал себя обновленным, укрепленным. То, что предчувствовал я, исполнилось: я обрел прилив веры, воли... почувствовал, может быть, впервые в жизни нерасторжимую связь с родным, слышал в себе токи вдохновенья, порыв творческой силы... Эта прогулка, как бы видение, не прошла бесследно: она открыла мне неведомые раньше исторические корни, вязавшие меня с недрами. Я не мог удержать восторга и воскликнул:

— Какое счастье — коснуться живых истоков!..

Кучер мчал, нахлестывая коней, боясь опоздать к последнему поезду. Прощаясь под фонарем станции, я дал ему рубль, но он решительно отмахнулся:

— У нас не полагается, все обеспечены.

Мне хотелось его обнять, высказать все, что во мне светилось. Он, должно быть, почувствовал мое волненье и сам протянул мне руку:

— Счастливого пути, сударь.

Я не раз побывал у князя: ездил за душевным укреплением. Он наполнял меня чудесным давним, что жило в нем. Диагноз профессора не оправдался: уже через год князь был в полном здравии. Скончался он года за три до первой мировой войны, почти через десять лет от сердечного припадка, читая Пушкина, редкостного смирдинского издания.

Я был на похоронах. Плакали все: и его верные слуги, и чиспенцы. Он еще загодя распорядился положить его, как полагали его предков,— на сельском погосте, «среди своего народа».

Апрель, 1950
Париж

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Собрание сочинений

Том 3

РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ

Роман. Рассказы

Редакторы **Н. Ц. Степанян,**
В. П. Шагалова

Художественные редакторы **М. В. Таирова,**
Г. Л. Шацкий

Технические редакторы **Л. А. Фирсова,**
И. И. Павлова

Корректоры **М. Е. Козлова,**
С. В. Мироновская, Л. В. Дорофеева

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23 10.96
Подписано в печать 06 03 98 Формат 84x108/32 Бумага офсетн.
Гарнитура Петербург. Печать офсетн
Усл. печ л 18,48 Уч -изд л. 20,41 Тираж 5000 экз С — 007
Зак № 446. Изд. инд ЛД-368

Издательство «Русская книга»
Комитета Российской Федерации по печати
123557, Москва, Б. Тишинский пер , 38

Текст отпечатан с оригинал-макета в ГУП Издательско-
полиграфический комплекс "Ульяновский Дом печати"
432601, г Ульяновск, ул Гончарова, 14

«РУССКАЯ КНИГА»